



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2 (26) '2018

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Андрей Костинский (Харьков), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Александр Петрушкин (Кыштым),
Юрий Работин (Одесса), Олеся Рудягина (Кишинёв),
Евгений Степанов (Москва), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2018

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Елена Росовская. Во славу истинным богам. <i>Стихотворения</i>	4
Одесса: Валерий Юхимов. Глухоморье. <i>Поэма</i>	10
Одесса: Семён Абрамович. Многоточие чаек качает Морфей. <i>Стихотворения</i>	19
Одесса: Константин А. Ильиницкий. Человек с воображеньем. <i>Стихотворения</i>	24
Одесса: Илья Рейдерман. Человек цифровой эпохи. <i>Стихотворения</i>	31

ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. Путь пилигрима. <i>Рассказ</i>	36
--	----

ПОЭЗИЯ

Кыштым: Александр Петрушкин. Глаза занимающий Бог. <i>Стихотворения</i>	46
Сумы: Игорь Касьяненко. Музыка, формула, нерв. <i>Стихотворения</i>	52
Москва: Надя Делаланд. В чужой системе кровеносной. <i>Стихотворения</i>	58
Ташкент: Вячеслав Карижинский. Под электрическими облаками. <i>Стихотворения</i>	63
Москва: Глеб Шульпяков. Неотличимые от цели. <i>Стихотворения</i>	69

ПРОЗА

Одесса: Галина Соколова и Элла Мазько. Рассказ хейтера. Рок! <i>Отрывки из повестей</i>	74
Одесса – Сан-Франциско: Олег Шварц. Одесса. <i>Рассказ</i>	85

«ФОНОГРАФ»

Москва: Борис Рахманин. Разрешение на выезд собаки. <i>Рассказ</i>	103
Одесса: Валентина Голубовская. Из книги «На краю родной Гипербореи»	107

ПОЭЗИЯ

Москва: Владимир Мялин. Философ из Афин. <i>Комедия</i>	126
Одесса: Татьяна Партина. Знак тревоги. <i>Стихотворения</i>	130
Москва: Инна Ряховская. Голубиная столица. <i>Стихотворения</i>	134
Одесса: Гарри Перельдик. Гипнотический шар. <i>Стихотворения</i>	138
Харьков: Дария Кошка. На плечи птицы и плечи дерева. <i>Стихотворения</i>	143

ПРОЗА

Ростов-на-Дону: Илья Имазин. Шип, яйцо и Боб-бобёнок. <i>Рассказ</i>	146
Одесса: Геннадий Дмитриев. Вечность. <i>Рассказ</i>	151
Одесса: Василий Кисиль. Мой сакральный Прованс. <i>Философическое эссе</i>	155
Москва: Леонид Волков. «Господи, пронеси!». <i>Эссе</i>	162
Москва: Нелли Копейкина. Девчонки. <i>Рассказ</i>	169
Одесса – Нью-Йорк: Владимир Серебро. Опыт культурной микроистории. <i>Эссе</i>	176

«ОКОЕМ»

«Пятая стихия» Игоря Царёва. <i>Вступительная статья</i>	182
Москва: Ольга Флярковская. <i>Стихотворения</i>	184
Стихотворения финалистов поэтического конкурса (<i>Любовь Колесник, Геннадий Акимов, Евгения Босина, Сергей Кривонос, Олег Сешко, Сергей Дьяков, Ника Батхен, Клавдия Смирягина, Владимир Литвишко, Никита Брагин, Александр Соболев, Евгений Пваницкий, Александр Алисов, Виктор Скоробогат</i>)	188

«СЕТЧАТКА»

Курск – Москва: Александр В. Бубнов. В лаборатории свободного слова. <i>Пolemические наброски и введение в новую дискуссию</i>	199
--	-----

«ШКАФ»

Москва: Лев Аннинский. О книге Льва Портного «Граф Ростопчин»	216
Москва: Сергей Нещеретов. Противошерстный Шершеневич. <i>Ретрорецензия</i>	218
Москва: Александр Карпенко. Синкопа Киры Сапгир. <i>О книге «Двор чудес»</i>	219
Москва: Александр Карпенко. «И трудно до бога слезу донести...». <i>О книге Ирины Евсы «Лифт»</i>	221
Москва: Андрей Краевский. Миры Переделкино. <i>О книге Людмилы Саницкой «Остров открытой книги Переделкино»</i>	224
Одесса: Гарри Перельдик. Аромат забугорной груши. <i>О книге Галины Соколовой и Эллы Мазько «Евина груша, или пицца счастья»</i>	226

ЕЛЕНА РОСОВСКАЯ

ВО СЛАВУ ИСТИННЫМ БОГАМ

БАБОЧКИ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ С ЛЮДЬМИ

стыдно входить в сотый раз в чей-то светлый храм,
стыдно смотреть на мигающий свет лампад.
рад за друзей (повезло же моим друзьям),
рад за врагов (очень стыдно признаться – рад)!
те и другие – родные. добром и злом,
сжав кулачки, друг на друга идут войной.
если быть честным, мне с ними всегда везло,
если честнее, без них я – пустышка, ноль.

эк милосердие где-то внутри, ау,
машет хвостом и скулит, а пускай скулит.
стыдно за то, что приходят стихи на ум,
стыдно за то, что безумным неведом стыд.
в храме тепло, в храме каждый найдёт себя,
или подобных себе, вот соврёт — найдёт.
бабочки в храме, я вижу их с сентября,
их не пугает ни Бог, ни зима, ни чёрт.
вот они в воздухе замерли и горят:
крылышки – крошки – бумажные маяки.
стыдно, что их не увидят мои друзья,
страшно, что их не увидят мои враги.
из золотой купели, из чёрных рек
бабочки выплывают на свет лампад,
или из стен вылетают на первый снег,
словно колода краплёных игральных карт.
с ними хоть в петлю, хоть в пекло, один итог:
ближе к своим, ближе к солнцу, но давит стыд...
бабочки видят Бога, их видит Бог,
всё остальное имеет не лучший вид.

вот они рядом, тепло, не дышать легко,
вот я кричу им, кричу им, но, чёрт возьми,
бабочки льются на небо, как молоко.
бабочки не разговаривают с людьми.



вот так во славу истинным богам
мы станем петь псалмы по четвергам:
кто ласково, кто с верой, кто как может,
по нотам, по мотивам, по слогам.
ах, Господи, кому мы здесь нужны?
в предчувствии гражданской тишины
у граждан нервный тик, и не похоже,
что мёртвых будет меньше, чем больных.

пусть как-нибудь, но хором и всерьёз,
до колик, до полуночи, до слёз,
мы станем славить клетку, кладку, коврик,
и первый блин, который комом врос
в мои глаза, в твои, пока – в глаза,
и время есть, но нет пути назад,
теперь никто из нас уже не помнит,
и некому дорогу показать.

всё хорошо, четверг, ну что, споём?
и днём с огнём, и ночью поднажмём,
когда все вместе хором грянем дружно,
во славу, «во», неважно, что потом.
и всем добра, и всем большой привет,
и впереди маячит яркий свет,
но, сука, тем, кто болен, стало хуже!
и только мёртвым снится «хепши енд»...

вот так нас всех поставят под ружьё
и выведут толпой на середину,
а тех, кто против, с самолёта скинут,
доказывать, что вечен лишь полёт.
расправишь крылья – грязь с тебя сойдёт,
(крылатым быть нельзя наполовину).

но лучше по старинке быть в толпе,
где ты почти невидим, недоступен,
где лица первых покрывают стружья,
(стреляют часто, в тех, кто громче пел)
они зачем-то лезут под прицел,
«таких» толкают вверх, большее лупят.

казалось бы, все беды стороной,
стоять в толпе с ружьём не так и плохо,
но твой соратник справа вдруг заохал,
и твой соратник слева – не живой,
и ты уже почти что сам не свой,
того, кто впереди, по дури грохнул.



за полчаса стрельбы в самих себя,
 (в агонии и брат пошёл на брата)
 толпа слегла на землю бурой ватой,
 и только те безумные скорбят,
 что стали неожиданно крылаты...

БЕЗУМЬ И Я
 (письма из дневника)

*одна дуручка постоянно писала письма
 и никуда их не отправляла,
 а потом вдруг решила отправить,
 но забыла кому и куда собиралась отправлять*

Если все мои письма сложить в конверт,
 то конверт нужен самый большой на свете.
 Мне конверт бы отправить теперь наверх,
 там его обязательно кто-то встретит,
 Разорвёт, удивится, и даст прочесть
 остальным обитателям верхней фазы.
 Наверху, я уверена, кто-то есть,
 жаль, что письма доходят туда не сразу.

Закрываю себя на большой замок,
 заставляю вообще ни о чём не думать,
 И пишу, а письмо – неплохой предлог,
 рассказать-повиниться кому-то. В сумме
 Нас таких, повинившихся ровно две:
 я и та, что внутри иногда смеётся,
 И она замечательный человек,
 человек, над которым восходит солнце,
 Человек, у которого дом сгорел,
 у которого где-то семья большая.
 Вот и делим с ней тело на сотни тел,
 а душа на двоих иногда мешает.
 Иногда и ругаться – ни сил, ни слов,
 просто хочется небо поймать и спрятать.
 У меня – тишина, у неё – любовь,
 у неё – тишина, у меня – зарплата.
 Всё равно, что прилюдно снимать бельё –
 эти письма, игра в *пожалей* – а не фиг.
 Мне бы выпить, она никогда не пьёт,
 у неё есть в запасе надёжный берег,
 На который однажды сойдёт она,
 и останется ждать свой волшебный катер,
 У меня без неё будет... ни-хре-на,
 вот и всё и, пожалуй, на этом хватит.



И СТАРИК, И МОРЕ, И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

вечер котёнком игривым на берег прыг,
душно, гудит как зуммер песок горячий.
море лениво: «и снова привет, старик,
как там старуха, лютует, достала, плачет?
жаль тебя, старче, давай, посиди со мной.
дома-то – пекло, совсем довела, заела
старая стерва, а здесь у меня покой
волны да чайки, да воздух, такое дело».

море вечернее, словно зелёный чай.
трубку старик набил и закашлял глухо:
«дома всё тихо, кому на меня кричать?
нет никого, умерла у меня старуха».

КОМИКСЫ

инцидент исчерпан донельзя:
старый купидон забит ногами,
зарастает небо облаками,
а под небом «голые» скользят.
хули небо трогали руками?

розами украшенный сортир,
на двери табличка: стань хорошим,
вытри ноги и сними калоши
перед тем, как выйти в светлый мир.
там тебя всемирно укокошат.

вот тебе ошейник, поводок,
вот и карта, все пути открыты.
мастер не дождался Маргариты,
спился раньше срока, дурачок.
в этом мире даже карты биты!

снег пошёл, и я за ним пошёл
территориально ближе к центру.
старый купидон, давась абсентом,
в людной «анатомке» лёг на стол,
лёг красиво и накрылся тентом.

бедный, бедный наш небесный тент,
так натянут, что скрипит от боли.
под лопаткой почему-то колет,
видно сердце выбрало момент
разорваться, вместе с тентом что ли.

на татами двое: Бог и я,
он спокоен и уравновешен.
я менжуюсь, как обычно грешен,
и хватаю небо за края.
дали гонг, стою, сверкая плешью.



вроде каюсь, верит, или как?
мир пожал плечами: непонятно.
снова гонг, земля в лиловых пятнах.
Бог занёс над грешником кулак,
погрозил, и в снег ушёл обратно.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ВЕЧНОГО БОМЖА

Содом и Гоморра играли в лапту,
а в северных реках замёрзшая ртуть
молчала и строила планы
о том, что однажды не станет богов,
и выскочит ртуть из своих берегов
на белые снежные камни.

На севере мишка с толпою цыган,
несчастливо весел, отчётливо пьян,
трясёт позолоченный бубен.
На севере люди дождутся весны,
отрежут от солнца кусочек луны
о счастливы, люди как люди.

А я наблюдаю за каждым лицом,
глотаю чайники вприкуску с мацой
и верю, что в белые ночи
наверное, нужно мечтать о любви,
но снизу такой удивительный вид,
а сверху? Да как-то не очень.

Петляет земля меж таких же земель,
родители просят у неба детей.
А небо? А небо закрыто.
Ни снега, ни града... осенний туман,
я дождь наливаю в гранёный стакан
и думаю: надо бы выпить.

Автобусы гордо качают народ,
гудят пассажиры: закончится год
и сгинет проклятая осень.
Сиденья скрипят, у водителей грипп,
во чреве автобусном к сердцу прилип
больной оловянный компостер.

Шансон на семи беспокойных ветрах,
а в зеркале маленький мальчик аллах
над нами плывёт и смеётся.
И северный мишка и табор, да все,
глотаем тягучий небесный кисель
и строим уходим на солнце.



ПРИЗНАНИЕ

слышишь, как просится в небо под утро чья-то душа?
так не бывает? ну что ты, мы просто об этом не знаем.
город давно научился почти незаметно дышать.
видишь, что корочка неба слегка подгорела у края?
реки застыли, им незачем больше спешить по часам.
время – зима, узнаешь? возвращается что-то из детства.
я без тебя это время по городу следовал сам,
чтобы занять себя, чтобы идти и куда-нибудь деться.
всё началось до того, как мы стали такими, как есть.
с нами, без нас, после нас, будет чистым и ровным дыханье.
сколько ещё до скончания света? не счесть.
я бы считал для тебя эти души и эти посланья.
падает, падает город в предутренний сон.
кто мы и где, я не помню, а нужно ли помнить кому-то.
лучше дышать вместе с городом нам в унисон,
и разделить на двоих это странное зимнее утро.

ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ

всё повторяется, друзья идут к друзьям,
под абажуром бредит лампа первым снегом.
и окна, медленно вальсируя, скользят
по гладкой стенке под надёжной крышей неба.
всё произносится вполголоса, всерьёз,
без веры в лучшее, а лучшее так близко.
и как натянутая нить – земная ось
в кулак сжимается у солнечного диска.
всё переводится в пространство – где-нибудь,
когда-нибудь, зачем-нибудь, и будь как будто.
друзья выходят на орбиту – в добрый путь.
всё повторяется: и сны, и снег под утро.

ВАЛЕРИЙ ЮХИМОВ

ГЛУХОМОРЬЕ

1

будучи ссылен, сослат, сослан, за благо
разбираться в овечьей брынзе, есть полевой помидор
и отваривать мидий в недорогом ркацителн, прочая шняга
доступна так же, как мелкий вздор
в типографском листке испачканной краской бумаги,
неуместном, как с кедами узел виндзор.

наблюдение жизни варваров поучительно,
пьют не хуже столичных, впрочем, и там засилье,
продукты на рынке и пища лучше беранчева,
юноши с детства знают про щель кассини,
льва кассия забыли, но цитируют городничего,
популярны комики и кассиры.

касательно женщин, куда привередливей стали,
сказывается избыток мужчин, хоть и ушёл гарнизон,
это оборотная сторона медали
к юбилею его ухода, но есть резон
потратить немного времени раз-другой в фристайле,
скучно, брат пушкин, но будешь вознаграждён.

в этом смысле есть status quo, на всем побережье
не сыщешь лучших, как они говорят – мастерство не пропить,
остры на язык, потому осторожней ворочай стержень,
не то отрежет, как тому наборщику, прозванному ими petit,
и не поёт он больше *tombe la neige*.
в театре у них просыпается аппетит.

торгуют с размахом. сожгли библиотеку и устроили биржу,
память хранит египетский плен и плодит котов,
старым богам не приносят, деньги держат поближе,
был один банк, да и тот скотоводческий, для скотов,
в кофейне у грека найдётся косяк и две дочки бесстыжих
обслуживают флаги всех портов.

не любят смутьянов, карбонариев и бомбистов, сами
в переулке – чик! – и в городе тишина, дела нет властям,
смотрящий блюдет понятия, как поколения свами,
согласно содеянному и аз воздам,
в церквах подают каберне совиньон и салями,
и не вытирают губы, припадая к пухлым перстням.



удержись от любви, карантин переполнен,
не хватает вакцин и вторично используют бинт,
у октавии, помню, заложен был домик в коломне,
её муж недалёкий напрасно садился за винт,
здесь его бы отправили в каменоломню,
а супругу, сам знаешь, ты только её позови.

разливанное море восходит османским серпом по,
надлиманная степь носит семя сынов ататюрк,
с перебоями что-то сегодня работает помпа,
прогоняя восьмёркой скопившийся в венах испуг,
и в конверте столичном присутствует столько апломба,
сколь далёк и тщеславен приславший нарцисс петербург.

2

инородное тело конечностью пляжный песок ковыряло,
подставляя осенним лучам неприкрытый восторг
синоптической карты, которая если и врала,
то не больше синопсиса гизеля, точно парторг
о решающей роли в бою парусов из кевлара
на открытом собрании в праздник синопской виктор.

нахлобучив плешивое небо по самые уши,
одинокий купальщик пасхальный творит ритуал,
словно идол на острове пасхи на нерест горбуши,
поддает баргузин и горбатый вздымается вал,
выходила на берег катюша,
там, где бедный петрушка забытый лежал.

прояви осторожность в словах, недосказанность много веселей,
изречённое здесь растолкуют до наоборот
и пойдёт по рукам пересказ жития насекомых,
и того и гляди, чтоб тебе не пришили комплот,
хорошо, что плевать всем на странный набор хромосомный,
инородец – и ладно, тут сплошь инородный народ.

там, откуда приходят конверты с расклеенным верхом,
где вороны по трое метутся в крестах португей,
тремя в день происходит поверка
и публичная порка отказников, должных to pay,
и не спасают при этом ни водка, ни верка,
ни авантюрный безвыходный выход с бубей.

это надолго. проспекты штандартами реют,
бабы рожают исправно, заметен приплод
мелкой шпаны, в аттестатах отсутствует неуд,
и пластуны на кавказ всё ползут и ползут в оборот
усаженой звёздами старосмоленской аллеей,
и на востоке всё ближе алеет расход.



глухоморский торговец никак не ценитель поэзий,
 что хорошо, поддержи разговор за вином
 о падении цен с высоты водопада замбези
 и торговича отпрыск в учение определён,
 упаси тебя бог, на петлю указать – гистерезис,
 тем проколешься, как третьесортный шпион.

вот и прокорм, наберутся два-три недоростка
 слушать вздор про какао, кейптаун, а про такелаж
 знать никак не положено, чай не матросы,
 время драть – их отправят в парижский вояж.
 доктор шпарит латынь, когда спирта хлебнет с купоросом,
 удивительно крепкий мужик, как конфеты грильяж.

доктор в курсе, кто тришпер схватил, кто гангрену,
 как обвалится рынок зерна от чахотки кушца через год,
 сам он в юности слушал бухарский доклад авиценны
 и у юнга сманил ученицу, майн гот,
 и с трудом возвратился домой из германского плена
 до зубов плодовитых зигот.

3

предоставив туземского доктора сонной латыни,
 где лекарство и яд отличаются лишь падежом,
 срежешь путь проходным, сквозняком бы сказали бластные,
 чтобы выйти к горсаду, поросшему редким дождём,
 как империя редкой щетиной ублюдков батыя.
 на соборном подворье на площади затемно шпилят в маджонг.

популярны куплеты, и часто на дружеской сходке,
 предварительно окна и дверь затворив,
 надрывается горлом доцент про маньчжурские сопки,
 казацкую долю, крещатик и порванный презерватив,
 полицейская форма рыдает, ах, был бы я гошник,
 и наковки крестовые вторят нехитрый мотив.

нет уваженья к сословным и табельным спискам,
 на премьерке не знаешь, кто в ложе директорской спит,
 в гардеробе полковника приняли за визажиста
 и нескромно погладили место, которым сидит,
 а в буфете экранная дива лягнула легата-паписта,
 растолкавшего очередь так, словно он инвалид.

это издержки, наследье народного вече,
 где из грязи горластой шампунь афродита разлит
 по трипольским горшкам заболотной полпотовской сечи
 и тому подтвержденьем восставший в степи мегалит,
 широко разведённому, влажному там, междуречью,
 торкских корней с византийской транслит.

кстати о нравах, в ту пору, когда глухоморье
 прыщи ратоборства давило по юной нужде
 и в переписке с султаном себя величало главморьем,
 также главрыбой, главмясом, главмёдом и прочее же,
 каждый баран на хозяйском подворье
 за свою ногу висел, е.б.ж.



эта принципия отражена караульной эклогой,
если поставил начкар, то начкару снимать,
изобразить, передёрнув затвор, недотрогу
или же недоумка – стоять, кто идёт, твою мать.
соборная площадь проколота тенью острога,
где по их вере содержат одну ипостать.

узник железная маска, которого номер
четырёхбуквенный выговорить по слогам
не удавалось мудрейшему ламе японии,
суффию хантов, равину саудов, имам
кентерберийский покрылся пятнистой истомой
и обкурился травой обмелевший лиман.

день, промокшим комком туалетной бумаги,
погружается в лету, закрученный по часовой,
истекающим временем, словно люмбаго
поразил его, выгнув кошачьей дугой,
шлёт донесение тайный агент и бродяга
о поднадзорном, вернувшемся в полночь домой.

4

хронописный указ, учреждённый блаженным авгуром,
содержался исправно, казна не чинила преград,
и вручила ключи от подвала не знавшей гиюра
правоверной семье, так сказать, на семейный подряд,
и сумели найти подходящую случаю суру,
поместив, как в мезузу, в барочный оклад.

отпечаток рифленой подошвы в пыли реголита,
словно голос трубы сквозь шипенье помех,
на стене напараны инициалы JB и расходятся плиты
в лабиринте ветвящихся троп, удаляется смех,
если не знаешь, что ищешь, любою иди ты,
выход один, а дорожек хватает на всех.

незаметным уклоном спускаешься ниже и ниже,
там, где был потолок, только сходится ряд стеллажей
в перспективе трёхмерного куба, они же
отсекают проход переборкой, как море дождей
переполнится. так образуется грьжа,
потянул ветерок и доносится запах дрожжей.

словно в баре морпех, прояви осторожность, как проффи,
древний китайский приём, когда за два прыжка
через пропасть скакнешь на коне f4-e6- на d8,
так же алёхин побил наманган-ипшака,
дело было в марселе, лазурная пена всем пофиг,
после он выставил дюжину вёвэ клика.



это был минотавр, сидевший, на счастье, спиною,
 перед ним забродившая брага змеилась в сосуд,
 колерована в массу толчёною хною,
 королевский рецепт от бурбонов и прочих простуд,
 если им натереть перед сном пополам с перегноем...
 быкоголовый разведал хозяйский маршрут.

прогрессивный ислам, преступая ордынские шутики,
 в поощренье гешефтов, питающих славный джихад,
 как заправский бутлегер наладил доставку в кентукки
 глухоморского бленда царицы полей шамахан
 по кротовьей тропе хо ши миноса, если б не глюки
 джиписэ у андроидов, посланных в тьму таракань.

детскою травмой измученный сын пасифан
 рос в одиночестве, но перегонный прибор
 скрашивал будни, – астерий, пойдём поиграем! –
 и по-коровьи вздыхая, он плёлся на свой водопой,
 время суровое, мальчик не рос пацифаем,
 и разрывались шахидки по семь штук толпой.

в семь джиэмти закрываются двери у тыквы,
 сторож втирает в ключи оружейный елей,
 не увлекайся, на полке стоит чемоданчик набитый,
 в наклейках «бердичев» и видах на мавзолей,
 ноги пора уносить и его, разбегаются плиты,
 в пивной на разливе сегодня стоит дуралей.

5

между пачкой земельных расписок, следов дербана,
 разбирая сундук мертвеца, йо-хо-хо,
 обнаружится: список утраченных писем к дружбану,
 на уже не используемом итальяйском архо,
 по причине отсутствия копировальных писцов в бантустане;
 звёздная карта, где проплывает корабль арго,

расчленённый на мачту, корму и другие полезные части
 астрономической номенклатурой; журнал судовой
 оригинальный, подмоченный, 1 штука; учебник канасты;
 справочник телефонов отеля «савой»;
 протоколы дознания двух боевых [...],
 легиона, водившего на глухоморье конвой,

и возжелавших скрепить свой союз на манер федерации,
 но прецедент пресекли непосредственно, бензопилой,
 зубы сточившей на гроздьях душистой акации;
 тайнопись, выколота сапожной иглой
 брайля на первых страницах новейшей истории тацита,
 замаскированной под краткий курс; сторублё-

вый билет казначейства, поеденный мышью;
 карта сокровищ, напомнившая лабиринт,
 пройденный давеча, где три пути к перемышлю –
 к каждому свой со своим обитателем, ипохондрит,
 например, с лошадиной отрыжкой
 альфы кентавра, как в трапезной архимандрит.



это «ж-ж-ж!» неспроста, что подметил естествофилософ,
непростой материалчик, хоть описи дела в нём нет,
на дерматиновом дне, за подкладкой, надрезанной косо,
спрятана рукопись, как у подпольщика выигрышный партбилет,
между седьми страницами вестника сарагосы
и её же ломкого голоса. видно, памфлет,

неизвестного мастера эпистолярного жанра,
где герой-сочинитель, из глухоморских же мест
шлёт свои стансы и прочие мансы с окраины
сарагусте, изведавшей столько окрест,
как до него, так и после, что только пространно
их перечислить – уже манифест.

славный язык и на длинном дыханьи написан,
как медлителен он, маслянистые воды черны,
истечение граната, полуденный сон беатриче,
а тем временем узника ночи и дни сочтены,
и всё ближе шаги, за которыми нить серебрится
поводком, покидающей тело – пробел – пчелы.

безнадёжно проплачут слепые глаза в ожиданьи,
узелок расплетается памяти ржавой стерней,
в доме новый жилец и хранитель пустых обещаний,
двадцать третий по счёту, а рукопись – двадцать второй,
изотопы со временем только легчают,
а клубку добавляется с номером новый герой.

6

«...когда ты умер, совершив свой дурацкий подвиг,
жёны империи не возрыдали, – о, боже мой! –
растирая в память вагины до зуда, твой меч-любовник
спит, умащенный бесчисленно, даже коль
ты бы звался при жизни какой-то людовик,
le Roi est mort, соответственно, vive le Roi.

когда ты умер, я нашёл на пороге мёртвую птицу,
весть о смерти пришла полгода спустя,
твои батальоны ушли назад из галиции,
а я отсылал регулярно письма, скрипя
пером и зубами, мол, сука, твоя сестрица
и братцу фору даст, и давала день изо дня.

я писал тебе для неё на варварском диалекте
византийских монахов от посторонних глаз,
продираясь сквозь шипящие и скрипящие феты,
юсы, яти и прочую коновязь,
ты говорил ещё про катакомбную секту,
куда она с всехлюбовию подалась...».

перевод с глухоморского несовершенен, лингвисты
в сослагательном повелении сходят с ума,
соподчиняя в придаточных формах пассива зависимость
женского рода от фазы луны, [...] предсосу
предсосу объяснял это свойствами метаболиссимо
глухоморской ментальности, вроде меня.

независимо от эвфемизмов и прочих непереводаемых,
ты не мог не заметить, строка за строкой,
странных сближений: августа – октавия, рожа – вадима,
автора – с номером двадцать второй,
«...когда ты умер, снега покрывали равнину,
гримируя окисью цинка пьеро.

когда ты умер, что, в общем, не удивительно,
помни о тлене во всех его временах,
передай там рыжеволосой бигардии – квиты мы,
если будет сын, назовёт его телемах,
а ещё передай отдельно, в постскриптуме,
что нашёл ей духи клема.

свежий воздух и спецупражнения с палкой
в долгих прогулках укрепили меня,
хорошо бы сослать всех больных без оглядки
в эту духолечебницу, впрочем, она
лекарей ваших лишит привилегий гадалки,
здешний доктор – большая скотина, но, правда, одна.

а ещё передай этой гадине живососушей,
что обходным маневром излазил весь книжный развал,
как по просьбе её, он минойского будет покруче,
теснота лабиринта и крысы, каких не видал,
поцарапаны своды и стены несущие,
словно муж недалёкий рогами там их ободрал».

7

когда ещё дагерротип не вошёл в привычку,
как сигарета, а заказчику требовался портрет,
хитро выдуманно обёртывание, плащаница
имела многовековой площадной успех,
сложнее с пейзажем, заключённым в кавычки
рамы, он имеет свойство тускнеть.

присмотришь к висящему на стене мысу в полдень,
за пол твоей жизни он утратил черты лица,
ты прогуливался рядом с местом во вторник
где стоял когда-то этюдник живописца,
теперь там пляж и от башни водонапорной
остались три-четыре кольца.

ты, говорил, стал слышать, как утекает время,
это плохой признак, скорее даже симптом,
его нет, скажу тебе прямо, хоть ты не поверишь,
бредни эллинов, ожидающих супа с котом,
цвет облетевшей вишни, младое племя,
пожираемое на ужин отцом.



перевод завершён, сарагоса досталась арабам,
ты уже понял, что время вернуть
истории долг, напевая пара-па-ба-бам,
пора, начинай собираться в путь,
дверную сим-карту тебе передаст али-баба
в известной кофейне, и дочки дадут

на дорогу, бог знает когда придётся, привычка,
оплаты долги, два-три коротких письма,
палка, нож, держи в сухости спички
и ноги, и вообще осторожней впотьмах,
в окрестностях бродит шпана и избежать стычки,
думаю, было б уместно весьма.

когда закончишь, там будет река, приготовь монету
паромщику, тихой воды ему на быстрине,
чтоб выпил по-людски на том берегу, при свете
или в морду дал, если встретит кого втемне,
ему не впервой, угости его сигаретой,
он говорит мало, но вежлив вполне.

пусть он справит всё как надо, честь по чести,
закажи как для себя, потом сочтём,
обустройся на давно обжитом месте
и конечно же не балуйся с огнём,
жаль не сможешь обратиться к альмагесту,
звёздным небом ты там будешь обделён.

не прощаюсь, ещё свидимся однажды,
глухоморье погружается во тьму,
мореходство ограничат каботажем
и свобода встреч теперь по одному,
зреет смута, прибывает стража,
а поэт не нужен никому.

8

видимо, снова зима, но трасса теплоцентрали
остаётся холодной, как ноги давида на склоне лет,
зима, потому как едва ли
летом под дверь наметает снег,
и никаких следов, словно повымирили
приносящие мне обед.

первое время после переворота ключник
ещё поддерживал пансион,
дальше хуже, пришлось навернуть онучи
на весь неотопливаемый сезон,
русский шик и модель от гуччи,
стал уставать быстрее и клонит в сон.



я ожидал, что возьмутся за библиотеку,
 начнут вытравливать через воздушный лаз
 и это проблема для нечеловека –
 на меня не рассчитан противогаз,
 как на узбека или ацтека,
 у которых жизнь удалась.

когда я пришёл на смену, ты был спокоен
 и вздохнул облегчённо – ну, вот,
 как хранитель закона коэн
 пришедшему исполнить его. твой плот
 удалялся долго, шкипер, немногословен,
 смачно сплёвывал в бездну вод.

нужно было расширить хранилище и составить карту,
 затем взяться за каталог,
 прерванный на букве «у» – урарту,
 уретра, уродина, уролог...
 календарь ещё работал, должно быть к марту
 был уложен последний блок.

перед сном, перечитывая публикация,
 не могу вспомнить твоего лица,
 «когда ты умер, я нашёл на пороге мёртвую птицу,
 весть о смерти пришла полгода спустя...»,
 оставшиеся в рукописи пустые страницы
 заполняю прописью до конца.

сколько живут минотавры, вечность?
 фраза «когда я умер» теряет смысл
 и позволяет полностью быть беспечным,
 как сохранившийся на картине полдневный мыс,
 кроме собственной тени никто не шагнёт навстречу
 и позади лишь хохот начитанных крыс.

выдуман спьяну задиристым греком развлекься,
 остаюсь обходить коридоры, как школьный завхоз,
 мои предки теперь обитают в заречье
 и никто не заплатит паромщику за перевоз,
 а глухоморью достанется слава местечка,
 где катакомбы, шаланды и рынок «привоз».

P.S.

когда я умер в одной из дальних галерей лабиринта,
 много позже узнав об этом прискорбном событии
 из найденного, плохой бумаги, препринта
 глухоморского товарищества литераторов, обыденно
 наводя порядок на полке, между плинием и
 прижизненным фолиантом с дарственной от платона,
 стоящим ранее в ряд по линии,
 обозначенной разделителем с буквой «пэ» на картоне,
 календарь уже не работал, потому «когда» не известно,
 утверждают, что после большой депрессии,
 но я бы не стал верить этому парацельсу,
 борюсь с изжогой подручными средствами...

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

МНОГОТОЧИЕ ЧАЕК КАЧАЕТ МОРФЕЙ

ЯНВАРСКАЯ АНОМАЛИЯ

Тишина. По карнизу спустился закат.
День уходит на запад, аляя.
Где-то парочкой бродят метель-снегопад
и в январь возвратиться не смеют.

Календарно – зима, а по факту – весна
или в окна стучащая осень.
Неуместною кажется даже сосна,
из лесов, ставших матрицей просек.

Ах, как много веков острый звон топора
не обходит вниманьем красавиц.
И везут их, и тащат... Такая пора
новогодней безжалостной яви.

И стекает янтарной слезою смола
по стволу, прилипая к ладоням.
Человеческих душ ледяная скала
в этих хвойных отдушниках тонет.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ – ЖИВИ

Одинокому сердцу томительно ночью.
Час не час, ночь не ночь, сон не сон.
Первый луч заползает в цветочный вазон
под рассветные склоки сорочки.

Свет и тень растеклись по стене, по стеклу.
И бессонницы след растворился туманно.
Это час колдовства, это время обмана...
В каждой щёлочке, в каждом углу.

Ах, судьба – ворожейка! Прошлых лет перебор.
Над парящей водой слабый рокот парама.
Под мелодию ветра шаги метронома,
нескончаемый поиск, пожизненный спор.



Взбудоражена рябью бескрайняя гладь,
 устремлённая взором к бескрайнему небу.
 И бросаются с криками чайки за хлебом,
 залетая рифмованной строчкой в тетрадь.

Что мы делим, что ищем на грешной земле?
 Истязая себя, заплутавшие души.
 От того ли смертельной хваткою душит
 мысль о нашем, идущем ко дну, корабле?

Но спасителен круг благодатной любви.
 В каждой клетке твоей неизбывная память.
 Годы, годы... Года, словно снежная замять...
 Заклинаanjem звучат: «Если можешь – живи!»

АПРЕЛЬСКИЙ ТУМАН

Кромсали мглу огни и краны.
 Стонал маяк. Висел туман.
 Плыла аркада тенью странной
 в палитре заревых румян.
 В молочных волнах жались клёны.
 Трусило крылья вороньё.
 На островках травы зелёной
 скрипело чахлое сучьё.
 Над снежной шапкой сливы дикой
 витал прогорклый слабый дух.
 И море было многолико,
 и острым взор, и острым слух.
 Гудел, как улей порт бессонный,
 мерцал сквозь мокрые кусты.
 Маяк, туманом заведённый,
 оград нащупывал персты.
 И плыли меди грузной звоны,
 и плыли в небесах кресты.
 До храма, храмовой Иконы
 было каких-то полверсты.
 Мир замер и, храня молчанье
 у монастырских белых стен,
 намёками на покаянье
 всем говорил: «Я – жизнь, я – тлен...».
 И грешных душ дрожали плечи.
 В лампадах трепетал огонь.
 И оплавливались, плача, свечи,
 вощиной тёплой в ладонь.

Ах, туманы, туманы, туманы!
 Что ж вы утро прохладное марта
 превращаете в кашу из манны,
 новым дням создавая фальстарты.



Хватит, хватит над нами глумиться,
над хорами курлычащих братьев.
Дайте ж почкам апрельским родиться,
наши души согрев благодатью.

Расступитесь и дайте дорогу
ручейкам, ледоходам, капелям.
Чтобы наши сердца понемногу
этой новой весной заболели!

Дышу этим утром, зелёной травой,
Кипящим прибоем дышу и дышу.
Заливом. Живою морскою волною,
Со стайкою чаек к восходу спешу.
На первое вдох. Выдох? Он – на второе.
Напрасно терзаюсь, напрасно ропщу,
Жалея, что склон небоскребом раскрыт.
Упрямо глазами барокко ищу,
Рассвет, пробиваясь, бросается в море,
Дорожку ко мне разодев в серебро.
Дорога поэтов – дорога изгоев,
В чьих строках рифмуются боль и добро,
И можно часами мечтать у прибоя
И рдяный встречать над водой медальон.
Что стало с людьми и Одессой родною?
К кому вопиющий мой глас обращён?
Но катятся, катятся серые волны,
Вздыхают и бьются о берег седой.
И тут не помочь ни метанием молний,
Ни словом, ни истиной прописной.
Огромное яркое медное солнце
Всплывает из строгих солёных глубин,
Рождается день над Ямато¹ японцев,
У нас – в алых красках ветрил бригантин,
И я, вспоминая Жюль Верна и Грина,
Мечтаю по-детски в рассветной поре,
Чтоб день этот новый, родившись в пучине,
Был лучшим из дней в золотом сентябре.

¹«Ямато» – древнее название родины японцев.

КОРАБЛИКИ ИЗ ВЧЕРАШНИХ ГАЗЕТ

Бледнолика луна, серебрится волна,
рассыпается в брызгах прибой.
От воды до песка протянулась струна,
корабельный гудок, как гобой.
Мягко тёплый асфальт, нежен тёплый гранит,
и в ладонях живая вода.
Южной ночи графит, звёздным небом фонит
и цепляется за провода.



У стихии морской время, встав на постой,
спит, устав, утомившись от дня.
Только бакен не спит и играет с волной,
красный свет в темноту обронея.
Многоточие чашек качает Морфей,
снится чайкам солёный рассвет.
К дальним далям прильнули тела кораблей
из промокших до нитки газет...

А осень льёт, а осень льёт.
В сырой ноябрьской оправе
рыдают окна, плачут травы
среди намокших позолот.

И жёлтый лист, как майский мёд.
Слегка горчит напоминаьем
о тёплом лете. Нынче – дальнем,
куда ведёт пернатых лёт.

И только протяни ладонь –
она наполнится водою,
и отражением, не скрою,
в котором хрупкий мир. Не тронь.

А осень льёт, а осень льёт.
Рассвет осливает ветви.
Уже седьмого часа четверть
и новый день уже грядёт.

Звонарь разбрасывает звон.
Дождь мечет струи, сыплет капли.
И благ в душе бодрящий наплеск –
сладкоголосый перезвон.

Вперед по жёлтым пятнам луж!
Туда, где тучи налитые
лучи пронзают заревые,
и алый свет стирает тушь.

Мне шептала тихо осень:
«Всё проходит, всё проходит».
И в амбар сложили косы,
где вино живое бродит.

Утром сонная калитка
голосит, скрипя и плача.
Только ветер духом зыбким
из листвы скрутил калачик.



Из тягучего тумана
голос птицы незнакомой,
и алеет диск шаманный
из небесного разлома.

От листвы сгоревшей горечь
мягко стелется от тына.
И с кукушкой будто спорит
перестуками дрезина.

Смотрят, влагу призывая,
чернооко чернозёмы.
И от края и до края
золотые окоёмы.

Синяя луна стучится в окна,
Паутину звёзд спустив в ладони.
Я в который раз ночь эту проклял,
Вспоминая вечер у «Фанкони»,
Вспоминая вечер слово в слово,
Вспоминая смыслы, чувства, ритмы,
Всё, что вырвалось и зазвенело снова,
Вырвалось и стало явным, зримым,
Вспоминая ваших плеч волненье,
Ваших глаз зелёные глубины.
От среды – сто лет до воскресенья,
Каждый час невероятно длинный.
Я мечтаю вновь о нашей встрече,
Так желают лишь воды в пустыне.
Сердце рвётся... Предрассветье мечно
Под гуленье пары голубиной...

КОНСТАНТИН А. ИЛЬНИЦКИЙ

ЧЕЛОВЕК С ВООБРАЖЕНИЕМ

СОСТАВИТЕЛЬ СЛОВ

Я попросту любитель слов.
Задатки – святотатца.
С невинных слов сорвать покров,
узреть и любоваться.

Я просто покровитель слов.
Потерты ли, изранены,
для них всегда и стол и кров,
сюда – сверкайте гранями.

Как мысль над словом ворожит
для удвоенья смыслов,
так жизнь от смерти убежит,
на поединок вызвав.

У каждого свой смех и грех –
родились и отпеты.
Но писаны одни для всех
библейские сюжеты.

И в раздвоении миров
от Каина до Авеля
я просто составитель слов –
они меня составили.

КОРДОВА

Из рыжего песчаника
нескладными аккордами
звучат как обещания,
как песни – стены Кордовы.

Все башни – это форте.
Хоть биты, не разбиты.
И нынче им комфортно,
как нам под их защитой.



Где стыла инквизиция
от мавританской скверны,
глядим счастливолицы
на апельсинов скверы.

В погоне за просторами
вестготы и Насриды
кроили так историю,
что позаврались гиды.

Талдычат о симпатиях
народа к Альмохадам.
Но за решёткой патио
и счастье под аркадами.

И мы наврём с три короба.
Враньё не даст отчаяться.
Ведь это сказка – Кордова,
а в сказке всё случается.

ОХРИД

*Почти родовая мука моя родовая память.
Ольга Пильницкая*

Как не перекрашивай былое,
очевидность – византийской охрой.
Мазаны одним культурным слоем
Киевская Русь и город Охрид.

Царственная лень в тени веранды,
алкоголь с добавками аниса,
в запахах инжира и лаванды
как своя гордыня кипарисов.

В запахах инжира, розмарина
я губами округляю звуки
первых букв славянского зачина,
родовую память – аз и буки.

Память детства – мама мыла раму.
Дед седой – иконой на портрете.
Приземлённость византийских храмов
– это од кутюр тысячелетий.

Память сердца, и всплывают лица –
кто ушёл, кого уж не вернуть.
Озеро – зелёной плащаницей.
Глубоко. Никак не донырнуть.



ЛЮБОВЬ

Хоть изучайте с лупою
подряд все жизни частные,
любовь бывает глупою,
но никогда несчастною.

Не соглашусь с соседями,
коллегами, любовницей,
супругой, Википедией
и с тётушкой покойницей.

Любовь бывает тяжкою,
слепую, безответною,
прогорклою, как с Глашкою
когда-то мы отведали.

Она бывает страстною,
с депрессией, отчаяньем,
но ей не быть несчастною,
никак, по умолчанию.

Всецело или отчасти
улики подытожив,
любовь – исчадьё счастья,
несчастной быть не может.

С её размахом славным
от ада и до рая
любовь – ведь это главное,
что вспомнить, умирая.

Без жалоб, укоризны
лишь в памяти скользнёте
над всей прошедшей жизнью
на бреющем полёте.

МААСТРИХТ

Не знаю, крест или протест –
охота к перемене мест.
Катиться б лет до ста.
Наверно, это благодать –
иметь возможность примерять
жизнь с чистого листа.

Осенний город так же чист,
как расписной кленовый лист
в струении ручья.
Здесь шли сраженья столько лет,
что мало радости побед,
а лучше всех – ничья.



Осаду вёл, погиб от ран
под Маастрихтом д'Артаньян,
так враг он или нет?
Но время всё перекроит,
и памятник врагу стоит –
он гордости предмет.

Не знаю, без душевных травм
сумели б мы сказать врагам,
что мир одна семья.
Наносит дождь за штрихом штрих,
и толерантный Маастрихт
исчеркан, как и я.

ИЗЛУЧЕНИЕ

Мы знаем, что влечение
в основе многих браков.
Любовь же – излучение,
и поразит не всякого.

Ещё одна нелепица?
Но нет другой причины,
когда так ярко светятся
влюблённые мужчины.

Невинные, порочные,
в Америке и рядом,
их не страшат побочные
следы полураспада.

Они дойдут до края,
ведь слаще нет мученья,
чем жить, себя сжигая,
в режиме излученья.

Все моралисты – лесом,
и нет грехопаденья
от ядерных процессов
в период возбужденья.

Когда неотразимы,
наградою – семья.
А ядерные зимы –
у каждого своя.

ПО КРУГУ

Хоть утром навсегда простились,
но вечером опять свиданье.
Вся жизнь – как тест на совместимость
с побегамы, любовью, бранью.



Но этот бег уже по кругу,
где раздражения терпимы,
и прорастание друг другом
становится необратимым.

Ты ратуешь за перемены,
в родные стены возвращаясь.
А я со всей своей вселенной
в твоей ладошке умечаюсь.

БУЛЬВАР

Н.П. Грубник

Всё постранично – старинный платан,
памятник Пушкину, солнце весеннее –
перечитать как любимый роман
и восхититься новым прочтением.

Можно построчно – пунктир кораблей
взглядом на рейде едва охватив,
тянешь неспешно длинноты аллей,
как сквозь соломинку аперитив.

Вдруг не по чину буксир забасил,
праздный народ на гулянье попарно,
и не с руки выбиваться из сил,
сил притяженья скамейки бульварной.

Лестниц корсеты сжимают плато
дух перехватывать и возвышать.
Но в пересказе всё будет не то.
Лучше сверстать и послать на печать.

РАСПРОДАЖА

Распродажа идёт, распродажа.
У кого-то хороший улов.
Эпицентр городского пейзажа –
сэконд-хенд обветшалых домов.

С моря клочья тумана, и гулко
дождь молотит по мостовой.
Мне в лотки бы б/у переулков
окунуться опять с головой.

Где в развалах деталей бесценных
отхватить может ушлый народ
фантастические мизансцены
с главной ролью дворов и ворот.



А потом из проулка увижу,
как туману сдаётся внаём
пересортица жёлтого с рыжим
на Приморском бульваре моём.

ЧЕЛОВЕК С ВООБРАЖЕНИЕМ

Удивление с годами
переходит в раздраженье,
потому что в доме с нами
человек с воображеньем.

У него с зарплатой трудно,
хоть и нужные есть связи.
Но зато расцветит будни
фейерверками фантазий.

Как начнёт тачать резоны –
не язык, а помело –
то пришельцы, то масоны,
то Моссад, то НЛО.

Жизнь враскачку – вправо, влево,
то надежда, то разруха.
Я сама – то королева,
то змея, то потаскуха.

А реально – просто дура!
Но терпеть достанет сил.
Это ж он меня придумал,
и любовь нам сочинил.

НА КРАЮ ВОЙНЫ

Двадцатый век мой дед нарёк
вершиной лихолетий.
Сквозь три войны его длины
досталось деду жить.
Я ж вроде выбрал уголок
в тишайшем из столетий,
да видно в годы без войны
всю жизнь не уложить.

Мы жили на краю войны,
как беженцы в посёлке,
стараясь из последних сил
её не замечать –
недоукраденной страны
кровавые осколки.
Кто примирения просил,
кто жаждал палача.



Но было очень важно мне
в недоукраденной стране
увидеть в человеке
свободу мыслить и дышать —
и эту божью благодать
не отобрать, не променять
и присно и вовеки.

II

Когда наскучивает красть
и соблюдать приличья,
найдётся тысяча причин
для кистеней и стрел.
И разложившаяся власть
в погоне за величьем
затеет, аки тать в ночи,
кровавый передел.

Пусть кто-то мается виной,
но кто-то кормится войной,
не ведая сомненья.
И жизни тут уже не в счёт,
когда бухгалтерский учёт,
рентабельность кормленья.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

ЧЕЛОВЕК ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

С каждым годом время дорожает, –
ведь небытие нам угрожает.
С каждым годом – дорожает время.
Сам себя спрошу я: быть ли с теми,
кто его не ценит, глупо тратит,
не боясь, что времени – не хватит?
Взвешу я минуту, как монету –
тратить ли её на разговоры?
Ибо мысль пришла – блуждала где-то,
в дверь стучит. Пора открыть запоры.
Сам себе и не принадлежу.
Времени принадлежу, пространству.
Поневоле – дальше ухожу.
И уже нет места самозванству.

Отчаиваюсь, ужас видя.
Завариваю крепкий чай.
Скажи, как жить, не ненавидя?
Любить врага ли – отвечай?
О, ты, кто жил во время оно –
попробуй трезвый дать отчёт.
На тысячи, на миллионы
смертей ведётся кем-то счёт.
Виновен кто во всём – политик,
коварный Некто, враг, чужой?
А может, ты виновен, – винтик?
Ввинтился, – покривив душой!
Уничтоженье, униженье,
уничтоженье бытия.
Ах, если бы пришла в движенье
душа – твоя или моя,
негодовала и любила...
Смотри – убийца входит в храм!
Земля нам – общая могила,
когда высокое – лишь хлам.



Что-то случилось со мной и с тобой,
 что-то случилось с нами,
 с нашей жизнью: не стала судьбой, —
 а виртуальными снами.
 Вправду живём — или спим наяву?
 Мать и отец наш — Случай.
 Нам удержаться бы на плаву,
 нам бы найти, где лучше...
 Кто-то, проснувшись, задаст вопрос:
 «Как же всё это странно.
 Все мы, живущие не всерьёз —
 лишь за стеклом экрана?
 Тени без плоти, луч световой,
 что силуэты чертит?
 Люди, ответьте, кто тут живой?»
 — Тот, кто боится смерти.

Человек цифровой эпохи
 с головы оцифрован до пят.
 Цифры — эти новые боги, —
 от него чего-то хотят.
 Человек цифровой эпохи
 подсчитает выдохи, вдохи.
 Он в машине, он в самолёте,
 он в работе всегда, в работе.
 Скоротечны радости, горести —
 он летит на предельной скорости,
 он и слушает, да не слышит,
 запыхавшись, почти не дышит.
 Он — как квантовая частица,
 что летит в пучке электронов.
 Он физическому закону
 повинуется — или судьбе?
 Но куда и зачем он мчится —
 он об этом не скажет тебе.

Падают самолёты.
 То ли ошиблись пилоты,
 то ль в небесах — пустоты...
 Кончились наши полёты?
 Нам, так смело дерзавшим,
 нам, так сильно дерзившим,
 нам, легкомысленно вравшим,
 нам, позабывшим о вышем, —
 нынче полёт и не снится.
 Разве душа — легка?
 Пусть полетают птицы.
 Пусть летят облака.



Падают самолёты.
Кончились, что ли, полёты?
Случай действует слепо?
Техника ль подвела?
Небо не держит, небо!
Вот ведь какие дела.

Человек. Подвид: исчезающий.
Как снег тающий.
Услышь уходящего!
Что он скажет тебе напоследок?
На нас всё кончается.
Не будет чуда.
Не будет чего-то,
что существует
на птичьих правах,
в нас самих – и с нами.
Человек незаметно уходит.
Кто тебе, остающемуся, объяснит,
кем он был, чего он хотел.
И не с кем ему проститься.
Он растворится
кристалликом соли
в подземной реке
человеческой боли.
А ты, полуробот – полубезьяна,
выпьешь стакан воды,
добытый из артезианских глубин,
и вдруг, не поняв отчего,
затоскуешь.

Ты написал. Поставил точку.
Бутылку бросил в океан.
И снова – мысли в одиночку,
став пролетарием всех стран,
двух обладатель полушарий
и впрямь сегодня пролетарий.
Характер у эпохи крут.
Тебя молчанием убьют.
Оставив без ответа слово,
как будто это звук пустой.
Убьют молчанием свинцовым
и равнодушной глухотой.



С. Айдиняну

Вы печатаетесь. Он – бормочет,
 небу учится у стрекоз,
 и, срывая голос, пророчит,
 ставит мир и себя – под вопрос.
 И глядит потрясённо в дали
 впереди себя и позади.
 Ах, поэт, мы тебя не ждали.
 да и ты – ничего не жди.
 Ведь поэзия – ходит по лезвию,
 осторожностью не греша.
 Сотни тысяч строк – не поэзия,
 если не на разрыв – душа.
 И, всем критикам неподсудный,
 зарифмуешь свой сон, и стон.
 Быть поэтом эпохи скудной
 можно – выпав из связи времён.
 Не спеша, разминувшись со всеми,
 уходи без страха во тьму,
 и сквозь время гляди, сквозь время,
 не подвластное никому.

НА СМЕРТЬ КИРИЛЛА К.

1.

Что ему до тебя? Что тебе до него?
 Каждый просит: оставьте меня одного.
 Ну, а вдруг твою просьбу услышит Бог,
 и скажет: «Ладно. Да будет так!»
 И вмиг поймёшь: до чего одинок
 в миг, когда уходишь во мрак.
 Ходим, головы гордо задрав.
 Каждый из нас – по-своему прав.
 Живём, азартно что-то дела.
 Но на всех на нас – одна Земля.

2.

Слышишь ли ты голос дождя,
 слышишь высокую гор речь?
 Оборачиваешься, уходя.
 Во рту ощущаешь горечь.
 Поодиночке уходим туда,
 где угасают все голоса,
 где нам не встретиться никогда
 даже на жалкие полчаса.
 Там ни злобы уже, ни соблазна.
 Там мы все друг с другом – согласны.



3.

Просыпаешься, зажигаешь свет,
и видишь всё в беспощадном свете.
На все вопросы – один ответ.
И слово «смерть» – в этом ответе?
Вот что вонзается в наше сознание,
и эту занозу не вынуть никак.
Это наше о смерти знание –
невидимый, постоянный враг.
Неужто жизнь наша, в самом деле,
заперта в этом ветшающем теле?
А мысль, а слово, а правда, а дух,
а то, чего так и не высказал вслух?
Жизнь, как ветер, шумит в листве.
И неумолчно шепчет листва:
«Каждый – со всеми в кровном родстве!
Все мы – одно в глубине естества.
И ты – вселенской жизни частица
в веселии общего бытия».
...А с небес окликает птица, –
жизнь, что когда-то была твоя...

Весна уже взяла разбег.
...В Одессе – снег. В Париже – снег.
Неужто и в Париже
Не зелено и рыже?
Приснится разве в страшном сне,
что можно помешать весне,
природе вызов бросить,
планету подморозить.
Не мы ли виноваты
в том, что холодновато?
Виновен я, виновен ты,
что в Антарктиде тают льды,
что бьёт холодный ветер в лоб,
что новый нам грозит потоп.
Что хомо сапиенс – глупец.
Пусть поумнеет, наконец,
пусть обретёт он разум, –
не то погнём разом.
...Весна уже взяла разбег.
В Париже снег. В Одессе снег.

АЛЕКСЕЙ РУБАН

ПУТЬ ПИЛИГРИМА

рассказ

Я часто пишу о маленьких людях. Это, наверное, самое безобидное определение из тех, которыми мы их наградили. Растерянные перед лицом жизни, не умеющие и не желающие в неё встраиваться, они, тем не менее, усердно вращают её колесо и заслуживают если не жалости, то уж точно понимания и сочувствия. Маленькие люди в поисках любви интересны мне, как никто другой. Костя Пилигрим, герой этого рассказа, один из них. Пожелаем же ему удачи в пути.

Ночью Косте снилась неопишуемая дичь. Пилигрим в его сне возвращался из очередного паломничества в квартиру, которую до этого кому-то сдал по оставшимся за кадром причинам. Обитель странника, по всей видимости, отличалась фантастическими размерами. Едва ступив за порог, владелец оказался отодвинутым к стене потоком детей. Они бесконечно долго выливались откуда-то из глубин квартиры, исчезая в открытой двери, попутно что-то распевая, ссорясь, пища, визжа и облизывая леденцы на палочке. Наконец, напор разноголосой струи стал ослабевать. Последним шествовал помятого вида лысый тип в шортах, рубашке с коротким рукавом и свистком на шее. Он приблизился к жвавшемуся в стену Пилигриму и начал отчитывать его за плохое состояние квартиры, покачивая блестевшей в электрическом свете лысиной и брызжа во все стороны слюной. Паломник какое-то время стойчески сносил сыпавшиеся на него инвективы, а потом, осознав, что их запас мог быть бесконечным, сорвал с себя вязаную шапку и засунул помятому в рот. Тот в растерянности замахал руками. Пилигрим, пригнувшись, проскользнул под одной из взбивавших воздух лопастей и бросился в глубь квартиры. Последнее, безусловно, было стратегической ошибкой, убежать следовало через дверь. Паломник осознал это, услышав за спиной крики и топот справившегося с кляпом лысого. Дальнейшие события скрыла тьма, опустившаяся на сознание спящего.

Проснувшись, Костя некоторое время втискивал себя в жизнь, справляясь с утренней слабостью под завывания ветра за окном и двумя одеялами. Он думал о том, каким образом в голове у человека разыгрывались мини-пьесы, легко нагибающие к плинтусу все творения корифеев театра абсурда. В своей недолгой жизни Костя никогда близко не сталкивался с маленькими детьми, равно как и не выступал в роли сдающего жильё. Припомнив всяческие, поверхностно ему знакомые эго и ид, Пилигрим принял решение повернуться на бок и ещё какое-то время провести во владениях Морфея. Уже приведя тело в движение, он вдруг снова подумал об аренде. Мозг ассоциативно выдал на-гора образ кучки купюр на столе. Костя вспомнил о счетах в прихожей, вечернем звонке матери и нехотя обрушил затылок на подушку, так и не осуществив намерение.

Вот уже шестой месяц мать занималась тем, что ухаживала за неким преклонных лет гражданином далёкой страны с субтропическим климатом. Студент факультета журналистики (он надеялся, что этот статус сохранит актуальность и в обозримом будущем), Костя знал значение слова «эвфемизм» и понимал, что вышеприведённое определение звучало куда лучше, чем дело обстояло в действительности. Впрочем, за мытьё зада заморского хрыча платили в разы больше того, что мать зарабатывала в качестве старшей медсестры районной поликлиники. Придерживаясь сложной схемы действий с привлечением живших за границей дальних родственников, мать сумела получить рабочую визу и сейчас помогала поддерживать жизнедеятельность человека, достигшего возраста, которого, по мнению Кости, достигать не стоило в принципе. Звонила она раз в две недели, вечерами, когда разговоры оплачивались по более низкому тарифу. Накануне Костя по известным ему причинам начал кружить у телефона где-то за час до положенного времени и вдавил кнопку принятия вызова, оборвав первый же гудок.

- Сыночек, привет, – в голосе матери слышалась привычная, давно въевшаяся в него усталость.
- Да, привет, мам, ты как? – скороговоркой выдал с трудом сдерживавший нетерпение Костя.



– Всё нормально, Джованни держится, так что работа есть. Как ты, как институт, дома всё в порядке?

– В порядке, конечно, в порядке, что тут у нас может произойти? Учусь, сейчас всё спокойно, только начало семестра. Дома убираю, цветы политы, ем вовремя, можешь не переживать.

– Хорошо, Костик, всё делай, что нужно, пожалуйста, чтобы я не волновалась. Я на тебя надеюсь.

– Да, да, мам, а ты...

– Деньги я тебе отправила, как раз только из банка вернулась, завтра сможешь получить. Ты там управляешься?

– Само собой, – от облегчения Костя заработал голосовыми связками с ещё большим напором. – Всего хватает, в кафешку хожу, коммуналка проплачена. Ну всё, не трать деньги, целую тебя.

– И я тебя обнимаю и целую, будь осторожен.

Костя разбеднился, вытер выступивший на лбу пот, возблагодарил Джованни с его требовавшим мытья задом и положил телефон на столик возле нескольких листов с печатным текстом угрожающего содержания. Основной целью поездки матери была необходимость оплачивать контракт сына на обучение в Университете. В этом деле Лариса Алексеевна могла рассчитывать только на себя. Муж, с которым она разошлась много лет назад, некоторое время платил алименты, а потом благополучно растворился на просторах страны. После долгих раздумий было решено, что Костя станет ежемесячно получать сумму, достаточную для оплаты коммунальных услуг, и посещать близлежащее недорогое кафе с демократичными ценами. Родители Ларисы Алексеевны, жившие в другом городе и слишком измотанные бытом для того, чтобы перемещаться на большие расстояния, не могли разрешить проблему питания внука, в связи с чем пришлось прибегнуть к услугам общепита. Оставшейся части заработанных матерью денег суждено было осесть в банке, дабы дать Косте возможность проторить себе дорогу к карьере преуспевающего журналиста. В течение первого месяца самостоятельности Пилигрим относительно успешно следовал намеченному плану, а затем в его жизни появилась Вера.

О своём более чем скромном любовном опыте, ограничивавшемся поцелуями с одноклассницей, дальше которых дело не зашло, Костя предпочитал умалчивать в разговорах с кем-либо, кроме Фила. Не проявляя застенчивости в общении со сверстниками мужского пола, в компании девушек Пилигрим терялся, слабо представляя, о чём с ними говорить и как себя вести. Затянувшаяся девственность уже грозила перерасти во внутренний комплекс, когда в самом начале второго курса на студенческой конференции Костя познакомился с Верой. Конференция была по философии, и Пилигрим рьяно отстаивал честь своего факультета, в течение десяти минут распыляясь на тему концепции Бездны в учении неоматериалистов. Вера сама подошла к нему после окончания мероприятия и сказала, что ей очень понравился доклад. Опалевший от такого заявления Костя забыл признаться, что так ничего не понял ни в Бездне, ни в её неопадках, а через некоторое время обнаружил себя сидящим за одним столиком с Верой в студенческом кафе. Выяснилось, что любительница философии тоже училась на втором курсе, продиралась сквозь дебри экономических теорий в другом корпусе Университета, а на конференцию пришла поддержать подругу. Описания дальнейшего можно найти в многочисленных произведениях литературы и кинематографа, и над всем царил знаменитое «как в тумане» из песен легиона пахарей поп-нивы. Костя влюбился. Он уходил с последних пар, чтобы встретить отсидевшую лекции девушку, героически выдерживал взгляды её сокурсниц, с которыми она обменивалась поцелуями на прощание, ходил с ней в кино и пил кофе в барах. Время от времени ему приходилось наткнуться на упоминания о предыдущих Вериных пассиях, и столкновения эти каждый раз заставляли вздрагивать внутренний мир. Всё, что Костя мог противопоставить соперникам из прошлого, был статус крутого одиночки, в девятнадцать лет ведущего самостоятельную жизнь, и присылаемые матерью деньги. Когда у них всё произошло у него дома, Пилигрим не мог однозначно сказать, понравилось ли ему. Как оказалось, важнее внешности, фигуры и даже духовной близости для него был факт того, что он кому-то нужен. Костя платил за заказанное в барах и кафе при кинотеатрах, покупал Вере тонкие женские сигареты, вызывал ей такси до дома. Пары посещались всё реже, а счета за коммунальные услуги отправлялись в мусорное ведро без ознакомления. Туман стучался. Однажды, выпив два пива в очередном заведении, Пилигрим в приступе эйфории предложил девушке отпраздновать наступление Нового года на горнолыжном курорте. Улыбаясь, Вера сказала, что ей нужно посоветоваться с родителями и дожидаться, пока объявят расписание экзаменов. К середине декабря Костя забеспокоился. Пора было заказывать путёвки, с билетами на поезд, учитывая приближающиеся праздники, также могли возникнуть проблемы. Холодным пасмурным днём, едва девушка вышла из здания Университета, Костя заговорил о поездке.



– Слушай, ты только не обижайся, – сказала Вера, когда он закончил. – Я, наверное, не поеду. Напиши курс собираются в клуб, зовут с собой. Там студентам скидки большие в новогоднюю ночь, обидно будет пропустить.

– Ладно, как скажешь, – произнёс Костя, несколько обескураженный таким поворотом событий. – А что за клуб? Я их плохо знаю.

– Ты не понял, – поморщилась Вера. – Я туда иду одна.

– В каком смысле, одна?

– Костик, сорри, давно надо было тебе сказать. Мы разные, неужели ты не видишь? Нам в таком формате ничего не светит. У меня своя жизнь, свои темы, друзья, вы вряд ли будете общаться. Мне с тобой было хорошо, мы классно проводили время, но дальше это всё... Ну, бесперспективно, короче. Прости, что не сказала раньше. И вообще, не думай даже париться, ты же такой интересный тип, много знаешь, с тобой куча девок захочет встречаться, ещё поперебираешь.

Косте показалось, что его внезапно ударили по голове чем-то тяжёлым. Последовала неприглядная сцена, на протяжении которой он срывал голос, обещал, упрашивал, клялся, что станет общаться с Веринными друзьями, жить её интересами. Когда девушка ушла, он ещё недолго стоял под начавшим падать снегом, а потом, ломая сигареты, закурил и поплёлся домой. По дороге ему пришло в голову, что он действительно совсем мало знал о жизни Веры. За прошедшие три месяца почти ежедневных встреч они всегда были только вдвоём. Костя не думал, что Вере могло хотеться чего-то ещё, он не знал её друзей, не был знаком с родителями, хотя несколько раз и провожал её до дверей квартиры. Воодушевлённый своим открытием, Пилигрим набрал номер девушки. Она выслушала его, подтвердила все умозаключения и закончила разговор всё тем же «мы разные».

То, как Костя жил следующий месяц, также с различными вариациями тысячи раз описывалось в творениях литераторов и режиссёров. Пару раз он жестоко напивался до рвоты дешёвым пивом, а потом сутки отлёживался на обочине жизненной колеи. Проснувшись утром, Пилигрим равнодушно давился бутербродом с холодной колбасой, брал рюкзак и отправлялся бесцельно бродить по заснеженному городу. Промёрзнув до костей, он возвращался домой, в одежде залазил под одеяло и там, в тепле, впервые за день испытывал некое подобие эмоций. Вечерами он набирал номер Веры. Та сначала брала трубку, а потом перестала отвечать на звонки, напоследок заявив, что готова общаться, «если будет что-то конструктивное». Прошли праздники, подходила к концу зимняя сессия, а с ней и жизнь в тумане. Пробудившись одним утром, Костя осознал, что пришло время подводить итоги. Последние наводили на мысли о катастрофе. Пилигрим не сдал ни одного экзамена, ни разу даже не появившись на факультете во время сессии. Денег до следующего перевода оставалось впритык, но этот факт меркнул по сравнению с воспоминаниями об отправленных в мусорную корзину счетах. Костя не представлял, сколько задолжал государству за использованные природные ресурсы, но хорошо знал, что, ввиду распростёршего над страной крылья энергетического кризиса, ему грозило отключение от источника тех самых ресурсов. По закону нерадивый гражданин, желавший вновь припасть к живительному источнику, должен был погасить весь долг, присовокупив к этому достаточно крупную сумму в качестве штрафа. Необходимо было срочно что-то предпринимать. В деканате вяляли мольбам находившегося на хорошем счету студента, ссылавшегося на семейные неурядицы, и разрешили задним числом сдать экзамены, правда, установив для этого жёсткие сроки. В сфере отношений с государством всё выглядело значительно хуже. Костя недолго пребывал в неведении по поводу суммы долга, получив уведомление с угрозой отключить всё, что можно было только представить. Оплатить предлагалось как минимум половину задолженности, остальное можно было понемногу погашать в ближайшие несколько месяцев. Срок оплаты истекал в пятницу. В четверг раздался звонок, которого Костя ждал с напряжённо ходящими под кожей желваками. Денег матери должно было хватить на покрытие той самой половины долга. Как он станет жить на остающуюся ему смехотворную сумму, Пилигрим предпочитал не думать. В приоритете значилось задержать готовый упасть Дамоклов меч, а затем следовало активировать режим строжайшей экономии и переключиться с пищи телесной на духовную, то есть необходимую для сдачи экзаменов. Итак, Косте предстояло совершить паломничество в находившееся на другом конце города отделение банка, недалеко от которого, по очередной иронии зтейницы-судьбы, жила Вера. Только там, по какой-то непостижимой для среднестатистического ума причине, он мог получить денежный перевод из-за границы. Оплатить счета можно было в том же отделении, что хоть немного тянуло на утешение. С пелёнок вдыхавший с воздухом родины все её маразмы и уродства Костя не задумывался, почему в месте, где он жил, всё было устроено именно так. У него оставалось время до шести часов вечера, чтобы успеть хоть немного поправить ситуацию, а для этого следовало встать и идти.



«Почему я всё время куда-то двигаюсь? – думал вылезший из постели Костя по пути на кухню. – Сидеть на месте клёво, но только с дороги и только недолго. Интересно, мне просто нравится менять декорации, или я подсознательно что-то ищу? И если да, то что? И вообще, что у меня в голове, когда нужно решать столько проблем?». Костя по прозвищу Пилигрим подошёл к двери на балкон и посмотрел на падающие на землю крупные хлопья снега, на обледеневшую улицу, по которой ему сегодня предстояло шагать к троллейбусной остановке. Как и большинство фанатичных путешественников, он редко спрашивал себя, почему так любил бродить в одиночестве. Возможно, эта страсть вросла корнями в его детство, во времена, когда он с заядлой туристкой-матерью облазил полстраны. Вместе с десятком таких же энтузиастов они штурмовали горы, разбивали палатки на морском берегу, углублялись в лес, ведомые хорошо знавшим места проводником. Впрочем, повзрослев достаточно, чтобы передвигаться без сопровождения, Костя, не утративший любви к пешим переходам, сделал выбор в пользу исследования каменных джунглей. Свой город, как и близлежащие населённые пункты с диким клеймом «посёлков городского типа», он изучил так, что мог по памяти составить карту местности. Об архитектуре города, его подъездах, зайдя в которые и проследовав сеть узких коридоров, можно было очутиться на параллельной улице, ромбовидных дворах-колодцах, скрывававших причудливого вида скульптуры, потаённых садах и заброшенных кладбищах Пилигрим знал больше любого студента-краеоведа. Возвращаясь из своих паломничеств, он садился за компьютер и искал в Сети информацию об увиденном, а порой и тревожил пыль на привыкших к темноте библиотечных хранилищ томах. Ни разу Косте не являлась мысль сделать свою страсть профессией, и это тоже роднило его с членами странного братства мечтателей-путешественников. Несколько раз Пилигрим пытался приобщить к своим странствиям Веру, но та предпочитала передвигаться на транспорте, хотя и не без интереса слушала его рассказы.

Остатки варёной колбасы из холодильника Костя доставал под бульканье воды в чайнике, которому вторили персонажи очередного телесериала. Телевизор Пилигрим не смотрел, но часто занимался под его бормотание делами, не требовавшими приложения умственных усилий. Транслировавший картинку ящик создавал иллюзию вовлечённости в активную жизнь и давал изрядное количество поводов для поднятия настроения. Совершая свои паломничества в разные части города, Костя видел немало странных и даже пугающих вещей. Зачастую они встречались не на кладбищах или пустырях, куда не доходил шум толпы, а посреди улиц. Люди шли по своим делам и не замечали лики полулюдей-полужаб, вырезанные на фасадах домов. Заходя в подъезды, они не обращали внимания на скрывававшиеся под лестницами запертые металлические двери, двери, в которые могла бы протиснуться разве что средних размеров собака. Однажды в ромбовидном дворе, в двух кварталах от центральной улицы, Костя наткнулся на маленький бассейн. В его центре стояла каменная фигура облепленного водорослями старика с разваленным криком ртом и громадой толстых, намертво схватившихся друг с другом жгутов-волос, из которых выглядывало некое подобие тритона. Впрочем, творившееся на голубом экране по степени воздействия на сознание нередко превосходило мрачные загадки старого города. Сегодня Костя размешивал чай, параллельно вникая в сложные взаимоотношения героев телевизионного фильма «Проклятье длиною в жизнь».

В молодости две подружки были влюблены в некоего сельского красавца, славного бойца аграрного фронта и кумира всех тыловых женщин. Немилосердно попирая жизненные реалии, из двух страдалиц аграрий выбрал внешне значительно менее одарённую природой, что компенсировалось ценными душевными качествами барышни. Охваченная гневом отвергнутая соперница обратилась к местной знахарке-колдунье. Вскоре сельскохозяйственный герой погиб, не отрываясь от производства (как, Костя не видел, однако почему-то надеялся, что того затащило в комбайн). Оправившаяся от горя носительница душевных качеств вышла замуж за персонажа попроче, коварную же инициаторшу проклятья бумерангом огрело причинённое ею зло. Три десятка лет она регулярно потребляла спиртосодержащие напитки, при этом умудряясь сохранять товарный вид и содержать своё жилище в незагаженном виде. Затем, по всем канонам жанра, в её жизнь размахистым шагом вошёл спаситель. В своё время благополучно выскользнувший из объятий зелёного змия, он предложил помочь новообретённой возлюбленной повернуть такой же фокус. Та в угаре дала добро, утром же, трясясь от абстиненции, обнаружила, что принц-факир ночью ликвидировал все запасы спиртного в квартире, слив их в унитаз. Тряска усиливалась, совершались поползновения выйти в магазин с целью поправить здоровье, однако в итоге все остались у семейного очага, благодаря увещеваниям и заботе опытного заклинателя змей. Внезапно на сцену вышла обиженная подружка молодости в компании того, что попроче. Дамы слились в экстазе примирения, персонаж попроче поднимал здравицы, безалкогольная парочка взирала на него, не выказывая никакого желания присоединиться. Фейерверк, занавес, жидкие аплодисменты. В квартале от Костиного дома, возле троллейбусной

остановки, в подвальном помещении располагалось заведение, носившее гордое имя «Винодельческая станция». Помимо разьедавшего желудок вина, страждущих там потчевали не менее качественным пивом и прочими, совсем уже за пределами термоядерности напитками. Начавший потреблять их венец творения мог запросто обнаружить себя через каких-то полчаса валяющимся у подножия эволюционной лестницы. Худоба Пилигрима и отсутствие регулярной практики не позволяли ему даже помыслить посягать на подвиги завсегдаев «Станции», однако контингент последней Костя знал неплохо. В своих странствиях он не раз встречал их, опухших, потерянных, в поисках любой возможности наскрести на очередной глоток, и порой выручал сигаретой или горстью мелочи. То, что показывали по телевизору, не имело ничего общего с выстуженной реальностью за окном, реальностью подвального кабака. Костя подумал о проклятиях, о тех, кто считал их данностью, не давая себе труда поразмыслить, как это сочеталось с верой в единого бога. Эти же люди, восхваляя своего создателя, никогда не выносили мусор вечером, не клали на стол ключи и меняли траекторию движения, завидев на пути чёрную кошку. Пилигрим, быть может, потомок тех самых, сотни лет назад тащившихся через весь континент к святым местам, не понимал, как в мире под управлением доброго и справедливого боженьки благополучие человека могло зависеть лишь от того, встретится ли ему собрат с пустым ведром в руках или нет.

Дребезжание телефона на кухонном столе прервало размышления о вечном. На экране Фил перекашивал гримасой длинное лицо под неизменным капюшоном.

– Хай. Сегодня корзинюсь, могу выкроить час. На три насущных должно хватить. Ты как?

– Час? – Костя задумчиво потёр бровь. – Добро, но только не больше. Вчера ушли деньги, сегодня кровь из носа надо получить и всё оплатить, иначе сам знаешь.

– Мудрому достаточно. Я быстро в лабаз, через сороковочку буду на месте, придадим тебе ускорение. Готовь тару.

Фил отключился, и Костя отправился совершать необходимые приготовления к предстоящему походу. Он кое-как помыл посуду, почистил зубы, оделся и кинул в прихожей поношенный рюкзак, без которого никогда не выходил из дома. Паспорт Пилигрим положил во внутренний карман тёплой дутой куртки. Зимних курток у него было три, все они висели на вешалке в прихожей, и каждая могла бы немало рассказать о суровости зим в стране, где жил их хозяин. Сам не зная зачем, Костя пошарил в джинсах, достал две помятые купюры и несколько секунд пристально их созерцал. Денег на обратную дорогу у него не оставалось, он прекрасно знал об этом, поэтому в случае каких-то проблем с получением перевода ему пришлось бы возвращаться домой на своих двоих. Пилигрим подумал о том, что нужно было попросить Фила не тратить всё на «насущный». Время, впрочем, даже в век суперсовременных технологий по-прежнему отказывалось принимать угодные гомо сапиенс пластичность и обратимость. К тому же потенциальная многочасовая прогулка по заснеженному городу и рядом не стояла с тем, что ждало Костю в случае неплаты по счетам. Вздохнув, Пилигрим принял решение положить на волю фатума.

«Насущным», точнее, «насущным номер один», на языке Фила именовалось пиво. Под вторым номером значился пользовавшийся гораздо меньшей популярностью хлеб. Фил был мастером лексического конструирования, и желающим изучить его словарь определений пришлось бы провести не один месяц, вникая в смысл красочных авторских метафор, к тому же глоссарий регулярно пополнялся новыми шедеврами словесности. Из последних перлов Косте особо пришёлся по душе «полусладкий ял» – стандартный набор из недорогого шампанского и конфет, которым Фил каждый раз открывал недолгие отношения с очередной дамой сердца. Фил и Пил, Философ и Пилигрим, они дружили с младших классов школы, и прозвища, данные ими друг другу, вполне выражали сущность каждого. Весь преподавательский состав философского факультета Университета должен был рыдать кровавыми слезами раскаяния, ползти на коленях до дома Фила и вымаливать у него прощение за то, что вот уже второй год крялу одному из величайших умов тысячелетия приходилось играть скромную роль абитуриента. Величие Фила не подлежало сомнению, чего стоила хотя бы его трактовка теории расширяющейся Вселенной. Ещё учась в восьмом классе, Костя узнал от лучшего друга, что весь их Универсум представлял собой гигантский сперматозоид, летящий сквозь безжизненное пространство, чтобы однажды, по прошествии эонов, оплодотворить некую вселенскую яйцеклетку. Тогда, по словам Фила, и начнётся то, ради чего это всё создавалось, пока же в их функции входило лететь вперёд и по возможности получать от жизни кайф, хоть как-то компенсируя завидность собственной участи. Для Фила кайф заключался в созерцании и увязывании увиденного в сложную концепцию. Последняя, закончив формироваться, тут же начинала нестись в массы. Обитавшие в массах девушки поначалу с энтузиазмом воспринимали информацию, видя в Филе безусловного гуру, однако завязывавшиеся романы, как правило, быстро обрывались по причине безалаберного отношения



к жизни автора концепций. «Не родилась ещё та, что сможет оценить масштабность моих идей», – после каждого расставания громогласно заявлял мыслитель. Родители Фила почему-то не спешили признавать гениальность сына. После второго провала на вступительных экзаменах Фил попал под жёсткий домашний прессинг. Карманных денег он практически не получал, домой должен был возвращаться не позднее восьми вечера, к тому же на хрупкие плечи адепта интеллектуального труда легло множество домашних обязанностей. Среди последних значилась и покупка продуктов для страдавшей артритом бабушки. В лексиконе Фила эта акция проходила как «корзиниться» и давала редко выпадавшую возможность побаловать себя насущным крепким на нечеловеческими усилиями сэкономленные средства. Пилигрим любил своего друга. Изредка сбрасывая маску, Фил становился тем, кем был, – маленьким человеком, не желавшим принимать сложности большого мира и отгородившимся от них доступным ему способом. В моменты искренности лицо Фила ещё больше вытягивалось, а ресницы начинали часто хлопать, как у обиженного ребёнка перед тем, как он расплачется. «Для меня никто не авторитет, – сказал он как-то, сидя у Кости на кухне. – Они все постоянно что-то говорят, бывает, что вроде даже разумные вещи, но я ничем из этого не могу воспользоваться. Потому что я им не верю, и потому что я сам для себя не авторитет. Все знают, как нужно жить и что делать, один я дурак, не знаю ничего, кроме того что мы летим и летим, и когда-нибудь произойдёт большой “бум” или “чвяк”, но этого мы с тобой, чувак, точно не увидим».

Узнавший цену времени под бременем родительского контроля Фил появился ровно через сорок минут после звонка. Водрузив на вешалку куртку, в которую мог бы поместиться ещё один средней комплекции человек, наглухо закрыв доступ к вещам Пилигрима, он прошествовал на кухню. Не говоря ни слова, мыслитель извлёк из объёмного пакета три стеклянных ёмкости, откупорил одну из них и стал разливать содержимое в заранее приготовленные Костей стаканы. Покончив с этим процессом, Фил поставил бутылку на стол, окинул удовлетворённым взглядом получившийся натюрморт, поднял свой стакан, отсалютовал Пилигриму и умирающим от жажды путником присосался к повышенной крепости насущному. В тишине кухни было слышно, как жидкость с изрядным содержанием спирта лилась по пищеводу. Фил поставил пустой стакан возле бутылки, рухнул на стул и сделал приглашающий жест. Костя незамедлительно последовал примеру друга.

– Чувак, нам нужно торопиться, – традиционно начал разматывать запутанный клубок своих мыслей Фил, вдохновляемый поднимавшимися к клеткам мозга парами спиритус вини. – Так мы ничего не успеем. Время-то идёт, не заметишь, как уже под себя ходить начнёшь, и останется только всем этим дышать и сожалеть о несбывшемся.

– Ну да, прямо как Джованни, – пробормотал Костя, тоже ощутивший действие бурды, которую по распоряжению мирового правительства продавали народу под названием «пиво».

– Не подскажешь, кто все эти люди, которых ты сейчас упомянул?

– Не бери в голову, один тип, я его даже никогда не видел.

– Бывает. Так вот, всё движется с колоссальной скоростью, и мы закономерно ничего не успеваем, и вместо того чтобы вырабатывать активную жизненную позицию, сидим здесь и лакаем эту дрянь, – Фил плеснул себе в стакан из на две трети опустевшей бутылки.

– Хорошо, – добил бутылку Костя, – но что конкретно нам нужно делать?

– Слушай, если бы я знал, меня бы тут не было. Но вот поверь, я, в конце концов, последний и, может, даже единственный пророк в истории. Когда мы всё-таки долетим туда, и произойдёт слияние, великое оплодотворение, родится новый космос, меня вспомнят и поймут, как я был прав. Хотя какое там вспомнят...

В подобном ключе они общались около получаса. Вторая бутылка подошла к концу. В какой-то момент Фил, пытавшийся ногтём отскрести пятнышко засохшей грязи от поверхности стола, пристально посмотрел на друга.

– Всё ещё страдаешь по ней?

– Да как тебе сказать, – Костя заёрзал на стуле, почувствовав перемену в тоне Фила.

– А смысла тут что-то говорить, и так всё ясно. Хорошо хоть зашевелился, а то такими темпами скоро бы понял, каково это в моей шкуре.

– Ты понимаешь, всё вроде понятно, мамка там корячится, зарабатывает бабки мне на контракт, а я тут на всё положил с прибором, газ и свет отрубить могут. Но у меня не получается о ней не думать.

– Не получается, потому что ты её себе нарисовал. Ты бы на неё даже не обратил внимания, если бы она сама к тебе не подошла. А сейчас ты решил, что будешь страдать, на лбу морщины появятся, она увидит, оценит и вернётся.



– Ты сначала со своими бабами разберись, а потом комментируй, – зазвенел стаканами разгорячённый Костя.

Подогреваемый накопившимися эмоциями и пивом Пилигрим долго говорил о том, как просыпался по ночам, как ворочался в постели, вспоминая проведённые с Верой дни.

– Ну и чем вы занимались, кроме того что в кино задницы грели и кровать у тебя мяли? – ревел тоже вошедший в раж Фил.

– Я с ней разговаривал.

– О чём?

– Рассказывал ей про город, фильмы обсуждали.

– Ты debil, вы даже по городу ни разу нормально не погуляли, как ты привык. Если это отношения, то я не философ, а торговец рыбой.

Ещё через час Фил остервенело сгрёб со стола мобильник, посмотрел на экран и изрёк: «Да пусть они все буквой «гэ» нагибаются. У меня тут в значке ещё на две по ноль-пять, скажу, что по дороге отбивался от волка-мутанта. Я туда и назад».

Косте оставалось только закрыть за другом дверь. Вернувшись из магазина, Фил тут же направился в комнату, включил компьютер и врубил трек, от которого их вставало уже с месяц. В песне речь шла о священнике-педофиле, но не обученные иностранным языкам трепетные девы точно решили бы, что там пелось о несчастной любви. Фил и Пил с удовольствием пореготали по этому поводу, затем сокрушались из-за отсутствия сигарет, потом ударились в воспоминания о славных школьных годах. Когда электронные часы на стене, мигнув, показали 14:05, Фил потряс пустую бутылку и мрачно констатировал: «В следующий раз жди не раньше, чем через два месяца. Теперь мне кислород вообще перекроют, из дома исключительно под конвоем». Пилигрим попытался вставить, что тоже должен был достаточно далеко ехать, но был прерван безапелляционным: «Ты до шести туда-обратно четыре раза обернёшься, а мне гайки». У вешалки Костя не без труда вытащил свою куртку из-под мантии Философа, поглотившей половину пространства прихожей. Грохоча ботинками по ступенькам, друзья скатились вниз.

На улице было холодно и серо, снег перестал идти, но ветер всё так же нёс по обледеневшему тротуару белёсую крупу и бил в лицо, оставляя на коже морозные ожоги. На перекрёстке Костя и Фил попрощались. Проклинающий судьбу сторбленный мыслитель потащил свою ношу к дому бабушки, а Пилигрим повернул направо и заскользил в сторону троллейбусной остановки. Альтернативы двурогим монстрам не имелось: несколько дней назад водители маршруток объявили забастовку, выбросив требование поднять плату за проезд. На родине немощного Джованни такое было в порядке вещей, Костиным же согражданам оставалось только дивиться тому, какими извилистыми путями просачивалась демократия в их медвежьё берлогу. Возле ступенек, ведущих в жерло «Винодельческой станции», некто в драной разбухшей куртке и сбитом на одно ухо наследии древних – шапке-ушанке – с методичностью робота подносил к губам руку с сигаретой, извергая в воздух густые клубы дыма. Пилигрим узнал Михея, постоянного клиента заведения, одного из тех, кого отзывчивый странник время от времени снабжал мелкими деньгами. Михей также идентифицировал в фигуре с рюкзаком своего благодетеля. Труженик печенью отшвырнул тлеющий окурок и заорал на всю улицу:

– Костяныч, шлёпай сюда, как родному тебе кричу!

Интеллигентное воспитание не позволяло Косте проигнорировать приглашение, и он, в душе чествуя себя за неумение посылать людей по известному адресу, разъезжающимися на льду ногами покатился на зов. Михей поймал его за воротник куртки, придал телу устойчивое положение и, дыша в лицо убийственным перегаром, озвучил:

– У Людки день рождения сегодня. Я, слышишь, две недели откладывал, всё Ромке сносил, чтоб не пробухать. Все наши там, музон, как ты любишь. Пошли, короче, вмажем за здоровье именинницы.

Собрав все внутренние ресурсы, Костя пытался брыкаться, но Михей, несмотря на давнюю дружбу с напитками нижайших сортов, обладал крепкими мускулами, нажитыми благодаря физическому труду на свежем воздухе, позволявшему зарабатывать на всё те же напитки. Парочка спустилась по ступенькам и очутилась под сводами храма почитателей Бахуса. Внутри всё было именно так, как и должно. Музыкальный автомат, непонятно каким образом оказавшийся в этой обители, верещал, плюясь милыми уху любителей тюремной романтики звуками. За четырьмя сдвинутыми столами, уставленными самого причудливого вида ёмкостями, расположилась компания, чествовавшая именинницу Людку – возлюбленную Михея и верную соратницу по битвам с алкогольными запасами страны. Михей подтащил Костю к стойке, за которой царил Рома, бог и царь, гроза завсегдатаев «Станции», сто десять килограмм костей и мяса. Скорый



на расправу с нарушителями установленных в заведении правил, он, тем не менее, пользовался уважением масс за прямоту и честность. Весьма распространённой, в частности, являлась практика передачи Роме на хранение денежных сумм, которые владельцы справедливо опасались пропить до наступления нужного момента. Михай торжествующе потряс Костей пред грозным ликом повелителя канистр и бутылей.

– Роман Васильич, у нас пополнение. Оформи Костянычу креплячка, ему массу набирать нужно, а то ветром снесёт.

Рома смерил съёжившегося Пилигрима мрачным взглядом, взял стакан, мгновенно утонувший в его ладони, и, не глядя, нацедил в него из-под крана жидкость красного цвета. Костя хотел сказать, что предпочёл бы пиво, но Михай так яростно ткнул ему стакан в лицо, что возражения почили в бозе, так и не успев оформиться. Крепляк, вкусовые качества которого Костя не смог бы описать и под страхом смерти, понёсся в нужном направлении, и подвальные стены закачались перед глазами будущего отечественной журналистики.

– Молодой человек, я настоятельно рекомендовал бы вам закусьвать.

Костя не без труда повернул голову. Круглолицый мужчина в очках с перемотанной изолентой дужкой протягивал ему блюдце. На блюдце красовался сомнительного вида бутерброд, кусок чёрного хлеба с ломтём сала. Трясущейся рукой Пилигрим поднёс сооружение ко рту и откусил половину. Стены понемногу возвращались на места.

– Закуска, вопреки распространённому мнению, не менее важна для увеселения сердца, чем вино. Тем более вы, как я вижу, не слишком опытни в деле возлияний.

– Это же Костяныч, охренеть какой тип! – взревел где-то над ухом Михай.

– Костя, – Пилигрим протянул собеседнику относительно окрепшую руку.

– Эдуард. А пропо, Константин, а известно ли вам значение вашего имени?

– Постоянный, если я не ошибаюсь.

– А также «твёрдый», – закивал головой человек в очках. – Знаете, приятно встретить интеллигентного человека в этих палестинах. Кстати, один замечательный писатель, вы, вероятно, не знакомы с его творчеством, он умер до вашего рождения, так вот, в своей повести он развивал интересную теорию имён. По этой теории Костя – это что-то вроде собачьей будки, в ней даже не выпрямишься в полный рост. Зато Константин, ооо, став Константином, вы переезжаете в большую круглую башню, похожую на маяк. Простите, если невзначай вас обидел, но...

– Эдя, харэ тебе по ушам пацану ездить, – снова включился Михай. – Костяныч, пошли Людку поздравлять. Скажешь ей что-нибудь, ты ж умеешь. – Михай подтолкнул Пилигрима к составному столу, из-за которого уже поднималась Людка, кокетливо улыбаясь сверх всякой меры накрапленным по случаю празднества ртом.

Последовавшие события не слишком хорошо отпечатались в Костиной памяти. Он помнил, что поздравлял именинницу, отвечал на вопросы, даже вёл с Эдуардом проникновенную беседу о чём-то возвышенном, однако все детали терялись в красном мареве. Лишь увидев на экране мобильного цифры 15 и 48, Пилигрим нашёл в себе силы вырваться из засасывавшей его трясины, благо Михай к тому времени был уже не в состоянии продемонстрировать свою хватку. Провожаемый напутствиями Людкиной свиты, Костя кое-как выбрался на улицу. Он немного постоял у входа, опираясь на перила, глотая ледяной воздух, а потом нетвёрдыми шагами двинулся к остановке. Под навесом переминались с ноги на ногу озябшие кандидаты в пассажиры.

– Не подскажите, давно не было троллейбуса? – тщательно подбирая слова, адресовал Костя кругленькой старушке, не достававшей ему до груди.

– Минут двадцать уже стоим, – прокурлыккала она, подозрительно глядя на Пилигрима и потягивая носом воздух. Костя отошёл в сторону и вытащил из кармана телефон. На часах было 16.02. Троллейбус появился, когда паломник уже мысленно готовил себя к жизни без газа, электричества и воды, вспоминая всё, что читал о быте пещерных людей. Жуткого серого цвета гроб на колёсах нехотя затормозил, и измученный Пилигрим устремился в его недра вместе с потоком сограждан.

Все сидячие места в салоне были заняты с ног до головы закутанными мужчинами и женщинами. Они напряжённо всматривались в проплывавший за покрытыми изморозью окнами пейзаж, представляя, как вскоре будут вылезать из относительно тёплого троллейбусного нутра, попадая прямиком в лапы зимы. Несколько человек тряслись в проходе, вцепившись в вибрирующие поручни. Костя потоптался у закрывшихся за ним дверей и проследовал на свою любимую позицию в самом хвосте. Замотанная в шерстяной платок женщина-кондуктор приблизилась к нему, знакомо потянула носом и потребовала



оплатить проезд. Пилигрим протянул ей последние деньги. Кондуктор, изобразив на лице нечто вроде «Что за молодёжь пошла», удалилась, не посчитав необходимым выдать пассажиру билет. Костя подумал о том, какое амбре должен был источать стараниями Михея, и повернулся к окну. Глядя на серо-белый город, на улицы, по которым он ходил сотни и сотни раз, Пилигрим вспоминал Веру. В памяти всплыли слова Фила о морщинах, и он улыбнулся, грустно и устало, как странник на неизвестно куда ведущем пути. Внезапно троллейбус резко затормозил, хорошенько тряхнув народом в салоне. Народ дружно ответил восклицаниями, изрядно сдобренными ненормативной лексикой. Грубо оторванный от созерцания своей внутренней бездны Костя осоловело хлопал глазами. Заскрипела дверь кабины, и массам явился водитель. С видимой неохотой он покинул салон, обогнул троллейбус и стал совершать некие, ничего не говорящие дилетанту манипуляции в районе троллейбусного зада. Пассажиры предсказуемо зашумели, выдвигая предположения по поводу произошедшего. На ум Косте вновь пришли пещерные жители, в кромешной ночи сгрудившиеся у костра. Прошло около пяти минут. Наконец, водитель оторвался от железного зада, обогнул троллейбус и, хлопая ладонями по бокам, ввалился внутрь.

– Всё, расходимся. По такому льду дальше не поедет, без вариантов. Можете ждать следующий, но вряд ли, весь город стоит.

Массы заудели. Не дожидаясь, пока народный гнев выплеснется на просторы многострадальной родины, Пилигрим сжал ляжки рюкзака и рванулся прочь. Он бежал по обочине дороги, где не было льда, увязая в снегу, чувствуя, как выстуживал всё внутри попадавший в лёгкие воздух, бежал так, словно это был последний марафон в его жизни. На бегу он умудрился выудить из кармана мобильник. До закрытия отделения оставалось сорок пять минут, и Костя ускорился, уповая на то, что банковские труженики не закончат работу раньше в честь приближающихся выходных и погодных условий. В глаза Пилигриму бросилась женская фигура впереди. Фигура вдруг изогнулась, махнула руками и повалилась на лёд. Содержимое сумки радостно раскатилось во все стороны. Ни о чём не думая, Костя затормозил и подкатился к упавшей. Та уцепилась за протянутую руку и, скребя подошвами по льду, тяжело поднялась на ноги.

– Спасибо огромное, так скользко, думала, убьюсь, – на Костю смотрела симпатичная светловолосая девушка его лет.

– Вы аккуратнее ходите... Давайте я вам помогу собрать, – Пилигрим стал сгребать какие-то пузырьки и флаконы, ссыпая их в сумку.

– Спасибо ещё раз, транспорт не ходит, приходится пешком добираться.

– Я бы вас проводил, но, видите, бегу. Вопрос жизни и смерти. Не падайте больше.

Провожаемый взглядом девушки, Пилигрим сорвался с места. До банка оставалось совсем немного, и он сокращал расстояние с мыслями о светловолосой незнакомке. Борясь с сугробами, Костя осознавал правоту Фила. Ещё никогда за последний месяц он не был так далёк от Веры. Вдали показалась зелёная вывеска банка. Пилигрим удвоил усилия, болидом рассёк оставшиеся метры и влетел в теплоту помещения.

Единственная женщина в зале, стоявшая у окошка кассы, повернула голову на стук входной двери, мазнула взглядом по Косте и вернулась к диалогу с кассиром. Табло больших часов над дверью показывало 17:34. Костя выпустил из лёгких воздух, отдавая должное добросовестности местных клерков, и направился к свободной кассе.

– Мне нужно получить денежный перевод из-за границы.

– Да, конечно, – улыбнулась ему кассир по ту сторону прозрачного барьера. – Вы вовремя, мы уже собирались закрываться. Давайте документы.

Костя растегнул молнию на куртке, снял перчатку, полез рукой к подкладке и не обнаружил там ничего. Пальцы елозили по гладкой поверхности, не находя ни паспорт, ни карман. Пилигрим распахнул куртку, посмотрел направо, налево и изо всех сил ударил себя кулаками по бёдрам.

– Что-то не так?

– Понимаете, я, кажется, оставил дома паспорт, – забормотал Костя в безумной надежде найти выход из ситуации. – Может, можно как-то без документов? Я регулярно получаю у вас деньги, это от мамы.

– Простите, – сделала сочувствующее лицо кассир, – без паспорта я ничего не могу вам выдать. Завтра и послезавтра выходные, так что приходите в понедельник. Не переживайте, с вашими деньгами ничего не случится, – снова улыбнулась она.

Не находя в себе сил даже кивнуть, Костя отошёл от кассы и бессильно опустился на стул возле терминала, позволявшего оплачивать коммунальные услуги. Он прижался к напичканному электроникой боку, посылая проклятия зиме, пиву и Филу с его разговорами, из-за которых он машинально снял с вешалки не ту куртку. Терминал еле слышно гудел, внутри него шла невидимая, таинственная для непосвящён-



ных жизнь. Через двадцать минут банк должен был закрываться. Костя знал, что не сможет добраться домой. Маршрутки бастовали, троллейбусы стояли, к тому же у него всё равно не оставалось ни денег на транспорт, ни сил, чтобы идти пешком. Пилигрим ещё немного посидел у ставшего почти родным бока, а потом медленно поднялся. Сейчас он пойдёт к Вере. Он не знал, дома ли она, не знал, что скажет, если у него хватит духу позвонить в дверь, предложит ли она ему деньги на такси, и сможет ли он их принять. Может случиться так, что ему придётся провести ночь в закутке над её квартирой, у входа на чердак. Этот закуток Костя заметил в первый же раз, когда провожал Веру домой. Он будет сидеть там, сжимаясь под курткой, проваливаясь в дрему, вырываемый из полусна хлопаньем дверей и звуками голосов. А с рассветом он отправится в обратный путь, с одной лишь надеждой, что судьба даст ему отсрочку до понедельника, усталый пилигрим, возвращающийся из паломничества домой.

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

ГЛАЗА ЗАНИМАЮЩИЙ БОГ

Кто зрителя собрал в конструктор кинозала
и выплеснул его, как лодку и химеру,
которая ключом лежит внутри причала,
а остальное ты не принимай на веру –

ведь пропись лопастей точней чистописанья,
и ты идёшь по ней, вверяя темноту
звезде, в которой дно качнёт первоначала
не дерево ещё, но шелест, в высоту
разжатый, как пружина, что смерть в руке скрывает,
когда её, как время, здесь наизусть соврут.

Или улыбка птиц многоязычней этих,
щебечущих, по свету слетающих щеглов,
листвы, что в них парит, как медная монетка,
умножившись сквозь ксерокс ответных голосов.

Ночью вышло море –
в остатке его будет ангел,
перевёртыш осадков размокших,
считавших аргю

нашей местности,
множимой светом, на света овале,
там, где небо звенит,
оказавшись само себе дном.

И отрез полови ночи вернулся –
развёрнут из раковин слуха,
где отрезок из снега
всё занял от а и до б

а внутри его – ниша зияет
повсюду как будто
из побега от моря
остался ей вынутый бег.



Изымая из ветра пустоты,
как им же пропавшего сына,
кто стоит внутри моря? –
а) носит его на руках

б) его говорит,
оставляя всегда половину
в) сходя словно этот,
утерянный в нём, снегопад,

где тронится, как зреньё,
в земле перезревшая глина
или яблоко у снегиря,
заржавело на белых висках,

у того, кто исчислил
из шумного моря пустыню
и оставил нам шум,
а за шумом – невидимый град.

Вот и сын возвращается
в света на свете прореху –
то подымет от моря дымы,
а то всё назовёт

или воды пожнёт –
хотя моря, пожалуй что нету
а что есть – то окно,
и глаза занимающий Бог.

Пока ты жив ещё, а не здоров –
не щёлкнул над тобою полароид
бессмертья ангела [сомнительно] уста
и это всё тебя не беспокоит,

и трение из снов и скоростных
составов, прибывающих на сонный
вокзал, закрытый между век твоих,
не весит выдоха, которого не стоит.

И над тобой склонился тёмный свет,
и выдирает зрение из пасти,
к которому возможно ты привык –
как будто к смертности своей или напасти

любой другой, которая двоит
и повторяет место, то, что рядом
идёт с тобой, чтоб знал куда идти,
хотя идти ещё совсем не надо,



где наблюдатель покидает кадр
свой, вынутый из сна, из фотоснимков,
что зрением выкачивают нас
из времени, лишая его смысла.

Когда не жив, и зрения послед
сдираю в кожуру иного снега –
кто мне щебечет, что я оживу,
что верно – потому что неуместно?

у слова всякого есть прибор
[скажешь ли, что человек?]

с другой стороны другой стоит
[вытачивая в дым снег]

и если ты забежишь вперёд
[на несколько белых страниц]

растянется слово, как снегопад,
уловленный в силки птиц]

и слово двойное среди ДНК
скрученное, как бельё –

висит на весомой, как дым, пустоте
и слушает весь пролёт

внизу ожидает его прибор,
вверху обжигает прибор

и кто на руке снегопад несёт
внутри у него живёт

Подходишь к дому и сидишь, в ветвях
его умножась эхом каждой вещи.
– Ты есть ещё – тебе так говорят
они, расслышав голос человеческий.

Их диалог прозрачен, будто смерть,
чей свет в окне, намедни совершился,
и ты горишь у выхода внутри,
безмолствуя. И радость эта птичья.

Везде гнездо, родильня и роса,
которой ты, как берег, опечатан,
чтоб воздуха округлая коса
тебя роняла в небо, а не на пол.



О, счастье свистеть у дома, у –
не продлевая голоса пещеру –
дороги длинного печённого ау,
прияв своё бессмертие на веру.

Простор, глядящийся в простор –
так люди смотрят в Бога
оставшееся место, чья
окружность есть дорога –

по ярусам собирая свет,
струится по ним небо,
глядит простор себе вослед
из каждой своей вербы.

Все версии ему смешны,
а верен скрип телеги,
которым он вращёт в простор –
и даже не поверит

в существование своё,
спеша в кувшин пролиться,
как в человека одного и всякого,
где длиться

не устают и свет, и хлеб,
что собирают всходы
из пахарей, галдящих вверх,
во все свои свободы,

которые – его, как скрип
и снег чистописанья,
что пашни черновик хранит
в спирали опознания.

Простор глядит себе в лицо,
его рукой касаясь,
как колесо своих дорог,
от неба отрываясь

И едет, как телега, из
зимы конюшни – или
повозчик он или следы,
которые всё шире?

И собирается простор
до точки и щепоти
в руке у пахаря, и длят
они его, как щели.



БЕГ

Здесь однажды деревья собрались
и мимо пошли –
ворковали в их дырах и пулях
большие шмели,

расплетали дорогу на ниточки –
каждый свою
рисовал над землёю отрытой
живую петлю.

Под корнями тропа колыхалась,
как стадо оживших шмелей,
а замёрзшие пятки деревьев
синей и синей,

как пропеллеры дыма,
строгали из ладушек бег
над ногою земли,
удлинённой в невидимый снег.

МЁБИУС

Лицо, горящее в снегу –
стоишь или лежишь
одним лицом сквозь снега хруст,
которым ты молчишь.

Не говори, не говори –
всё ангелы на тьме
тебя воруют в голубках
на ржавом полотне,

или состав гремит и дым,
висящий топором,
торопится тебя слепить
и ослепить потом,

а ты горишь внутри всего
и чёрный снегопад
стучит калиткой за окном
и катит звука шар.

И ты внутри его стоишь,
оставив лишь лицо
и лепишь птиц следы в снежки,
коль выйдешь на крыльцо.

и катится за снегом шар
в котором лошадь, жар
и хруст, который языком,
ты в Мёбуса сжал.



Свет – вязанный в узел п(л)отный –
ложится в лицо земле,
слушая, как телефона зуммер,
иной стороны прибой –

и по колено в нём,
с засвеченной головой,
каждая косточка неба
летит за другой звездой.

Разомнёшь на ладони, как буквы,
глины колокола –
узел прямой упругой
тени его ствола –

древо растёт из звука
и катится над рекой –
перемолчать сумеешь,
Боже, меня собой.

ИГОРЬ КАСЬЯНЕНКО

МУЗЫКА, ФОРМУЛА, НЕРВ

БЕЛАЯ БАЛЛАДА

Когда на часах было времени море,
и стрелки над нами парили, как чайки,
мы видели радуги в брызгах волшебных,
как в мае цветущих и певчих мгновений.

Но вот незаметно из времени года
мы вышли в туманную пору разлуки,
где Вы объявили, что прежние клятвы
смешны и отныне цены не имеют.

Увы, Вы со временем стали другая...
Влекомая им, Вы помчались по кругу
минутных побед и разочарований,
бесцветных и пресных, как призраки буден.

А я бы... поверьте, я ждал бы Вас вечно
на острове нашей загадочной ссоры,
но распорядитель движения стрелок
сказал, что ко мне Вы уже не вернётесь.

И видя, как пара мгновений печальных
из глаз покатилась моих, улыбнулся:
Зато для неё ты и в завтрашнем прошлом
останешься лучшим из воспоминаний.

Но ходики ваши навек разойдутся
во времени неуловимом, где сразу,
транзитом за будущим следует – слышишь? –
не сбывшееся, а минувшее, ибо

из множества мимотекущих, неважных,
чужих и бессмысленных лет и мгновений
мы только однажды живём в настоящем –
прекрасном, единственном, истинно нашем.

И это прекрасное с вами случилось
уже. И теперь неизбежно и присно
вы оба больны им, как звёздами небо.
И это диагноз. А дальше – postscriptum.



У доктора жизни в аптечке событий
имеются снадобья разного толка:
от раны живой, от надежды и боли,
но время прекрасное – неизлечимо.

ЧЁРНАЯ БАЛЛАДА

Ну что же ты, княже, давай, веселись!
На перстне верти хоровод василис.
А дабы развлечь
мороку тоску – скомороха зови.
Но если дурак заведёт о любви,
то голову с плеч.

Твоя королева – за чёрной горой.
И даже не третий, не то, что второй
на ложе, где сметь
ты мог и поболе, чем жаждет мечта,
заходит в её золотые уста
и пьёт свою смерть.

Потом их находят у дальней версты –
глаза их безумны, а чресла пусты.
А ты веселись!
Она убивает их – ясно же, князь,
во имя твоё – это странная связь,
в ней пропасть и высь.

Два света небесных сплелись в облаках,
две тени земные с мечами в руках
воюют внизу.
Ты вправе куражиться, пить, выть и рать
муштрой изводнть, но спешить вытирать
не стоит слезу.

Ты можешь другими по сто раз лечить
себя от неё, но их не различить –
всё бред, а не брод.
И если вина ли, вино, иль весна
к тебе приведут её, даже она
уже не спасёт.

НА КРАЮ

Выходишь из круга под флагом мечты,
ломаешь каноны, форматы и рамки,
влюбляешься, строишь причалы, мосты,
воздушные замки...

Штурмуешь любой подвернувшийся пик,
торопишься, пугаешь карты и планы,
срываешься и отползаешь в тупик,
заллизывать раны.



Читаешь о жизни банкиров, бродяг,
персеев, горгон побеждающих в матче,
и снова выходишь из круга, но флаг
уже не на матче.

По белой и чёрной спешешь полосе,
в безликий вливаешься ропот и топот
и вдруг понимаешь – тут каждый как все.
Так выглядит опыт.

И снова идёшь – потому что земной
не кончился путь – в никуда, ниоткуда,
без компаса, смысла и цели, с одной
надеждой на чудо.

Теряешь любимых, друзей, колею,
в толпе человечьей бредёшь одичало,
доходишь до края, стоишь на краю
и видишь начало.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Кому-то недруг по сюжету,
другим – любимый, третьим – друг,
я всё ещё хожу по свету,
смотрю вокруг.

Вот новых дней аборигены,
браня обычаи отцов,
спешат устроить перемены,
в конце концов.

И растворяются в грядущем,
где ими скроенный уклад,
в угоду позади идущим,
отправят в ад.

Всё тлен: победы, поражения,
туманных истин кружева...
И лишь игра воображенья
всегда жива.

Об этом думаю я кротко,
стреноженный смиряя взор,
когда из грёз моих красotka
плетёт узор.

Но пусть распутают герои
нной истории его –
в нём руны трав, руины Трои
и... ничего.



Душа Земли – многоязычьем,
как пашня полнится зерном.
Но гении поют на птичьем,
не на земном.

Ах, был бы я из легкокрылых,
как Пушкин или Амадей,
я б тайны певчие открыл их
для всех людей.

Я вижу радугу, за тучей
и пепел в отблесках огня,
но где же тот счастливый случай,
что ждёт меня?

Вокруг чужих событий сонмы
и мнений патовые льды,
а я уже, как невесомый
прозрачный дым,

плыву, минуя поединок
добра и зла, удач и драм,
кафе, арену, банк и рынок,
темницу, храм.

Миную парк и кромку пляжа,
начало дали, окоём
и, частью становясь пейзажа,
теряюсь в нём.

МИССИЯ НАСТОЯЩЕГО

О чём это время, о чём? Кто гордней хронос мечом,
разрубит, как Индию чёлн разметчика мира.
Кто первым в открытую дверь войдёт – человек или зверь?
А вдруг это ты? А проверь у magical mirror.

Кто светочем выйдет из тьмы и сложит, и вложит в умы
легенды, законы, псалмы племён баш-на-баша?
История – вечный рерайт, к сафари готовится прайд,
а в топке из множества правд всё варится каша.

И всякий тут прав и не прав. И каждый, чужое поправ,
на вкус добавляет приправ – и травы, и корни...
Но где кулинар-паладин, кто, с горним рецептом един,
объявит: Готово! Едим! – и всех нас накормит.

А если, представь, например, ты – музыка, формула, нерв,
тот Нео, Сиддхартха, Гомер, чьи грянули строки,
чья истина, сила, строка народы, идеи, века
в одно соберёт, как река ручьи и притоки.



А если иной поворот и ты не избранник, а тот,
кто спица, деталь, эпизод, крупица процесса.
О чём это время тогда? Удача твоя и беда...
И рыбка с трудом из пруда, и свежая пресса...

Слова – будто склоны холма, но мысли вершина нема.
К ней путь не открыли тома, и тропок в речах нет.
А время, оно вообще – внутри всех людей и вещей
дрожит как над золотом Кошей и чахнет, и чахнет...

АГИТАТОРЫ

Жизнь висит на волоске крошки Циннобера.
Открываю дверь, а там – три богатыря.
С торбой Правда, с кейсом Ложь, а с котомкой Вера.
Агитаторы пришли, грубо говоря.

Приглашаю в дом, на стол ставлю снедь и чарки.
– Что в программе, мужики? – мир или дебош?
Первым слово Правда взял и достал подарки:
посох, ветку тёрна, соль, йод и медный грош.

Вторить Правде взялся Ложь – витязь рыжей масти –
нос как флюгер, а глаза – будто пара гнёзд.
Он дары свои раскрыл, как расставил снасти:
маску, ветку лавра, мёда, яд и лисий хвост.

Ну а Вера в свой черёд лишь развёл руками,
Взор горе поднял, вздохнул и сказал: Смотри!
И в ответ – как засиял драгоценный камень –
с неба в дом пролился свет неземной зари.

Время делать выбор, но я не вижу смысла
выбирать – на каждый плюс равный минус есть.
С Правдой сложно – часто бьют, с хитрым Ложью кисло.
С Верой славно, но, увы, где тот рай – бог весть.

Гости выжили, ушли, я остыл отчасти,
с полки Гофмана достал для иной игры.
Вдруг стучат – гляжу в глазок, а за дверью: Здравсьте! –
Тридцать три богатыря и у всех дары.

ПОЛЕМИЗИРУЯ С ДЕКАРТОМ

Пересвистываться с птицами в лесу.
Отзываться на игру теней и света.
Ощущать себя участником сюжета,
в круг собравшего и звёзды, и росу.
И катиться, подражая колесу,
до ближайшего житейского кювета.



А потом лежать под звёздами в росе
и распутывать беду, как паутину.
И, в конце концов, найти её причину
в том, что жил вчера неправильно, как все,
в компромиссе, на нейтральной полосе,
в полуправде и во лжи наполовину.

И опять вернуться к жизни, будто лес
по весне, но помнить прошлое как пальцы
музыканта помнят ноты и скитальцы
запах родины. И, глядя в высь небес,
примиряться с тем, что мысль имеет вес
только здесь, внизу, где мы – лишь постояльцы.

И в итоге проломить, как тьму лучом,
смертью грань добра и зла, и междуречьем
двинуть в край, где мир земной зовут увечьем.
И там быть – нет, не щитом и не мечом –
просто быть, существовать и ни о чём
никогда уже не думать человечьем.

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

В ЧУЖОЙ СИСТЕМЕ КРОВЕНОСНОЙ

Вечной странницей в вечном ж/д ожидаю, когда
подадут мой плацкарт, трепыхая его сочлененья,
и я лягу на полку и буду не спать – города
и деревни за окнами скачут, во тьме коченя.
Сквозь рассыпчатый храп и чух-чух буду я различать
одинокую музыку. В панике пыли хлопчатой
проводница-луна словно светодиод Ильича
в хари раме живёт отпечатком, печатью молчанья.
Горловое бессонное месиво длится, живёт,
переходит в рассвет и, когда остаётся немного,
перед смертью как будто бы, я засыпаю и вот
жадно сплю, но во сне продолжаю смотреть на дорогу.

у августа в оранжевом живом
трепещущем свечении сквозь эхо
скользящих дней рассудок кружевной
и память из рассыпчатого меха
встаешь в него под утро наугад
бредёшь босая в обморок озёрный
где облако клубится как агат
и жемчуга выплёвывает зёрна
плывёшь во тьме кувшинки разводя
и всхлипывая сном воды на ошупь
идёшь ко дну и вечность погоды
выходишь на поверхность как на площадь
лежишь лицом к прозрачной простыне
небес и всё светлеешь и светлеешь
но чувствуешь что ночь ещё в спине
и если обернёшься то успеешь

Смутно и муторно видно фонарь и то,
как семенит на свету водянистый холод,
если листать твою руку, последний том,
класть на колени голову, уши, хобот,



можно понять другое – что нету дна
в тёмном колодце нежности и паденья,
это как смерть – уходишь в неё одна,
без телефона, без паспорта и без денег.
Можно не слушать и даже не отвечать,
можешь молчать, отвернувшись и притворившись.
Губы заходят справа в печаль плеча,
ловят меня за рифмы, сбивают с ритма.
Это как сон, из которого снова сон,
высунув хобот, качает меня и будит.
Дай поцелую за шею, шепну в висок,
плюну, прижму, пошлю... кто же так целует –
нет никого, только местные пустыри
анестезию пытаются сделать общей.
Нежность, как смерть. Обе зрелют уже внутри.
Первая ближе. Вторая немного проще.

Были у Соломона: мудрость, перстень и подоконник,
на который падал луч из окна перед смертью
и можно было прочесть, что ничего не пройдёт, и спокойно
он смотрел в холодильник тьмы и на подлокотник
опирался рукою, пустой несметно.
Были у Соломона: музыка, юные девы – те, что
грели его телами, но это в прошлом.
Было тепло, душновато, немного тесно,
весело или грустно, но, если честно,
так, ничего хорошего.
Были у Соломона другие. Не помогая
вспомнить их имена, он смотрел прозрачно
в небо и там смеялась ему другая,
первая, нулевая, до всех, ага, я
знала её, почему она, знала, плачет.
Были у Соломона: мудрость, перстень и подоконник,
тьмы холодильник, юные девы, другие,
вечный фейсбук в телефоне и подлокотник
кресла, неба квадрат, текущего вдаль рекою
сквозь телефон могильный.
Не было у него ни мудрости, ни кольца, ни
надписи на кольце, ни всех этих женщин,
ни ожидания смерти своей, ни царства,
ни сладкогласого юноши, ни отца его,
ни дня рождения.

подошвами предчувствую траву
она весна и в то же время осень
зимартовские иды так зовут
апрель в чужой системе кровеносной



рассеянные лёгкие мальки
 плывут промеж домов и колоколен
 ложатся в рот и в горсточку руки
 стекают по щеке и беспокойно
 возносятся пылающей змеёй
 в холодный небосвод копировальный
 и больше ничего не настает
 и ничего уже почти нормально

Марине Гарбер

По голой ветке гладит дерево
 стремительно и тянет в облако,
 закрой глаза, тут много серого,
 закатного, так пахнет обморок.
 Кругами зябкими простуженно
 шагает – длинный и невидимый,
 теряю женственность и мужество,
 сморкаюсь, пробую обидеться,
 смеюсь. Над озером склоняются
 несуществующие ветрено
 и отражаются из жалости,
 перебирают дробно ветками,
 живые, маленькие, сонные
 молчат мне в воду незначительно,
 на ручки просятся и, собственно,
 усыновляются. Молчи теперь
 об этом озере с сиротами,
 раздетыми и монолитными,
 о тех тропинках с поворотами
 на юг под выцветшими липами,
 под выпившими и поющими,
 качающимися и стаей
 летящими, поправ имущество,
 листвы недвижимость оставив.

С той стороны зеркала пыльный паук,
 мальчик разочарован разгадкой тайны.
 Папа у мальчика был кандидат наук,
 мама теперь рассеяна и печальна.
 Зеркало было завешено пару дней,
 тётя Полина ему подарила Киндер
 с Халком зелёной птицы на самом дне,
 мальчик его куда-то уже закинул.
 Папа к нему приходит и говорит
 медленнее и чётче, чем было раньше:
 как ни живи ты долго, да хоть умри,
 ты всё равно не знаешь, что будет дальше.



вот так задерживают лето
руками в ветер упершись
оно смеётся и стареет
вот так и жизнь

нельзя печалиться – преступно
не полететь от на мосту
летающей музыки растущей
сквозь гул и стук

пагаешь в бездну и внезапно
идёшь по воздуху легко
в преобразившееся завтра
в трико

Зоркость света, падающего по воде
вдаль, афалина солнечного струенья
улыбается, вчитываясь в строенье
атома. Тут заканчивается день,

не успев обернуться на резкий окрик
самого себя, пробегая в дверь
повторенья (так принято в той игре,
из которой каждый выходит мокрым).

Плеск удваивается, что-то шепчет в рот
спящей набережной просторечно рыба,
умирая, но кажется, что – спасибо,
не в смысле просьбы, а – наоборот.

Бог берет её в руки, подкидывает вверх,
чешуя, поблескивая, осыпается на песчаный
берег, медленно кружится над причалом,
чтобы было похоже на сон, да – морпех

бродит по морю, когда не спится,
поднимает рыбу, превращает в птицу.

Мой папа был стекольщик, и теперь
я всем видна насквозь, совсем прозрачна.
Тем, кто за мной, легко меня терпеть,
когда не пачкать.
Непрочную, на раз меня разбить –
вот я была, а вот меня не стало.
(Она была? Да нет, не может быть,
осколков мало.)



Но я ещё, пусть незаметно, есть.
Ненужная, под солнечным прицелом
ещё свечусь. Особенно вот здесь –
по центру.

За это время я успела
родить детей,
привыкнуть к своему лицу,
понять, что душераздирающая жалость –
единственная верная любовь,
узреть, что я беспомощна,
что Бог нас не оставит,
но и не поможет
взойти на этот холм, откуда свет
всё сделает понятным и прощенным.
Не много,
но надежда остаётся,
и радость происходит
и дышать,
и всякое дыханье...

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ

МЕТАФИЗИКА ЮНОСТИ

я знал когда-то бессловесный язык бующих стихий,
бежал по радуге небесной и цвёл жасмином у реки.
я был погашено звездою в плену космических ветров
и бесконечной чередой перерождавшихся миров;
я знал, о чём тоскует море, когда туманной пеленой
ненастье кутает просторы, и стонет ветер над волной,
ходил с Хайймом по долинам, цедил мускатное вино
и нараспев читал былины, людьми забытые давно.
а жизнь моя, как сновиденье, преображалась каждый миг,
не зная летоисчисления, границ, запретов и вериг.
я находил везде посланья миров в непознанной дали
и мог, рукой коснувшись камня, узнать историю Земли,
пробиться сквозь земные толщи, как родниковая вода...
но сон закончился – я больше его не видел никогда.

ЧАСТИЦА СОСТРАДАНИЯ

Прощай, мой друг!
Холодным, синим утром
растают корабли и поезда...
Всё в этом мире выдумано мудро,
и на разлуку нам не опоздать.
На Землю август бросит звёздный бисер,
Мы друг от друга ждать не будем писем –
Их выкрадут чужие города,
другая совесть, новая беда,
домов и мыслей будничные выси.

Но во сто крат большее провожать
в покой необратимой высоты
любимых,
что уже не станем ждать,
с годами забывая их черты.

А мир, как фильм
на старой киноплёнке,
чадающим, серым летом опалён.



Я снова в кадре, на рыбацкой лодке,
и море исчезающих времён
мне смотрит в сердце, как печальный предок,
пророчащий утраты и победы,
укрывший от тоски песчаных лет
истории коралловый скелет.

И всюду драма млечных бликов Леды:
рождение и смерть подводных лун,
печали междустрочий,
между струн
уснувшие аккорды,
сон во сне,
где древней ночью предок в тишине,
бросая искры, выпустил из камня
горячую частицу сострадания.

ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ

Всё это повторялось не однажды:
Тоской зияли прошлого следы,
И дольше века длились годы жажды
Усталым светом гаснущей звезды.
Оглянешься – вот, старые предметы
И стены, пережившие века;
Такие же холодные рассветы,
Такие же густые облака.

Покажется, что не бывало вовсе
Того, с кем хлеб и ложе ты делила
Ещё вчера. Но вот, настала осень –
Заклятый друг, твоей судьбы зонл.
Стал незаметен бег десятилетий,
Горчит сиротством осени вино,
Гербарием иссушенных соцветий
И жёлтой плёнкой старого кино.

Всё это жизнь так часто повторяла:
Взглянул и не узнал своё лицо,
Укутался холодным одеялом,
Дрожа, поднялся, вышел на крыльцо
И ночью в даль тяжёлого тумана
Ушёл из дома, позабыв ключи,
Начать страницы нового романа,
Как будто кто-то ждал тебя в ночи.

Проснулось время в сладостной истоме.
Теплы объятья и легки года.
За крутом круг. Пустее, незнакомей
Лишь взгляд в зеркале тихого пруда.
Крадётся старость шёпотом, наветом.
И только неба вечная река
В глазах горит непрошенным рассветом,
Упрятым в седые облака.



Ты от добра уже добра не ищешь,
 Ценить научен каждый взгляд и жест.
 Того, кто создал день и подал пищу,
 Не ждёшь ты ни в столице, ни окрест.
 Над головой искусственное солнце,
 А в парках стаи мраморных зверей.
 Как многоточья, птицы за окном
 Молчат тоскою долгих ноябрей.

И длится век тобою, мною, нами,
 Усталым светом, бледными тонами.
 Дни кружатся порошею и снами
 Под электрическими облаками.

СИНИЕ ДОЖДИ

Голубая смерть – синяя вода,
 В свете витражей – синие года,
 Дно бокала – синь, синева ветвей,
 Синие дожди
 юности моей...

Опрометчив шаг непостижных грёз.
 Синее вино, горькое от слёз.
 Синее стекло тёплого такси,
 Трассу в никуда мы исколесим.

Трасса в никогда – подняты шасси –
 Чёрной полосой в синем небеси.
 Синих кружек ряд – у окна конвой –
 Синее окно старой кладовой.

Бледно-одинок пыльно-синий взгляд.
 Осень – это путь, долгий путь назад,
 Погребальных чаш звон в краю теней –
 Синие дожди
 юности моей...

ПРИСТАНЬ ГОЛОСОВ

Я пилигрим, влюбившийся в закаты,
 в мятежные симфонии морей,
 и сердца путевого стакато
 с тревогою звучит в груди моей –
 я приближаюсь с каждою секундой
 к той вечности, что дразнит моряков
 отчаянною песней de profundis¹
 и чайками под сенью облаков.
 А вечером, когда пустеет пристань,
 волна легко касается земли,
 раскачивая мачты в небе мгlistом;
 и шепчутся друг с другом корабли.

Вот слышу я детей у старой баржи,
на ужин опоздавших непосед –
их голоса задиристые старше
самих себя на много тысяч лет.
Они звучат с момента разделения
земель и вод, и странствуют в веках,
в небьгтие их не уносит тленье
в скрещённых, леденеющих руках.

А я хотел бы стать частицей мира,
извечной, бестелесной и шальной –
затерянной в космическом эфире
живой анахронической волной.

Однако, мне исход пути известен,
объявит свой суровый приговор
тотемный ворон в чёрном поднебесье,
мне прокричав однажды: *Nevermore!*²

¹ Из глубины (*лат.*)

² Больше никогда (*англ.*)

TRENOS

*Плыл гроб над скорбной вереницею,
Навстречу вечному покою...
Я был тогда летящей птицею,
А он – в гробу лежащий – мною.*

Николай Колычев

Отсель, мой друг, тебе не знать
хулы во хладе смертной тени.
Что нёс ты: свет ли, благодать,
коварство, ложь или терпенье?²

На плечи ляжет страшный груз,
и сонм угрюмых гробоносцев
гадать не станет: вождь ли, трус
на дне соснового колодца.

И невесомым станет грех –
его простить уже не трудно.
Волна разлук – одна на всех –
несёт сколоченное судно.

Платья, о братья, дань векам,
не отводите глаз и рук вы!
В ладье, плывущей по рукам,
у изголовья плачут буквы,



и ропщет божия семья,
многоголоса, многолица...
Голов склонённых чёрный ряд –
немая притча во языцех.

А я от горя сам не свой...
Под гром неугомонных звонниц
уходит траурный конвой
в края сомнений и бессонниц.

С молвою свирепеет Ляд:
когда под слёзные моления
мне о спасенье говорят,
я понимаю – нет спасенья.

Надежда на Царство тоже нет,
глазницы Бога над распятым
на камни льют голодный свет
с незримой формулой проклятья.

И вечность истины пустой,
питаюсь муками и верой,
берёт живущих на постой,
а смерть провозглашает мерой.

И зол небесных, и наград
известен список на латыни.
Эдемский сад – Иудин ад,
где сердце – скорбляя¹ пустыня.

Горит лукавая лоза,
но пьётся холод родниковый,
и в детских я ищу глазах
секрет бессмертия бывшего –

в них жизни первое вино,
рожденье счастья и измены,
и лев, не сломленный виной,
от твоего, мой друг, колена.

¹ Скорблый – иссохший, сморщенный, заскорузлый, корявый.

Сорвался, говоря другим:
«А ты держись!»...
Спасенья выученный гимн –
Ещё не жизнь
И грёз лазоревая высь –
Лишь неба твердь,
Где наша странная нежизнь –
Ещё не смерть.



Недоли ржавый трафарет,
Полотна хмари,
На всех один простой портрет,
Один сценарий –
Там холод стягивает грудь
И в пары – парий,
Но в каждой паре кто-нибудь –
Да станет тварью.

Продался, говоря другим:
«Не предавай!»...
Лишённый сердца херувим –
Лишь пустобай.
И я, способный быть судьбой,
Стал Тройкой Треф –
Так мы состарились с тобой,
Не повзрослев.

Ветвями, чёрствыми, как смерть,
Возденем пальцы
К той выси, где небесна твердь
И где скитальцы
Иной судьбы услышат наш
Сигнал антенный
Со дна зениц-ладоней-чаш –
На дне вселенной.

Вдыхаем солнца бледный ил
В тени бессмертья,
Мы, выросшие средь могил
Большие дети.

ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ

НЕОТЛИЧИМЫЕ ОТ ЦЕЛИ

БАТЮШКОВ

Три месяца почтовая бумага,
табак и неразрезанные книги
идут к нему из города в деревню –
«Что нынче в Петербурге, милый Гнедич?
Я вдалеке от вас ужасно болен
и целый день сижу в моей беседке,
сложивши на столе тетрадь и перья...»

«Что празднуют сегодня люди Рима?»
Зачёркнуто. *«Какое торжество
над стогнами всемирных столиц?»*
«Писать охота смертная, мой Гнедич,
но где сыскать слова для сладких звуков?
Я нынче начал пьесу; видит Бог,
то будет сочинение на славу...»

Тем временем закрыли переправу.
Идут коровы, слышен стук ведра,
и пахнет свежей стружкой со двора.
«Я не вступлю при плесках в Капитолий!»
Зачёркнуто. *«Добыча злой судьбины,
теперь стою над бездной роковой!»*
Но тут сестра зовёт его домой,

поскольку – ужин. Жареные грузди,
холодная телятина под хреном,
бараний бок, да гречневая каша,
да матовая рюмка русской водки.
«Мне в целом свете всё теперь постыло,
и, если проживу ещё десяток,
наверное, сойду с ума, мой Гнедич...»

.....
В деревне полночь. Спят. Горит одно
окошко в целом доме, но оно
окно сестры. Она читает письма,
потом свеча, взмахнув тенями, гаснет.

*«Сорренто! колыбель печальных дней,
где я в ночи, как трепетный Асканий,
безжал, вручив себя волнам на милость...»*

Тем временем на небо взгромоздилась
зелёная, как яблоко, звезда,
всю ночь она качается на ветке,
но наш певец не зрит звезды в эфире,
поскольку спит, судьбу в слова вплетая,
и только вологодские коровы,
пригнув рога, бредут на Капитолий.

прозрачен как печатный лист,
замысловат и неказист,
живет пейзаж в моём окне,
но то, что кажется вонне,
давно живёт внутри меня –
в саду белеет простыня,
кишит похлёбка на огне,
который тоже есть во мне
и тридцать три окна в доме
открыто на меня – во тьму
души, где тот же сад, и в нём
горит, горит сухим огнём
что было на моём веку
(кукушка делает «ку-ку»)
– и вырастает из огня
пейзаж, в котором нет меня

низко стоят над московой облака,
сквозь облака ледяного валька
стук раздаётся в сырой темноте –
всадники с гнёздами на бороде
едут по улицам, свищут в рожок
и покрывается плёнкой зрачок,
птичьим пером обрастает рука,
в белом зрачке облака, облака

Обрастает стихами, как будто вторая кожа
первой поверх покрывает лицо и руки;
даже вещи всё больше похожи на рифмы Блока
или на Фета, его наливные звуки, –

обрастает вещами, и вещи пускают корни,
шкаф или штору подвинуть – уже проблемы:
высыпают приставки и суффиксы, только дёрни,
гладкие плавают в мыльной воде морфемы.



Обрастаешь собой, открывая в себе чуланы,
комнаты, где не погашен огонь, ампира
бесконечные лестницы – набережные канала, –
бродишь всю ночь и не можешь найти сортира.

НАЧАЛО РЕЛИГИИ

если скульптуру собаки
на станции «площадь революции»
отполировали до блеска
миллионами прикосновений,
значит, пора дать собаке имя,
придумать родословную,
украсить цветами и фруктами,
и поставить коробку для
денежных пожертвований –
ваш подземный путь
охраняет бог синей ветки!
– если этого не происходит,
значит ваше пожертвование
просто включили в стоимость
купленного билета

Как Суворов пехоту в классический город,
перебив звонарей, я веду в этот стих
мой вокзал, где темно от владимирских бород
и торговку с охашкой убитых гвоздик.

Это жмых на снегу, а не рифма хромает
и язык заплетается после второй –
пассажиры, уткнувшись в газеты, читают
и забытые вещи уносят домой.

Снова мусор не вывезли и лёд не сколот,
снова лодка колотится в сонной груди.
От Москвы до Подольска в такую погоду
никакой пастернак не отыщет пути.

Где тебя, милый друг, носят черти?
Возвращайся скорее домой:
в нём *шинкуют, и квасят, и перчат,*
и Суворов готовится в бой.

Мы покурим с тобой, посудачим –
в доме хохот и стёкла звенят.
Хорошо в эту осень на даче.
И гвоздику кладут в маринад.

Лес хохочет – опущена роща,
тот же гамон и смех вдалеке.
Всё, Борис Леонидович, проще
и теряется в беззьянке.



в зябких мечетях души бормочет
голос, который не слышно толком,
красный над городом кружит кочет
и притворяется серым волком –
сколько ещё мне бойниц и башен?
улиц-ключей на крюках базара?
город ночной бородой погашен
и превращается в минотавра

возьми того, чего не взять,
что не сказать, скажи –
из этих слов снопы вязать
и выпекать коржи,
но привокзального дымка
сибирский холодок
как незабытая строка
– белёсый хохолок
речного катера во льду
и факел над рекой
а лес свели ещё в войну –
сосновый, строевой

на дне морском колючий ветер
гоняет рваные пакеты,
а где-то в небе крутит вентиль
жилец туманной андромеды,
и дождь стучит над мёртвым морем,
солёный дождь в пустыне света,
как будто щелкает затвором
создатель третьего завета,
но стрелы падают сквозь тучи,
не достигая колыбели,
по-колыбельному певучи,
неотличимые от цели

в моём углу – бревенчатом, глухом
такая тишина, что слышно крови
толканье по тесным капиллярам
да мерная работа древоточцев –
ни шеи, ни руки не разгибая,
в моём углу я словно гулливер,
то с этой стороны трубы подозрной
смотрю вокруг – то с этой



(меня мир по прихоти моей)
но слышу только равномерный скрежет
– пройдёт ещё каких-нибудь полвека,
изъеденный, дырявый – угол мой
обрушится под тяжестью себя
и только скобы новый гулливер –
изогнутые временем, стальные
поднимет из травы на свет и скажет
умели строить

МОЙ СТИХ

слепой как птица на ветру,
облепленный пером
чужих имён – как вкус во рту,
который незнаком –
на вечном обыске, по швам
всё ищет край времён,
как много будущего – *там*
как холодно мне в нём

ГАЛИНА СОКОЛОВА И ЭЛЛА МАЗЬКО

РАССКАЗ ХЕЙТЕРА

Отрывок из повести «Страшная ночь или визит Зелёной феи»

– ...Ну вот вам и разгадка преступления: наследство! – радостно воскликнул Толик. – Дело можно закрывать. К сожалению, Арик Гукман вне нашей юрисдикции, и вряд ли мы сможем экстрадировать его на территорию Украины. Хотя попробовать стоило бы... Что вообще известно об этом мальчишке, кроме того, что он состоит на учёте с вялотекущей пизофренией?

– Ну что? – нехотя порылся в бумагах лейтенант Капустин. – Тихий. Незаметный. Воспитан бабкой, которая сама состояла на учёте у психиатра. Мнит себя гением, как и его папа. Недавно участвовал в конкурсе молодых писателей. И смотрите, что накатал:

РАССКАЗ ХЕЙТЕРА

Я ненавижу море. Глаза бы мои его не видели, склизкую мокрую массу. Пришлось даже переехать с улицы Черноморской на Филатова – подальше от чёртова моря. Саму Одессу я тоже не очень... Слишком много молдаван. Я уже не говорю о другой нации, о которой говорить не принято. Почему не принято? Потому что они засели на всех хлебных местах, и если не захотят – не напечатают мой опус. А я хочу, чтобы напечатали, потому и говорить о них не буду, хоть и хочется.

...Я об армянах. А вы о ком подумали, испорченные вы люди?..

Итак, родился я, будущая литературная звезда, в парке Шевченко, в роддоме № 6. Наверное, и в палате № 6. Мой отец – громогласный бард Бардецкий. Хотя лично я предпочёл бы тихого поэта Лебядкина. По крайней мере, ему виршевание не мешало бы заниматься ребёнком. Мой мной не занимался вовсе. Я хотел бы с ним ездить на велосипеде в степь смотреть сусликов. Я бы хотел воровать с ним в фермерских садах черешни и сливы. Хотел бы, чтобы по вечерам он читал мне «Чудо-дерево» и «Карюху». Водил бы меня впельменную. В тир и в кафе-мороженое, где облаковидные тётки накладывают в вазочку разноцветные шарики. Ничего этого в моей жизни не было. Может быть, виновата Зоя, моя мать? В детстве я и её почти не знал, ибо был выделен в качестве пропитания городской бабы-яги. «Baba-yaga urbanis». Знаете ли вы, кто это такая? «Баба-яга обыкновенная» живёт в дремучей части леса в уютной деревянной избушке на курьих ножках, прикармливает живность и сама питается с приусадебного участка. И лишь изредка детьми. А городская? Без сада и огорода, без живности, от вынужденного безделья она поедом ест всех, кто попадает в её поле зрения. Детьми же она питается регулярно – чаще всего одним ребёнком. Своим. В частности, мною. В доме царил солдатский режим. Собственно говоря, в каком доме? Дома-то как такового и не было. Была газовая камера с койкой. Шаг вправо – шаг влево – комнатный ГУЛАГ. Ничего нельзя. Её всё бесит. Ей в затылок дышит смерть, потому её раздражает любое проявление жизни. Сколько ей лет, я не знаю и знать не хочу. Может, тысячу.

Может, тысячу лет и мне. По крайней мере я отождествляю себя с Иоанном Антоновичем, «известным арестантом» Шлиссельбургской крепости. Иваном VI. Нет-нет, я не говорю, что именно я в прошлой жизни был Иоанном. Мне вообще смешны люди, которые мнят себя знаменитостями в неких недоказуемых «прошлых жизнях». О, «я была Екатериной Великой!» О, «я был Ромулом и Рэмом». Нет, дорогие. Скорее всего, вы были простыми крестьянами, и вкалывали вы с утра до ночи ради чёрствого куска хлеба,



и угрюмо завидовали вы всем вокруг чёрной завистью. Как и сейчас. Но с Иоанном я чувствую духовное родство. И догадываюсь отчего.

Моя матушка родом из славного посёлка Кагарлык. Это бывшая немецкая колония. Кагарлык, конечно, звучит гордо, но я предпочитаю старое название Фрейберг. Я там бывал – там гораздо легче дышать, чем в Адёске, которая выманила Зою из уютного Фрейберга и лихо подставила ей подножку.

Я часто думаю, чем привлёк мою мать город махровых коммерсантов? Зачем она променяла чудный тихий городок XVIII века на эту ракушечную развалину? И понял: иллюзия литературной столицы. Зоя мечтала стать поэтессой. Эта мечта и толкнула её в лапы Б. Бардецкому. Разбитые мечты. Разбитая жизнь. В Одессе можно было успешно стать только биндюжником или фарцовщиком. Или портовой девкой.

Я учился в пяти одесских школах – то есть, сменил школы пяти районов: мою ведьму гнали с квартиры на квартиру её грехи, но ни в одной так и не встретил начинающих поэтов или хотя бы юных писателей. Айфоны и нетбуки, «кольца и браслеты, юбки и планшеты» – вот и весь их интерес. Махровые материалисты вызревают в славном городе-герое. Всё продаётся и покупается. Наверняка и звание героя Одесса купила...

Рецепт счастья нестандартного одессита: вовремя уехать из Одессы. Так уехал Валентин Катаев и увёз Багрицкого. Так уехали Бабель, Ильф-Петров и чудесный Олеша. Так увезли из Одессы Пастернака ещё до его рождения. Так уехал невыносимый Михаил Михайлович, который Жванецкий. Они уехали, благодаря чему и зажглись их звёзды в литературной истории. В Одессе бы они остались малоизвестными местечковыми писателями. Их заклевали бы местные «гении», которых в местечках всегда в избытке. У тех везде всё «схвачено». И поэтому никто не знает поэзии Кессельмана – он ведь остался в Одессе. Не издано у него ни одной книги. Его никто не помнит. Никто не знает и Б. Бардецкого – он тоже куда-то не уехал. Нет пророка в своём отечестве.

В детстве перед нами стоит неразрешимая задача: разгадать, почему взрослые мечтают вернуться в детство? Пишут о детстве стихи. Поют песни. Вопросик этот мучает не на шутку. Ведь детство – это рабство, полная, абсолютная, тотальная зависимость. Гордиев узел. Мечтая поскорее вырасти и стать независимым, добавляешь – и счастливым. И лишь взрослея, понимаешь, что не в независимости счастье. Вот оно есть и сейчас же его нет. Независимость не имеет к счастью никакого отношения.

А на самом деле всё просто. Говорят, счастье в мудрости, а «мудрость не в том, чтобы людей презирать, а в том, чтобы делать такие же пустяки, как и они: ходить к парикмахеру, суетиться, целовать женщин, пить, покупать сахар. Вот мудрость!»¹

Есть у меня старшая сестра. Единокровная. Я видел её лишь раз – на похоронах второй бабушки. Сестра демонстративно игнорировала меня. Немудрая и несчастливая. Я даже не знаю её имени. Чем виноват перед ней? Тем, что есть. Я есть, а ненависти к ней у меня нет.

А есть у меня ненависть к Наташке Радаевой. Прошло пятнадцать лет, а я всё ещё вижу её свешивающуюся через балкон головку с каштаново-русскими волосами и глазами цвета тёплого сладкого чая. Сладчайшего. Нет вкуснее того чая на свете.

Мне было пять, Наташке три. Мы с «ведьмой urbanis» только переехали тогда в коммуналку с видом на море. Это в парке Шевченко, на тогдашней улице Гефта, ныне Черноморской. Наши балконы разгравивала фанерка, и мы каждый день лазили друг к другу в гости. Я называл Наташку Моташкой. Жизнь вдруг стала такой, какой и должна была. Её родители кормили меня вкусным тортом «Киевский», и я запивал его чаем Наташкиных глаз.

...Молоденькие Наташкины родители! Мне это были дивно, потому что меня Зоя родила в сорок лет. Поскрёбши. Пока я вошёл в разум, ей уже стукнул полтинник. Она расплнела лицом, телом и душой, но всё ещё наядаливо мечтала о «личном счастье». Женщины ведь не понимают, что никакие макияжи и пластики не подменяют свежей притягательности юности. Она доживала. Я ей мешал. Зачем я был ей нужен? Их ответ типичен: чтобы на старости лет было кому подать стакан воды. Какой потрясающий в своей эгоистичности ответ. Я не хочу жить для того, чтобы когда-то подать кому-то какой-то стакан. Когда в первом классе школы мы мерились, чья мама самая молодая, я всегда оставался в аутсайдерах – ни у кого не было более допотопной матери. Но и это не самое страшное. Страшно, что даже такой, как Зоя, я нужен не был, потому она и определила меня на корм.

Самый страшный зверь на свете – состарившаяся красавица. Блажен тот, кто никогда не знал этих истекающих безнадежной похотью и мечтами о прошлом. Они хороши только в малых дозах, как кумалин – крысиный яд. Неплохо приехать к ним на выходные. Может, на два летних месяца. Это отвлечёт их от ненасытной похоти. Но дольше – смерти подобно.



В нашей с ведьмой квартире всё пропало немой старостью. Старики ведь не моются по какой-то лишь им ведомой причине. Генетический страх чумы, который проявляется только с возрастом? Я и сам пропах этой немой старостью, хотя тайком от ведьмы ловил душ. Именно «ловила». Это было трудно – Бастинда мыться запрещаю. По её версии, вредно это делать чаще, чем раз в неделю. И она грозно следила за соблюдением. Это приносило мне муки. Я улучал момент, когда «вертухай» выходила за почтой или за хлебом и прыгал в живительный луч. Пусть и на минуту. Однако чаще за хлебом посылали меня. А по пятницам она водила меня в баню. Я был мальчиком, соответственно она шла в женское отделение, а я в мужское. И голые толстые дядьки плотоядно смотрели там на меня. Вот он, ночной кошмар. Я хочу удрать как можно дальше от тех воспоминаний.

И от этих... С Наташкой мы рассказывали друг другу истории. Поливали друг друга из «пшикалок». Показывали друг другу интимные части тела – Наташка говорила, что так принято в их детском саду. Мы даже вместе играли в ванне с Буратино и Петрушкой. Если бы не Наташка, я бы никогда не показал бы носа на улицу – боялся незнакомых. Наташка была моим локомотивом четыре года подряд.

У первой мухи головокружение

От длительного сна:

Она лежала зиму без движенья,

Теперь весна.²

Четыре года весны. А однажды осенью Наташка пошла в школу, и я стал ей не нужен. Не было больше Буратин и пшикалок, совместных ванн и воздушного торта «Киевский». У Наташки объявились новые друзья – чужие, безликие. А ведь я никогда не менял её на школьных друзей, хоть и перешёл уже в третий класс. Нет, не то, чтобы я был влюблён в неё, но она была спасательным кругом в горьких помоях моей жизни. Она предала дружбу.

Из наших окон было видно море. Оно – свидетель этого предательства. А свидетелей нужно убирать, не так ли? И я всё ещё обдумываю, как убить его. Убить море? Не думайте, что это невозможно.

Вскоре Наташкины чайные блюда переехали с улицы Гефта на край земли – посёлок Котовского. На какую-то загадочную и враждебную улицу Махачкалинскую. Благодаря этому я ненавижу Махачкалу, хотя никогда там не был. Я вообще нигде не бывал кроме материнского Фрейбурга.

...Вы, конечно, ждёте рассказа о моём официальном диагнозе. О пшикофрении, о голосах. Это ведь так интересно, что они мне говорят. Кричат. Шепчут. Разочарую: никаких голосов я не слышу. Всё это лишь искусная выдумка для того, чтобы откосить от армии... От АТО, так сказать.

Нескоро, очень нескоро, через вечность после Наташкиного отъезда моя «ведьма urbanis» наконец ушла туда, где её и заждались – в девятый круг ада, и мы с Зоей переехали на улицу Филатова. Началась другая жизнь.

...А недавно я отыскал Наташку в соцсетях. Сомневаюсь, что она узнала меня. Свет моего детства. Та же причёска. Те же глаза... Попросил её выставить её детские фотографии. Она согласилась, но так и не выставила. Люди не меняются! И я удалил её из друзей. Назад дороги таки нет. В одну реку таки нельзя войти дважды. Она никогда не узнает, чем была для меня. Но рано или позано я убью море. И успокоюсь. Время лечит? Чёрта с два!

– Убьёт он море? – вскинул голову Толик Клименко. – Это как? Мальчик явно болен!

– Однако в данный момент он находится под следствием в городе Петах-Тьква за неудавшееся покушение на убийство моря, – отрапортовал лейтенант Капустин. – Покушение не удалось лишь потому, что море уже было мертво...

– Вы серьёзно, что ли? – осторожно хмыкнул Толик, чуть отступая к входной двери.

– Да уж серьёзнее некуда! – заверил Капустин Толика, преграждая ему дорогу...

¹ М.М. Зоценко «Мудрость».

² В.М. Инбер. «У первой мухи головокружение...».



РОК!

Отрывок из книги «Евина груша или пицца счастья. Часть третья»

Свадьба обещала стать шикарной! На родине такие, может, и бывают, но не в обычной интеллигентской среде, к которой в прежние времена относились обе невесты. Впрочем, с тех пор, как обе они окопались в Техасе и завели новых, куда более состоятельных друзей, не говоря о крутых партнёрах по бизнесу, сказка определённо могла стать былью. Заняться её воплощением мешали только дети, которых надо было на кого-то спихнуть, и желательно не на чужого дядю. Именно для этого, едва получив гражданство, Таня и Аня вызвали к себе их отцов: одна – бывшего мужа, сходиться с которым раньше ей бы и в голову не пришло. А вторая – бывшего любовника. Когда-то коварно сбежавшего в Канаду и бросившего её в лихие девьянотые с ребёнком и без средств.

Как-то так вышло у Ани, что в раннем детстве её бросила на автовокзале мама, предоставив её воспитание государству. А взрослой её бросили сначала муж, а потом Фима, променяв её любовь на Канаду. Рок!

– Он ещё меня попомнит, – недобро улыбалась неудачливая любовница, когда речь заходила о Машкином отце, и узковатые её глаза становились похожими на рысьи зрачки – в них прорисовывались отчетливые грозные стрелы.

Неуловимый прежде Фима пригнал из Торонто в надежде, расписавшись с «американкой», легально расширить свой бизнес ещё и на США – зели его канадские налоги, спасу нет. Он уже полгода кропотливо подыскивал себе кандидатуру для фиктивного брака – и вот нашёл. И Аня согласилась. Рядом с ним – толстеньким-уютненьким, в чесуче и панамке, которую он то и дело снимал, чтобы обмахнуться – Аня выглядела совсем молоденькой. При росточке в полтора метра, свои сорок восемь кило, независимо от питания, она сохраняла на протяжении последних лет двадцати пяти. Казалось невероятным, что они одноклассники: потёртый толстяк Фима и тоненькая, как девушка, вся в белом Аня – в шляпке с густой вуалью, скрывающей её до пояса – ни дать, ни взять юная невеста шейха в хиджабе или как там у них называются такие штуки. Кроме них, были ещё Таня со своим бывше-будущим мужем Вадимом – тщательно побри-тым и принаряжённым в новые спорты.

С борта самолёта парочки с восторгом любовались вытянутой, серебристой, как рыба чешуя, косой карибского островка Isla Mujeres, на которой им предстояло пожениться. Она вывела перед их глазами огромную сахарную семёрку, и Фима опасно взглянул на невесту: он силился понять, на что намекает эта чёртова семёрка, которая, как гласит нумерология, может означать рок.

– Остров Женщин – это же сама нежность. Чего ты? – успокоила его Аня и ласково погладила по руке. – Isla Mujeres переводится как Остров Женщин, его верхняя часть выходит на Залив Женщин. А вот в нижней части косы – да, там сюрпризов сколько угодно, – хихикнула Аня, ещё больше насторожив Фиму.

Он и до того долго не мог взять в толк, зачем играть свадьбу в Мексике? Почему нельзя просто пойти в местный суд Далласа и скромно расписаться там? Впрочем, как только он узнал, что двойное бракосочетание в одном из лучших курортов мира – мексиканском Канкуне – стало свадебным подарком министра Строчкоффа – давнишнего Таниного друга, подозрения тут же ушли: за чужой счёт Фима согласен был жениться хоть в Африке, хоть в Антарктиде.

Но и в Африке, и в Антарктиде Фима собирался заключить перед свадьбой неременный брачный контракт. Необходимо оградить свои богатства от будущей жены. Тем более что буквально неделю назад через своего представителя в Перми он совершил выгодную сделку: взял в аренду небольшой, но очень золотоносный участок под Кунгуром.

– Кунгу-ур... – с непонятым выражением протянула Аня, когда прямо из аэропорта они прибыли в англоязычную адвокатскую контору Канкуна для подписания брачного договора. – Медвежий угол...

– Да, край диковатый, – сказал Фима, усаживаясь за монументальный стол. – Это вам не хухры-мухры.

Он был горд собой, своим приобретением и будущим американским гражданством. И весь лучился.

– Когда Жуковский побывал там с Александром Вторым, то сказал: «Город в яме – город пьяный», – продолжала Аня.

– Так оно и есть! Помню, был в тех краях пару лет назад, видел: два ухажёра по пьянке подрались из-за девчонки, так один другому... что бы вы думали, сделал?

– Рожу расквасил, чего ж ещё, – сумрачно высказал догадку Вадим. Они с Таней были свидетелями подписания.

– Убил?! – пискнула Анька и закашлялась.



– Ну, скажешь тоже. Может, пару рёбер сломал, – угромо предположила Таня. Поймав изумлённо-испуганные взгляды, Фима расхохотался:

– Нет, он ему откусил... нос. Сам видел. Даже сам драку разнимал – всех раскидал. Пацанва восемнадцатилетняя, а девчужке вообще – лет пятнадцать-шестнадцать... Персик!

– Да, там, в глубинке, педофилия процветает! – ревниво заметила Аня. Она на своём веку немало пострадала из-за того, что ухажёры сбегали к скороспелым тинейджершам, хотя почти до тридцати пяти лет и её саму нередко принимали за тинейджершу.

– Чё, как это – раскидал? – не поверил Вадим, который был на девять лет младше Фимы. – Тебе сколько лет-то? Они тебя одной левой. А ну, давай померяемся.

И как истинные русские Фима с Вадимом тут же брякнулись на пол прямо в адвокатской конторе.

– Ну, придурки! – закатила глаза Таня. Глядя, как азартно они отжимаются, Аня мелко захихикала.

Оба успели отжаться от сверкающего офисного паркета по пять раз, когда в кабинет вошёл адвокат и положил конец соревнованию.

В очаровательный отель «Каса Пикассо» (с ударениями на «а») лимузин отвёз их прямо из адвокатской конторы. Путь на островок пролёг через паромную переправу, на которой гостям даже не пришлось выходить из машины: лимузин просто заехал внутрь парома, и через двадцать минут они были на месте.

Стилизированные под испанский колониальный стиль стены отеля были расписаны фресками, такими пепельно-синими, какими они становятся, только столкнувшись с его Величеством Временем. Аня гладила их ладошкой, как гладила бы, вероятно, волосы своей много-много лет назад исчезнувшей мамочки. С одной лишь разницей – к этим стенам в её памяти не находилось ни одной претензии.

В отеле было всего шесть эксклюзивных номеров. Шесть! – Аня отметила это вслух и томно взглянула на Фиму. – Число Венеры! Фима усмехнулся. Он помнил прошлые уроки своей давней подруги. Он и бизнес начинал по её астрологическим и нумерологическим выкладкам. Пожалуй, не будь её в начале девяностых, не бывать бы Фиме за границей с его успешным бизнесом.

...Каждый из шести номеров был назван в честь одной из знаменитых картин Пабло Пикассо, автопортрет которого сумрачно и почти враждебно следил за гостями, ступающими на вишнёвый, устланный белоснежными коврами пол отеля. Два номера из шести представляли собой так называемые «съюты для новобрачных». Они занимали восточный и западный крылья здания и имели отдельные входы прямо с пляжа – вернее, с огороженных высокими кустами жасмина пляжных террас. Забронированный для Тани и Вадима съют назывался «Три музыканта» и состоял из трёх комнат с длинной как флейта верандой. В съюте «Купальщица», предназначенном для Ани с Фимой, было две комнаты, соединённые красивым мраморным бассейном. Остальные четыре номера были забронированы для гостей: на свадьбу ожидали нескольких приглашённых друзей и бизнес-партнёров... Однако, когда «брачующиеся» прибыли в «Касу Пикассо», их ждал лишь один гость: Грибок. Так Аня с Таней звали меж собой мистера Строчкоффа. Сморчок-строчок – весенние грибы. Сморщенные такие. Правда, несмотря на свои шестьдесят пять, мистер Строчкофф сморщенным не был. Каждое утро он совершал пробежку и заплыв, и даже отжимался и подтягивался на турнике ежедневно, как в молодости, по тридцать пять раз. Однако подругам это шутить не мешало. Грибок же относился к шуткам снисходительно: хоть он и был коренным техасцем, но – русских корней: прадеды бежали когда-то от революции, и теперь о родственной связи с Россией напоминали лишь его иконы, фамилия и чувство юмора.

Весь, как лебедь в белом, подтянутый и помолодевший он прилетел на свадьбу прямо из Андалусии и занял номер «Старый гитарист». Ещё три номера остались под бронью до четырёх часов пятницы – времени начала свадебной церемонии.

– О, Танька, да тут целая галерея! – воскликнула Аня, разглядывая пёстрые стены лобби и коридоров. – Это же всё кисти Пикассо! Упасть и не встать, миленькие мои! Высококлассные копии его работ! – восхищалась Аня, пока они шли в свои съюты. Картины привели обычно сдержанную Аню в полный восторг, весёлую же до того Таню – в омерзение.

– Что может нравиться в подобной мазне? – решительно перевернула она к стене репродукцию «Трёх музыкантов» в своём номере. – Какой-то бред сумасшедшего.



Грибок деликатно промолчал, а Вадим с Фимой тут же дружно приступили к опустошению минибара – текила, ромпопе, мескаль, балъче, пульке, «Корона» – всё ведь оплачено.

– Миленькие, да художники все сумасшедшие, – воскликнула Аня, отбирая у Фимы фужер и стограммовую бутылочку текилы и выходя с ними на затенённую, утопающую во вьющихся ветвях плюща и жасмина террасу. С неё открывалась необозримая Карибская гладь цвета перванш... Прямо у пляжа покачивалась чья-то белоснежная яхта, а на горизонте с одной стороны островка призрачно просматривался Канкун, с другой – утаивался кубинский берег Гуананакаибес.

– А знаете историю про нашего Арама Хачатуряна? Ну, того, что «Танец с саблями» написал, – пояснила, устраиваясь в один из подвешенных на террасе гамаков Аня, и энергично напела мотив. Когда никто не понял, о ком речь, она, вообразив, что в каждой её руке по сабле, вскочила и замахала над головой текилой и бокалом. – Об этом ещё газеты как-то писали.

Таня пренебрежительно дёрнула плечами. Она и книг никогда не читала – так зачем ей те газеты! Решительно шагнув на уютную плащом террасу, Таня бухнулась во второй гамак и приготовилась слушать.

– Так я расскажу. Ну вот: были у Хачатуряна гастроли в Испании, там его очень хорошо приняли – кто ж, миленькие мои, Хачатуряна не любит? Очень хорошо его приняли и спрашивают, чего, мол, вы, замечательный наш гость, хотели бы в подарок от Испании? Типа – что пожелаете, то, миленький, и принесём к ногам. А он – человек знаменитый, всеми почестями давно усыпанный – жаловаться грех. Ну, значит, говорит: «Я просто очень даже, миленькие мои, счастлив вашему приёму, это для меня, – говорит, – самый лучший подарок и есть. Ничего большего, – говорит, – и не желаю. Вот разве что такая ма-аленькая просьба, совсем крохотная. Я, – говорит, – очень люблю вашего художника Пикассо. И если он, золотые мои, согласился бы со мной встретиться и подарить свой альбом с автографом, тогда мне от жизни желать больше и нечего. Мол, уж и помереть готов.

Грибок, смущённо ёрзая во время рассказа, поднял, было, руку, как, вероятно, поднимал её когда-то за школьной партией, но, увлечённая собой, Аня внимания не обратила, и рука белого лебедя тихо опустилась на стол.

– А эти, с кем наш Хачатурян про это говорил, знают, что такого они, навряд ли, сумеют выполнить, потому что, милые мои, Пабло Пикассо – тот ещё кадр. С ним не так-то просто договориться. Но не откажешь ведь знаменитому маэстро. Звонят, значит, самому Пикассо. А он как раз в Америке был. Звонят, значит. Так, мол, и так. Хочет вот русский маэстро, просто неважно, так хочет. А сами думают: откажет, так откажет. Не мы же гостю-то отказали, сделали, мол, что могли. А тот совсем неожиданно возьми да и согласись. «Дайте, – говорит, – этому самому Хачатуряну трубочку, я сам обо всём договорюсь».

Ну, милые мои, берёт, значит, Арам Ильич трубочку, слушает. А Пикассо ему: «Вам на два часа подойдёт завтра? Подойдёт? Вот и замечательно. Значит, завтра в два жду вас в своём дворце, я, – говорит, – очень рад сеньору маэстро и всю жизнь только и мечтал о встрече с ним».

Назавтра в два, как и договорились, привозят Хачатуряна в лимузине ко дворцу. Над дворцом два флага – один испанский, другой лично Пикассов. Традиция у него, видать, такая. Встречает их мальчик в ливрее пажа, дворцы машины открывает и передаёт его церемониймейстеру – такой весь из себя церемониймейстер, миленькие, в золоте и бархате, как на картинках. И ведут маэстро на приём. И никого с ним не пускают, мол, сеньор Пикассо просил тет-а-тет, даже переводчицы не надо. Ну, один так один – значит, гений кисти немного русский знает, как-то оно будет. Вошёл Арам Ильич в приёмный зал – красота неописуемая: хрусталь, золото, бархат, в середине стол с закусками и бутылками. Сидит наш гость. Тридцать минут сидит – никого. Ещё тридцать минут сидит – никого. Так-то целый час промаялся в ожидании. Он уж и вина напился, и коньяка, и пива, чтоб попусту не сидеть, а хозяина, миленькие, всё нет и нет. Ещё почти час прошёл. Никого. А уже того... В туалет охота. Торкнулся в одну дверь – заперта. В другую – тоже. И окна все в решётках. Как же быть, миленькие? Охота ведь, не усидишь. И зло же берёт! Кто же так с гостями-то себя ведёт?! Ну, смотрит – стоит такая бо-о-о-льшая ваза в уголке. В мавританском стиле ваза, миленькие мои. Очень красивая. Оно, конечно, миленькие, неудобно, но что ж делать-то? Ничего не поделаешь – надо. И только он начал опорожняться, ещё даже не застегнулся, как вдруг... дверь распахивается и... верхом на метле! В чём мать родила! Размахивая саблей над головой! Проносится мимо нашего маэстро сам Пикассо! И, не снижая скорости, напрямик в противоположные двери! Только-только должен был со всего-то маху, золотые мои, шмякнуться о них, как двери сами собой и распахиваются! И мастер кисти исчезает за ними. В ту же минуту голос церемониймейстера громко объявляет, что аудиенция, мол, закончена, спасибочки вам за визит. И уже в машине бедный композитор обнаружил в своих руках альбом репродукций с дарственной надписью Пикассо, но его это ничуть не



обрадовало и он всю дорогу потом раздумывал, выбросить альбом в окно лимузина или уж ладно, пусть будет. Пикассо всё-таки... А ваза та оказалась очень даже антикварной, ей шестьсот лет и стояла она почти сто тысяч долларов! Пикассо потом в интервью всем газетам говорил, мол, ну что вы хотите от русского. Мол, простим ему такую слабость. Мол, для русского композитора это был обычный русский водевиль. Русские – они же жуть, какие.

Все захохотали, держась за животы. Особенно Таня – она смеялась так заразительно, что свалилась с гамака, после чего даже Вадим перестал хмуриться и, скаля зубы, дружески хлопал Грибка по колену. А когда все отсмеялись, Грибок, снисходительно улыбаясь, заметил:

– Ну, да, всё так и было. Только история эта не о Пикассо, а о Дали. Сальвадоре Дали. Про Пикассо есть другие истории.

– Дали? – удивилась Таня. – Что, и тот такой же идиот?

– А они все чокнутые, – пискнула Аня и, закашлявшись, закуталась в вуаль, хотя на террасе и так было достаточно жарко. – Ой, кажется, я простыла – всё эта вода со льдом. Охрипла! Фимочка, ты не возражаешь, если я не буду пока разговаривать, чтобы не потерять голос!

Фимочка не возражал. Он был почти у цели: церемония предстояла через полтора часа в свадебной часовенке прямо на белопесочном пляже «Касы Пикассо». А пока можно отдохнуть: Таня пошла в соседний бар повидать знакомого бармена, Грибок ушёл на пляж, а Аня, запретив Фиме её беспокоить, заперлась в «Купальщицах» прихорашиваться и наряжаться. Фима и Вадим наконец-то оказались наедине с мини-баром!

Развалившись в гамаках и потягивая «Корону» (всё остальное было уже оприходовано), они изумлённо разглядывали с террасы пляжников. Мужчины в плавках-стрингах держали друг друга за руки и периодически нежно целовались, женщины – большей частью бесформенные стриженные толстухи в мешковине вместо купальников – воодушевлённо проделывали то же самое.

– Ну и уроды тут! – фыркнул Вадим.

– Не скажи! – не согласился с ним Фима, провожая глазами двух обнявшихся юных мулаток в цветных заколках среди смоляных кудрей. – Я, когда был на Фиджи, так зажигал...

– Не знаю, не бывал...

– Фиджи – это ещё что. Фиджийки, гавайки – их не сравнить с девочками Маркизских островов. Я там так зажигал! У маркизянок – почти европейские лица.

– Да ну тебя. Не видел.

– А какие девочки на Таити!

– Слушай, ты же сегодня женишься, – возмутился строгий Вадим. – Что ж ты про баб да про баб?

– А про кого ж?! Я же ради грин-карты женюсь, подумаешь.

– Так у вас же общая дочь!

– До-о-очь?! – удивлённо протянул Фима. – Иди ты! Никаких дочерей у меня с ней нет. Она вообще для меня старая: сорок лет – бабьей век.

Помолчали...

– А острова Медани на Бермудах – не выдержал, опять подал голос Фима, – там девчонки вообще почти все белые, как испанки. Или итальянки. Кук ещё говорил.

– Вот за то его и съели...

Два «готовых» жениха качались в гамаках и обдувались пальмовыми листьями – жарко было в этой «Касе Пикассо». Да и вообще в этой Мексике. И скучно. Учитывая, что вокруг надёжно охраняемого курорта бушевали кокаиновые войны, и выйти особо никуда было нельзя, а мини-бар уже опустел.

– И чего было в эту Мексикку тащиться? Совсем бабка сбрендила – раз Дед платит, так надо к чёрту на кулички залезть. Нельзя было, что ли, в Далласе расписаться? Хотя, как говорится, за чужой счёт пьют даже трезвенники и язвенники.

...«Ком-бат бат-тяня»... – затянул Вадим и изрядно повеселевший Фима с готовностью ему поддел: – «Ба-тяня ком-бат...»

Солнце клонилось к ультрамариновым волнам. Свадебная часовня торжественно возвышалась прямо на пляже под пальмами и, как и отель, была выдержана в испанском колониальном стиле: высокие стрельчатые окна, крыша из глиняной черепицы. На крыше весело полоскался на ветру мексиканский «триколор», а внизу, на уровне пояса, уныло свисали канадский и американский флаги.



В назначенный час Таня с героически державшимся на ногах Вадимом прошли церемонно, под зажигательную музыку расписались на пляжном столике и, как водится, поцеловались. После чего, почти ничего не видя в сумраке часовни, свалились за благословением и свидетельством о браке в освещённую нишу прямо к ногам лучащейся счастьем Богородицы. Таня-то ведь не хуже Вадима с Фимой посидела у знакомого бармена. Улыбчивый служитель брачной канцелярии их промаха не заметил и, вручив документ прямо в руки новобрачной, проводил к выходу.

Подошла очередь второй пары. Фима расписался в свадебном журнале, после чего, не поднимая вуали и насадно кашляя, расписалась и Аня. Жестом показав молодожёну, что сейчас вернётся, пусть он заходит внутрь, она побежала к пляжному туалету. Новобрачный, пожав плечами, нетвёрдой походкой направился к часовне.

– Так мы вас ждём в ресторане! – крикнула ему Таня с порога «Пикассо».

Фима кивнул и вкатился внутрь. Никого. Только счастливая прежде Богородица прямо перед его глазами скорбно склонилась к горящим у её ног свечам, что Фима посчитал прямым следствием смешивания текилы с «Короной». Тихо. Лишь свечи потрескивают. Темновато. В середине часовни Фима разглядел пляжный топчан, накрытый чёрным бархатом, а на нём – два цветка каллы, две бутылки текилы, шесть бутылочек пива и совсем маленький – двадцатиграммовый – пластиковый стаканчик. И всё – ни воды, ни закуски. Ни стула, чтобы присесть. Разве что плетёные ковры ручной работы, устилавшие кирпичный пол. Под самым потолком – золочёная клетка с курлякающим павлином, хвост павлина колыхался прямо над Фиминой головой. «Придумают же католики – Богородица, свечи и... павлин», – насмешливо подумал Фима, дёрнув птицу за довольно растрёпанное перо. Павлин недовольно забормотал и убрал хвост.

Сел Фима на коврик, налил себе в стаканчик ничейной текилки. Двадцать минут Фима наливает – никого. Ткнулся было в дверь – заперта. Захлопнул, что ли, когда входил? Пробовал стучать – да звукоизоляция такая, что звук скрадывает – никто его и не услышал. И окна высоко, под самой пятиметровой крышей. Где же служитель? И где Анька? Думал позвонить – не взял с собой мобильник. Хотя вроде бы брал... Да его канадский мобильник и не работал тут, на Карибском море. Глядь – а в уголке часовни стоит ваза в мавританском стиле. «Ну, прямо как у того Пикассо, или у Дали!» – подивился Фима.

Ещё сорок минут сидит Фима на коврике, поглядывает на вазу и подливает себе текилы с пивком – никого. Фима уж и напился – впору закусить, а людей всё нет и нет. Только теперь на руках у Богородицы почудилась ему вместо мальчика...похожая на него...девочка...

Второй час сидит Фима – уж пиво с текилой выхода требуют. Но вокруг – ничего похожего на туалет, кроме той вазы и топчана с пустыми бутылками под ним. Ну и ну, думает Фима, шутницей Анька оказалась. Не иначе, мстит за те два давних цветочка каллы, которые передал он ей с соседкой перед отлётом в Канаду пятнадцать лет назад. Но передал же – не сбёжал, не попрощавшись. Да и кто прошлое помянет – тому глаз вон!

«Э-э, была не была!» – решил Фима облёгчиться. Но – дудки! – не в вазу (не дождётесь), а в пустую водочную тару. Только прицелился – как вдруг дверь часовни распахивается и верхом на метле, размахивая над головой свидетельством о браке, проносится мимо Фимы... сама Анька всё в том же белом платье и той же вуали! Не снижая скорости, делает крут по часовне и – обратно в двери. Фима, хоть и выдул полтора литра с пивом, бдительности не растерял и бегом за ней, на ходу кое-как застёгиваясь.

Анька скачет от Фимы на метле по пляжу, потом – по отелю, потом – снова по пляжу, народ смеётся, аплодирует, думает, какое-то шоу. Наконец Фима поймал её за вуаль, сдёрнул и остолбенел: вместо Аньки перед ним... подросток-мексиканец в белых плавках-стрингах, смеётся-заливается и свидетельством машет перед носом. Фима выхватил из его рук бумажку: он, Эфраим Сахарян, гражданин Канады, сорока лет, сочетался законным однополым браком с... неким Анхело Мартинесом, восемнадцати лет от роду, гражданином Мексики... Анхело чмокнул обалдевшего Фиму в щёчку и, вырвав из его онемелых рук свидетельство, поскакал дальше.

Это был шок так шок! В жизни своей не был Фима так сражён. Вдрызг протрезвев, он бросился к себе – и обнаружил, что электронный ключ не работает: «Купальщицы» ему не открывают. Фима бежит в лобби – ему говорят: вы же от номера отказались два часа назад, как раз после того, как со всех номеров, кроме «Трёх музыкантов» и «Старого гитариста», была снята бронь. Мы уже другие пары везде поселили, у нас, знаете ли, свято место пусто не бывает. Фима бросается назад к «Купальщицам», колотит их, матерясь и кляня всех и вся, потом оббегает угол и, выбив ставню, влезает внутрь через террасу.



Но и внутри, как в часовне – никого. Всюду разбросаны женские вещи, но ни его вещей, ни его одежды, ни его документов. Вдруг из ванной вывалилась молодая стриженная толстуха и, увидев роющегося в её вещах Фиму, одним хуком уложила его на пол головой в бассейн. А в номер вбежали работники и секьюрити отеля.

Но не схватить! Укусив держащую его толстуху за палец, Фима вывернулся и, выскочив через ту же террасу, бросился в ресторан – и хотя бы здесь успел: Таня, Вадим и Грибок, отобедав, уже направлялись к выходу. Почти пришедший в норму Вадим героически держал в руках солидный контейнер с едой.

– Я со всеми вами разберусь! – оскорблённо взревел Фима. – На мужике меня поженили?! Это ты всё подстроил, старый хрыч! – накинулся он было на Грибка, но тот, несмотря на разницу в возрасте, ловко дал ему подножку и Фима ухнул на пол, с грохотом опрокидывая на себя стулья.

– Фу, от него разит, как из бочки! – поморщилась Таня. – Идёмте отсюда. Где же Анька?

– Минутку, Таня, – поднял руку Грибок. – Мистер Сахарян, объясните же, что случилось?

Но объяснить Фима никак и ничего не мог, он только пыхтел и матерился. Сбежались, беспомощно переглядываясь, официанты, отодвинулись подальше посетители. Кто-то из них взялся за мобильники, видимо, вызывали полицию.

– Надули! – рычал Фима, тяжело поднимаясь с пола. – Объегорили! Облапошили! А этот «старый гитарист» ей подсобил!

– Что Вы несёте? – вскричал Грибок.

– Что я несу?! Эта старая карга сбежала с моими деньгами, билетом и паспортом! Вот что я несу! – ухватился за его галстук Фима. – Она меня кинула!

– Но ведь ты сам её когда-то кинул – бросил с ребёнком, козёл! – насильно вырывая Грибка из цепких Фиминых рук, кричала Таня.

– Помолчи, – подал голос и Вадим, – не лезь в чужие отношения!

– Какие ещё чужие? – отпихивая мужа, ухватила Таня за грудки Фиму. – Ты предал любимую женщину, а теперь её в чём-то обвиняешь?

– Никого я не предавал! – верещал, отталкивая её, Фима. – Никакой любви у меня с ней не было. Обычная знакомая прощандовка! У меня таких воз и маленькая тележка. Да я её еле вспомнил, если честно. Но сейчас-то была бизнес-договорённость, я же ей кучу бабок отстегнул! Она же требовала пятнадцать тысяч за этот брак! Аферистка! Хорошо, что я дал ей только тысячу! Но кто мне вернёт мои бабки?

– У тебя же с ней общий ребёнок! – не отступала Таня.

– Да что вы прицепились с этим ребёнком? Мало ли с кем она его нагуляла! – вопил Фима, отдирая от себя Таню. – Может, она всю Пермь перетрахала, такая же стометровка, как ты.

Грибок побледнел, набылчился, и вдруг мастерски залепил Фиме прямо в ухо. От этакой знатной оплеухи Фима снова брякнулся на пол и сел, моргая осоловевшими глазами. Но тут с воплем «наших бьют» Танин муж вцепился в Грибка! А Таня вцепилась в муженька! Втроём они покатались по «Пикассо», ломая стулья и смахивая на пол дорогую посуду и картины. Спрятавшись под стол, хитрый Фима метко швырялся оттуда сдобными булочками из упавшей со стола корзинки. Троица выкатилась в холл и, когда прибыла, наконец, полиция, выскочила через чёрный ход на пляж. Добычей полиции стал лишь замешкавшийся, ни слова не говорящий по-испански беспаспортный Фима.

Но и на пляже потасовка не кончилась.

– Лузер! – вопила Таня мужу, храбро заслоняя от него Грибка. – Твоя мамаша меня всю жизнь со свету скивала, а ты отмалчивался. А теперь сына спайваешь!

– Заниматься сыном – твоё дело, ты – мать, а не я! – орал Танин муж. – Я мужчина!

– Если ты не смог защитить жену, – вмешался вконец разгневанный Грибок, – не смог обеспечить ей достойную жизнь – ты не мужчина!

– Это я-то не мужчина? А это видел?

И прямо на аллейке Вадим повис на лиане, свисавшей с баобаба, под ветвями которого они как раз стояли, и полез по ней наверх, как по канату. Недолго думая, Грибок обхватил вторую лиану и, пыхтя, тоже стал быстро вскарабкиваться.

На баобабе Вадим уцепился за верхнюю ветку, трижды на ней подтянулся и сел между двух нижних веток. Грибок торжественно подмигнул с дерева Тане и начал подтягиваться на той же ветке. Вокруг столпились пляжники, из ресторана прибежали музыканты. После десятого грибкового крика Вадим обмяк, а после пятнадцатого налил завистью. Зрители восторженно аплодировали Грибку, а музыканты грянули «Кукарачу».



– Ну а так, старый ты хрен, можешь? – и Вадим, съехав с лианы под оглушительные звуки «Кукарачи» и ободряющие крики зрителей прямо на аллееке принялся отжиматься. Гриб, не мешкая, съехал следом за ним и тоже стал отжиматься. Сдаваться он не собирался. Вадим скис после пятого раза, Грибок же отжался свои коронные тридцать пять раз! Зрители в экстазе выкрикивали: «А-бу-э-ло! А-бу-э-ло!» – «дед» по-испански.

– Может, хочешь и заплыв устроить? – прищурился Грибок и отправился к воде, на ходу сбрасывая костюм и галстук. Оставшись в плавках, он бросился в карибские волны. Вадим понуро поплёлся за ним. Он уже был не рад, что ввязался в это дурацкое соревнование. Возле воды он разделся до семейных трусов и обречённо полез в волны.

– Да перестаньте вы! – одёрнула их Таня. – Что вы как пацаны?! Пить меньше надо! Лучше подумайте, что делать с нашим горе-женихом. Идёмте-ка заберём его, если его полиция ещё не забрала.

– А если заберут нас? – попытался остановить их тут же выскочивший из воды Вадим. – Мы же разбили им посуду, поломали стулья.

– Ничего-ничего – я возмещу все убытки! – великодушно пообещал Грибок, натягивая на мокрое туловище свой белый костюм «от Валентино».

Удивительное дело: в ресторане даже следа потасовки не осталось. Всё сияло прежней величавой чистотой и порядком. Если бы сейчас Вадим был один, он бы решил, что ему приснилась и та драка, и это соревнование с неутомимым Дедом. Но – увы. Присутствие самих участников действия неопровержимо доказывало – всё это было...

– Пердонаме пор фавор, – по-испански обратился Грибок к метрдотелю. – Мы у вас тут немного накурлесили, я хотел бы возместить убытки и узнать о том сеньоре, который был с нами.

– О, не стоит беспокоиться, – лучезарно улыбаясь, ответил метрдотель на чистом английском. – Всех убытков – это всего-то три разбитые тарелки и корзинка булочек. Пустяки! А друга Вашего арестовали, да-да! Нет, сеньор, не за драку: менеджер «Касы Пикассы» сказал, что Ваш друг ворвался в чужой свадебный съют и укусил чужую невесту...

– Укусил чужую невесту? – остоленело повторила Таня. – Так и где он сейчас, куда тут у вас увозят арестованных?

– В Канкун, сеньора! В городскую тюрьму штата. Но последний паром на Канкун отбыл пару минут назад, а следующий будет только завтра утром. Хотя и завтра я ехать не советую – начинается уик-энд, даже при самом лучшем раскладе вашего друга выпустят только в понедельник.

– Вот так дела! – присвистнул Грибок, всё-таки кладя перед метрдотелем столонларовую купюру. – Ну что, завтра начну звонить по инстанциям. И давайте найдём Анну – где-то же она есть.

Именно «где-то» она и была: когда Фима только ещё открывал дверь в свадебную часовню, Аня уже подлетала к Каймановым островам. По мере снижения её самолёта бескрайняя Карибская гладь цвета перламутра превращалась в быстро стужавшийся ультрамарин...

В Джоржтаунском аэропорту Аню встретила Машка – их с Фимой дочь.

– А вот это посмотри! – смеясь, включила она в машине видео скачущего на метле Анхело Мартинеса с бегущим за ним Фимочкой. Видео снял на мобильник Машин друг – один из пляжников – и переслал ей.

Аня поднесла мобильник к глазам и рассмеялась. Всё это она пропустила: за полтора часа до бракосочетания, когда она будто бы пошла в свой номер «прихорашиваться», а Фима и Вадим начали опустошать мини-бар, Аня вызвала такси и, собрав свои и Фимины вещи, отказалась от номера и уехала в аэропорт. Под венец вместо неё на самом деле пошёл парень с похожей фигурой – Анхело, хотя никаким геем он не был. Разрешение на брак было оформлено заранее, а дальнейшие действия были оговорены с работником часовни – отцом Анхело. В результате сын получал канадскую «грин-карту» и кое-что ещё.

Видео с погоней на пляже действительно было очень занятное. Но занятнее всего было то, что в понедельник утром Аня с Машей обналичат все деньги с Фиминых счетов. Трюк с кунгурским золотом нужен был только для того, чтобы получить доступ к номерам этих счетов. Когда в Далласе они вчетвером только садились в самолёт на Канкун, Аня незаметно спрятала себе в сумку Фимин мобильник, чтобы банки не оповестили его о трансфере, инициированном Машкой в две ближайшие к Канкуну оффшорные зоны – Белиз и Каймановы острова.

Они долго выбирали место для этого броска. Анина «свадьба-реваниш» должна была состояться не в



Фиминой Канаде, и не в Аниных Штатах – в обеих странах чересчур силён закон, не развернуться. Нет, нужна страна «третьего мира», желательнее тропический курорт – что отвлекает само по себе. Для особой пикантности «реванша», на требуемом курорте должны быть узаконены однополые браки, и он должен быть недалеко от одной из оффшорных зон, чтобы мама с дочкой успели обналчить Фимины деньги. Идеальный вариант – оффшорные зоны Карибского бассейна. Однако на большинстве карибских курортов, например, на Багамах, однополые браки запрещены. Так выбор сам собой пал на мексиканский Канкун: их легализовали там совсем недавно и островной отель «Каса Пикассо» вмиг стал самым знаменитым в Мексике центром однополых свадеб. К тому же, расположен он всего в часе полёта от целой гряды карибских оффшоров.

«Брачующиеся» прибыли на Остров Женщин в четверг вечером – и с этого времени мистер Сахарян оказался отрезан от мира: по крайней мере, от интернета и телефонной связи – в номерах «Каса Пикассо» не было ни телевизоров, ни телефонов, а на всём острове – и интернета. Трансферы начались в четверг и должны были пройти до вечера понедельника. До этого же времени Фимин «молодой супруг» Анхело Мартинес, получивший именно как «супруг» право на Фимины собственность, должен был начать продажу его недвижимости – как раз до времени, когда Фиму могли теоретически освободить из тюрьмы.

Но лишь теоретически, потому что укушенная Фимой толстуха была не только Машинной подругой, но и дочерью мэра Далласа и собиралась требовать с Фимы такую компенсацию, что ему пришлось бы опустошить собственный оффшорный счёт, к которому Аня доступа в данный момент не имела.

Вот таким образом пермячка Аня получила алименты, которые Фима задолжал им с Машей за восемнадцать лет её жизни. Всё-таки, от судьбы не уйдёшь, и от рока тоже.

А Таня, как и нефтяной магнат мистер Строчкофф, как и все остальные, сами того не зная, послужили лишь пешками в Аниной реваншистской игре. Рок!

ОЛЕГ ШВАРЦ

ОДЕССА рассказ

В Горсаду есть беседка круглой формы. Она напоминает миниатюрную карусель из парка. Зарботает она или нет, медленно закружит или понесётся ввысь, зависело от моего воображения. Зимний воздух был стиснут между предметами, не пытаясь их раздвинуть и прогуляться по городу. Мы поднялись в беседку. Она была пуста. Я облокотился на решётку и стал смотреть куда-то в листву деревьев. Мой мозг превратился в клацающий фотоаппарат, снимающий один за другим расплывчатые, мутноватые кадры. Они откладывались в памяти, как в альбоме, из которого потом странным образом исчезают фотографии, а некоторые страницы слипаются в одну. Голова начинала болеть. Возле лотков, где продавались книги, одежда, бижутерия и ещё полмира, толпились всевозможные личности, занятие которых, казалось, заключалось в том, чтобы просто находиться здесь, стоять, озираться по сторонам, положить руки в карманы, немного покручиваться, поправлять воротник, закуривать и, широко расставив ноги и воткнув свой взгляд вроде во всех и одновременно в никого, продолжать стоять. При всём их хулиганистом виде они не трогали продавцов и почти не разговаривали между собой. У многих из них я увидел некий смехок в глазах, словно эти ребята насмеялись над кем-то или ожидали потешного зрелища, чего-то весёлого, шутовского, не вполне приличного, но не такого, где можно от души посмеяться и отдохнуть, а такого, над чем можно посмеяться, подтрунить, а значит отдохнуть. Это могло быть чем-то вроде появления пошловатого клоуна с красным носом и огромными резиновыми галошами, который одним жестом с человека снимает штаны и тычет в него неестественно большим пальцем, заливаясь при этом идиотским смехом, или нагих гимнасток, на самом деле одетых в обтягивающие костюмы, подчёркивающие наготу, извивающихся, переплетающихся и сцепляющихся друг с другом в такой змеиный комок тел, что вряд ли поймёшь, какая часть тела кому принадлежит. Личностям, скопившимся возле лотков, не надо куда спешить, – впереди прорва времени, а горсад – это единственное место, где вообще можно быть. Шлёпанцы, короткие свисающие штаны, футболка навыпуск, иногда небрежно брошенная куртка были чем-то вроде униформы. Многие из них были подвыпившими, а в глазах стояла непреодолимая тоска, поднимающаяся к почти неподвижным подмёрзшим веткам высоких и старых деревьев. У одного вообще глаза были налиты такой животной злобой, словно этот человек неистово искал в толпе того, кто его сильно и дерзко обидел. Это была пьяная ярость просто так, бешеный поиск раздора и ложной самозащиты неизвестно перед кем и во имя чего. Я отвернулся от всего этого и посмотрел куда-то в глубь улиц, стараясь улететь отсюда.

Ох, и снег в этом году, ну и снег. И тихо так, ни звука, ни души. Иногда снег в Одессе тает, превращаясь в хлюпающую прослойку под ногами, которая тут же становится грязновато-жёлтой, чвакающей, к ней примешивается солнце, и хотя нос ещё горит остроконечным кусочком льда, шея уже начинает потеть и чувствовать закрученные иголки назойливого жаркого шарфика. Бывает, снег вырастает у бордюров горными сугробами с отпечатками подошв перебегающих улицу пешеходов. По отпечаткам можно заметить, какие разные по габариту, росту и темпераменту люди вдавливают ногу в хрустящий снег, пропуская идущий транспорт, а потом представить, как они перебегают улицу, словно переходят через границу. Белый, пуховый, воздушный снежок, который крупными шарообразными комочками медленно спускается, как зависающий парашютист, плавно присоединяясь к сугробу и на глазах увеличивая его, – для Одессы редкость. Колочие снежинки, больно бьющие по щекам и летящие навстречу, как поток саранчи, похожие на погодное оружие, – обычное дело для одесской зимы. Встречаются ещё спускающиеся на нитях, быстро растворяющиеся в воздухе, будто сахар в горячем чае. Такие снежинки похожи на живые существа, которые прекрасны в своём падении. Вряд ли им хочется таять. Им хочется



летать. Но сегодня снег молчаливый, одинокий, на редкость щедрый. Сугробы стоят, как напоминание о чём-то, но мне они внушают спокойствие своими гладкими белыми формами.

В беседе мы были не одни. Две девушки сидели на скамейке, как раз напротив нас. Одна из них без конца поправляла свою шапку и едва заметно притаптывала носочком ноги тонкий снежный настил. Девушки ни о чём не говорили, да и мы тоже, боясь нарушить это южное зимнее безмолвие. Почему мы тогда не заговорили с ними? Какая огромная сила, похожая на страсть изобретения чего-то нового и безумно интересного, несла и толкала нас подойти к ним и познакомиться, и какая глупая сила прижимала нас к этой чёртовой скамейке? Хотелось выглядеть таким броским, хлестким, красивым парнем со жгучим взглядом. Такой парень знает, что делает, и не сомневается в этом. В его глазах бьётся мысль и нет ни капли трусости. Очень хотелось почувствовать на себе женский взгляд начинающегося вариться желания.

– Она улыбнулась, – сказал Серёга, вытягивая ноги и втягивая руки в рукава длинного пальто, похожего по покрою на солдатскую шинель.

– Когда? – дыхнул я густым паром на Серёгу, почти не услышав своего голоса.

– Вот видишь, она думает о нас?

– Откуда ты знаешь?

Мой голос становился тише сам по себе. На этот раз Серёга дыхнул на меня горячим паром откуда-то снизу, с уровня вытянутых ног, засунутых в карманы рук и съехавшей набекрень шапки.

– Губки, губки класс.

Девушка снова поправила шапку. По-моему, она услышала нас и улыбнулась. Но чёрт подери, я не увидел, что эта улыбка, – отражение её помыслов о нашем присутствии или предвкушение чего-то. Я увидел, что она смотрит куда-то в сторону улицы, думает о своём, а мы для неё просто ненужный товар, который непонятно для чего здесь лежит. Я поднял воротник и вытянул ноги, точно как Серёга. Одинокие машины, похожие на сугробы, напрягали моторы по ту сторону баррикад. Голубь сел на перила решётки и тут же улетел, чуть не ударившись о крышу. Старушка, кашляя и поправляя воротник, шла с покупками по только что выстланному белому ковру. Было жалко смотреть, как её следы портят такую красоту и нежность.

Как-то мы с Серёгой случайно встретились в кинотеатре «Фрунзе». И он и я казнили уроки, только каждый сам по себе. В кинотеатре было почти пусто. Неяркий свет настенных лампочек успокаивал меня. Я любил этот кинотеатр, но не за это, а за то, что он меня принимал. Уже подходил к концу журнал, и вдруг Серёга, классическим жестом перебрасывая пальто с одной руки на другую, начинает усаживаться прямо передо мной. Я пнул его рукой в спину и не смог удержаться от смеха. Серёга пересел ко мне. На утренние сеансы в будние дни ходило не так много народу.

– Не думал тебя тут увидеть. Тоже в бегах? – спросил он.

Фильм начался громкой музыкой, похожей на вальс.

Мы вышли из кинотеатра. За время сеанса прошёл дождь. Мы бодро шагали куда-то к бульвару, к морю, но точно сами не знали куда.

– Подожди, надо куда-то деть портфель, – сказал Серёга.

– Куда?

– Не знаю, куда-нибудь засунуть. Не хочу, чтоб меня видели с ним, будто я казённо уроки.

Серёга стал вглядываться в дома, которые плотно примыкали друг к другу.

– Ты хочешь просто... А если его кто-нибудь найдёт?

– Не найдёт. Да пусть находит! Скажу, что потерял!

– Цельный портфель?

– Ага. В троллейбусе забыл.

Через пару домов Серёга заметил небольшую щель между домами. Он с трудом просунул туда портфель и задвинул его ногой подальше.

– Потом заберу, – сказал он. – Хочешь свой оставить?

– Нет.

– Зря. Тебе весь день с ним таскаться.

Мы спускались по лестнице, ведущей к знаменитому портклубу. Опрокинутые окна пробегали по лужам, соревнуясь с солнечными бликами. Это было утро где-то в начале мая. Воздух был неповторимо свежим и солнечным. Он напоминал счастливого пляжника, выбежавшего из воды, который блестит на солнце, как само море. Он часто дышит и не хочет вытираться. Солнце высушит его лучше любого полотенца. Мокрый песок прилип к ступням, струйки воды текут по телу. Он улыбается, сам не зная по-



чему. Смотрит по сторонам, уставив руки в бока, прыгает на одной ноге и хлопает себя по уху, выбивая воду. Море сделало его счастливым, жалко, что только на время, пока вода струится по его телу и море не отпускает от себя.

– Какой смысл ходить в школу, – сказал я, – остался всего один месяц.

Серёга молчал. Его глаза блеснули этим весёлым днём, который мы сами себе подарили. Мы приближались к Морскому вокзалу. День дышал недавним дождём и искрил всякое преломление света длинными и короткими лучами в зависимости от прищура моих глаз. Я играл солнечным светом и сам преломлял его, растягивая и сжимая. Свет пробежал рыжей кошкой по карнизу, соскочил на пряжку портфеля и ослепил на мгновение мои глаза.

Корабли в Одессе всегда стояли на рейде где-то на горизонте длинным рядом ожидания. Порт не успевал разгружать их и платил за каждый день простоя в валюте, а они ждали неподвижными миражами. Они были частью пейзажа, частью моря и волн, неба и облаков, которые иногда неподвижно висели над водой, дорисовывая к кораблям паруса. Я любил гулять в парке рано утром, смотреть на корабли. Они стояли где-то очень далеко от берега в протяжном мутноватом тумане, которого не было на берегу. Он плыл только там, на рейде, словно его тоже не пускали в порт. Он был где-то там, он звал и, казалось, сам рождал густой и низкий гул кораблей. Из каких они стран? Кто эти моряки? Они смотрят на наш берег, видят скалы и крыши домов, возможно, улавливая тот самый свет, который только что пробежал по карнизу и соскочил на пряжку моего портфеля. Когда не будет ни этой страны, ни нас, – кто-то будет вот так же смотреть на этот берег. И такой же солнечный свет пробежит по склонам и карнизам неведомых мне домов и крыш. И кто-то придёт на пляж тем же утром, окунётся в прохладное море, которое не помнит ни меня, ни долгих гудков, ни прибрежных улиц. Он ничего не будет знать о нас, о том, как мы прогуляли эту дурацкую школу, шли по лестнице к Морскому вокзалу, смотрели на корабли, и как по мокрому асфальту бежали солнечные зайчики оконных отражений.

– Он ничего не будет знать о нас, – неожиданно сказал я вслух.

– Кто не будет знать о нас? Будешь? – Серёга достал из кармана длинную пачку «Явы 100» и сорвал хрустящую обёртку.

Я потянулся к пачке и двумя пальцами пытался вытянуть оттуда сигарету. Я курил очень мало и только за компанню. Серёга чиркнул по коробку и сложил ладони лодочкой, чтобы не дать погаснуть огоньку, который чувствовал себя уютно и гордо горел все недолгие мгновенья своей жизни, подсвечивая Серёгины ладони изумрудным светом. Серёга не любил зажигалок. Он пользовался только спичками, которые можно было найти то в карманах брюк, то в пальто, то в его любимом джинсовом куртяке, поэтому при стирке спичечные коробки благополучно выстирывались вместе с вещами. Он всегда говорил «куртяк». Слово «куртка» я от него никогда не слышал.

Серёга подкурил. Повернувшись ко мне и прищурив глаз, он стал жадно раскуривать сигарету.

– Ты про кого-то говорил? – спросил он.

– Да так, про будущее. Кто будет жить здесь через две тысячи лет?

– Если, конечно, они смогут пройти, эти две тысячи лет.

– А чего это им не пройти?

Я выдохнул сигаретный дым и взял портфель в другую руку.

– Кто знает?

– Интересно, кто будут эти люди, о чём будут говорить?

– Точно не о нас.

Серёга поставил ногу на бордюр и стал завязывать развязавшийся шнурок. Он вдыхал и выдыхал дым, не вынимая сигарету изо рта. Вообще-то он был прав. Кто вспомнит о нас?

– А Есенина вспомнят?

Я сам не ожидал своего вопроса. Серёга подошёл ко мне вплотную.

– Есенина вспомнят, потому что там есть боль. А боль – это правда. Он ничего не утаил. Как чувствовал – так и писал.

На уроках литературы нас учили выживать образы из произведений. Порой толком и книгу-то не успеваешь прочесть, а уже пишем сочинение в классе – образ героя. Что это был за человек, чем жил? Находим в книге: «...на нём был камзол светло-коричневого цвета с засаленными рукавами и оттопыренными карманами. С людьми он был груб, неучтив, а при покупке всегда торговался». Ага, значит, был неопрятным и жадным. И самый дурацкий вопрос – какова его роль в этом произведении? Вообще, это развивало детективные способности.



Серёге нравилась деревенская ширь, грусть и безвозвратность есенинских стихов. Он мог в них уходить, мечтать, словно это был мир, который его принимал и помогал успокоиться. Если бы Серёга мог, он бы не возвращался оттуда, и вовсе бы не знал мир людей. Он скорее жил бы там, где честнее, где печаль дрожит, как капли дождя на ветвях, где можно набраться мудрости и сил. Серёгина душа, конечно, жила там, и я это видел и ощущал. Однажды, на уроке литературы, Серёга заразил меня этим, когда читал не то, что мы изучали, а то, что было ему по душе. Книга лежала прямо перед ним на парте, хотя Есенина мы ещё не проходили. «Читай», – услышал я шёпот. Он подвинул ко мне книгу. Я покосился на учительницу. Она что-то читала, держа длинную папку перед собой. Она заменяла нашу болеющую Веронику, к которой нежные ученические чувства я никогда не питал. Она была глупа, вечно смотрела из-под очков и когда была чем-то недовольна в разговоре с учеником, смеривала его сверху вниз недоверчивым взглядом.

Серёга жил в подвале. Форточки его затонувших окон плыли по взбухшему асфальту. До революции, наверно, это было какое-нибудь складское помещение. Но Серёга там жил, – такое уж помещение им досталось, когда они переехали в Одессу из деревни. Мы сбегали по ступенькам вниз, как два морячка живо спускаются в винный погреб солнечным днём где-нибудь в греческом порту. Эти ступеньки можно было назвать ступеньками опрокинутого крыльца. Входная дверь упиралась в засаленную кухню, где ощущение сырости было побеждено навсегда. Когда бы я не приходил, на кухне постоянно что-то варилось, жарилось, пеклось, трещало, хлопало, булькало, пригорало, искрилось и жгло невероятно острым сочным запахом. Этот запах вонзался в нос, как заноза и пёк нёбо. Это был нескончаемый поток смеси душистостей, пряностей и горелостей, который испепелял все остальные запахи в доме. Казалось, этот запах создаёт полупрозрачную белесую плёнку тумана, который висит в кухне и плавно рассеивается по дороге в комнату. Глаза всегда были затянуты им, словно гарью удушливого костра. Эта атмосфера заходила под кожу и впивалась в кровь так, что ты сам становился частью этого не всегда аппетитного удушья, медленно расхаживая по ковру в носках и дискутируя о Ветхом и Новом Завете. Чайник белел одиноким раздувающимся парусом среди тряпок и кастрюль, удивляя своей пузатой нежностью. Мне всегда нравилось, когда Серёга брал его с плиты, наливал чай и, никогда не посмотрев назад, безошибочно ставил чайник на место. Справа от кухни была единственная в квартире жилая комната, в которой Серёга жил с мамой, папой и маленьким братом. Но какой там висел ковёр! Когда я сидел на диване, я купал свою голову в этой мягкости и нежности. Таких ковров я не видел никогда. Он был бордового цвета с узорами каких-то фантастических цветов. Яркие жёлтые сочные нити горели, и казалось, это они освещают комнату. На полу тоже был ковёр, а кухня сплошь была покрыта половичками и дорожками. Серёгина мама всегда заставляла нас снимать обувь, и поэтому при быстром передвижении мы скользили в носках на половичках и дорожках, хватаясь за первый попавшийся предмет, чтобы не упасть. Так на полу оказывались то вилки, то крышки от кастрюль, то миски с винегретами.

Начались весенние каникулы, и в первый же день я сидел у Серёги на диване и слушал музыку. Бобины старого магнитофона крутились передо мной, а огромные наушники вливали в меня музыку. Челентано! Со всей стойкостью голоса и мужского пения, со всей смелостью и бесшабашностью, со всем авантюризмом и уникальной сочностью тембра, в этом голосе была какая-то нацеленная печаль, как стрела, которая готова вылететь и опередить все выпущенные до неё стрелы. Она не пыталась меня поразить и не пыталась ничем заразить. Она просто приносила льющуюся музыку солнца, влюблённого в маленькую итальянскую улицу, голосом бедного молодого человека, который ищет свою любовь.

Виталик неожиданно влетел в комнату с каким-то пластмассовым мечом и стал им бешено размахивать. Серёга схватил карандаш со стола и стал изображать битву со своим младшим братом, который необузданно оборонялся, пытаясь всем показать, что он зол и беспощаден. Потом он почему-то переключился на меня. Пришлось снять наушники. И только сейчас я услышал, что Виталик рьяно орёт и пищит. Я отбивался руками, и этот детский меч несколько раз хлестко ошпарил мне руку. Виталик прыгал, как недоумок. Конечно, ему пять лет, но откуда столько злобы?

– Эй, это уже не игра, – сказал я.

Серёга схватил Виталика и завертел его по комнате. Виталик лежал на Серёгиных руках и продолжал орать и размахивать своим мечом.

– Отпусти! – кричал он.

– Я тебя сейчас выкину в окно, – кричал Серёга.

– А-аа.

Виталик брыкался, извивался, чмякал ртом и делал вид, что хочет оплевать всё вокруг. Я попытался его схватить, чтоб утихомирить, но он вырвался из рук и впечатался в стену головой рядом с ковром, как футболист, не попавший в створ ворот. Глухой удар эхом отозвался по подвалу.



– Это он так головой ударился? – испугано спросила влетевшая в комнату мама.

– Нет, – сказал Серёга. – Это я кулаком. Случайно. Надо купить боксёрские перчатки.

– Да, ещё бокса мне тут не хватало.

Мы вышли с Серёгой на улицу. Каштаны прятали нас от солнца, как огромные зонтики, слегка покачивающиеся от слабого бриза. Я чувствовал запах морских водорослей, хотя до моря было около километра.

– Так! – сказал Серёга. – Протяжный гул ответил ему. – Сухогруз, – кивнул он.

– Ты их различаешь? – удивился я.

– Когда мы приехали в Одессу, я любил ходить в парк, смотреть на море, на корабли. Часто трудно было разглядеть и понять, откуда пришло судно. Я их считал и придумывал, откуда пришёл корабль. А знаешь, я снова теперь буду бегать к морю каждый день.

– Да?

В моём вопросе не было вопросительного знака, хоть это и был вопрос.

– Кто этого не делает, – тот много теряет и наверняка уже потерял.

Слабые сумерки коснулись нас, как внезапный туман. Мы простились с Серёгой, обнявшись. Казалось, мы прощаемся навеки. Когда-нибудь этот миг настанет, хотя, может быть, мы его не узнаем и не поймём. Скольких людей в жизни я знал, сколько раз я прощался с кем-то до следующей встречи или даже до завтра, чтобы не встретиться больше никогда! Сколько людей пронеслось вихрем, мы хлопали друг друга по плечу, а потом я вспоминал о них неожиданно, где-то стоя на пирсе и разговаривая с рыбаком, или ставя чайник на плиту, когда ко мне в дверь звонили гости. Я открываю гостям, улыбаюсь, а думаю о далёком человеке из той полузабытой поры начала восьмидесятых. Мы встречаем Новый год, чокаемся, я помню, как щипнуло язык горькое пузырчатое шампанское, как он считал секунды и смотрел на куранты, сияющие с экрана телевизора, а потом что-то весело кричал и рассказывал анекдот. А я не помню ни анекдота, ни квартиру, где мы собирались, ни толком его самого. Какой это был точно год и какие люди были вокруг? Но я запомнил его смех, и басистый говор, и как он рассказывал анекдот, и думаю об этом человеке в тот самый миг, когда провожаю гостей в гостиную и задаю им дурацкие вопросы о погоде. Что это был за человек, где он сейчас? Я бы, наверно, его не узнал, даже если бы перенёсся на много лет назад, в тот самый вечер тридцать первого декабря! Скольких людей, которые меня ещё помнят по сей день, я забыл, сколько людей забыли меня, а я ещё вижу во сне какого-то парнишку из начальной школы, как мы толкнули вместе школьные тяжёлые двери, будто ворота замка, и вышли в солнечный день, такой увесистый, послешкольный, немного пыльный, грубоватый, но безумно ласковый, подмигивающий нам, когда мы щурились глаза от ярких лучей. Этот парень рассказывал про какие-то яхты в Крыму, соревнования, ночи у костров, острова и какой его брат силач, и как он умеет управлять лодками и яхтами. В этом не было хвастовства. Его несло, и он летал в этом воздушном море где-то поверх тротуара и пел взмахом о том, о чём ему так хотелось петь, и размахивал портфелем, и бежал впереди меня, и я представлял себя на яхте в открытом море, где берег вот-вот скроется из глаз, и крики чаек пронзительны и беспристрастны, как гудки кораблей.

Я шёл домой, и время казалось чище и лучше, эти секунды поспешного взгляда в пасмурное небо, эти вспорхнувшие голуби внезапным треском крыльев меняли время, растягивая его положительную составляющую. Как порой ужасно долго тянулись минуты в школе, особенно на физкультуре, когда хотелось дать в рогочущую садистскую рожу, подставившую тебе ножку просто так, забавы ради. Там время шло со знаком минус. И этот минус был огромен.

Троллейбус подошёл, едва я оказался у остановки. Через минуту деревья летели за окном, словно их кто-то отбрасывал назад, подсчитывал и складывал где-то там, в пост-троллейбусном пространстве, уходящем для меня навсегда.

На самом деле я давно уже ходил к морю. Море знало меня, я знал море. Я его любил и не боялся ни чёрных застывающих волн, ни грохота, ни грозных одиноких скал. Один раз я испугался, когда быстро сплывшийся вечер вдруг ударил меня внезапной таинственностью прибой. Я был один на берегу и гвалт моря показался мне тогда страшным и диким, а море – ужасным чудовищем. Но это было всего один только раз. Подбежав к фонарю у начала набережной, я почувствовал облегчение, а страх испарился, как не бывало.

Мне было интересно доставать свою тетрадку у моря и писать. Солнце играло со мной, лучи бегали по листкам и ручке, словно дети, которые хотели со мной поиграть. В этот день я долго смотрел в море. Раскрытая тетрадь лежала у меня на коленях. Я перебирал песок ногой, голоса на берегу для меня сливались в ещё один прибой, который раскачивался медленными качелями где-то надо мной и передо мной, где-то в воздухе живущего спелого дня.



«Синяя планета». Я подчеркнул название чертой.

– Вот это номер. Ха-ха-ха-ха-хааа-ооо... – голос Серёги слетел откуда-то сверху и прокатился эхом по пляжу. Я хлопнул по тетради, чтобы закрыть её. – Что ты тут делаешь?

Серёга бегом спускался по бетонной лестнице, ведущей с набережной и упиравшейся прямо в песок. Не добежав добрых пять ступенек, он прыгнул и налетел на меня, сильно толкнув руками, да так, что я выронил тетрадь и чуть не упал. Серёга широко улыбался. Его рубашка была застёгнута только на несколько нижних пуговиц.

– Что ты тут делаешь? Ха-ха-ха-а-а-аа.

Он не спрашивал, он раскатисто смеялся, как будто не умел разговаривать без смеха. Я поднял тетрадь и отряхнул её от песка.

– Ничего, – сказал я. Мой кулак быстро пронёсся мимо Серёгина носа, имитируя боксёрский удар. Затем я слегка толкнул его и тоже стал смеяться, заражённый этим пушечным смехом.

– Ты давно здесь? Вот так встреча! – неистовствовал он.

– Да-а, – протянул я. – Тогда в кинотеатре, сейчас – здесь. Ещё одна случайная встреча и можно сказать, что нас stalkивают специально.

– А мы что, никто? – Его брови изогнулись. – Мы что сами себя столкнуть не можем? Ты давно здесь?

Серёга начал стягивать с себя рубашку, подойдя к топчану.

– А сколько сейчас времени? – ответил я вопросом на вопрос.

– Часов восемь, наверно. Будешь купаться?

– Холодно... (я поднял плечи), да и плавков у меня нет.

– А трусы что, не плавки? Тут народу столько, сколько на необитаемом острове. Я, например, давно считаю себя чемпионом этого пляжа по плаванию: когда не приду, – тут почти никого.

– Приди в одиннадцать, – встретишься с прожектором пограничника.

– А если в двенадцать?

– Тогда с хулиганами и прожектором.

– А в два часа ночи?

– Ну, тогда с русалкой.

– А это интересно.

Серёга разбежался и прыгнул в воду. Мне показалось, что в море упал, как минимум, слон.

– Акул распугаешь, – сказал я, бороздя песок большим пальцем ноги.

– Давай! – Серёга махнул мне рукой. Он стоял по грудь в воде. – Самый класс!

Я быстро разделся, плеснул на себя водой и с криком ринулся наперекор прибою. Серёга уплывал от меня, поворачивался на спину и улыбался. Он чувствовал свободу и сам себе её дарил. Он не расставался с ней, даже когда жизнь заставляла его делать то, что он не хотел. Он как будто знал, что после какого-нибудь докучного дела, он обязательно побежит по набережной, прыгнет в синюю морскую пену, широко улыбнётся, будет плыть на спине и ловить взглядом первые вечерние звёзды. Свобода была для него другом, которого он уважал и любил, и поэтому ему было интересно с ней. Ему казалось, что именно в свободе, когда ты бежишь по склонам к морю, когда воздух так свеж, что хочется дышать не переставая, когда май на дворе, который так любим, – и начинается та заря, которая заставляет тебя летать, забывая о том, о чём не хочется думать.

Мы плавали, болтали и не заметили, как налетела ночь и зажглись фонари на набережной, не одновременно, а один за другим, будто один фонарь передавал эстафету электрического света другому.

– Ты смотри, цветомузыка какая-то. – Серёга прыгал то на одной, то на другой ноге, вытряхивая воду из ушей ударом ладони. – А ты чего не прыгаешь? – продолжал он, – никогда не пользуйся этими пакостными спичками с ватой. Стремись к естественному ходу вещей. – Он снова засмеялся. – Каникулы уже висят солнцем в нашем дворе. А? – сказал он и сам удивился поэтичности своей фразы.

Мы поднялись по лестнице наверх. Оба в джинсах, за которые были отданы огромные деньги, и оба в расстёгнутых рубашках навывпуск.

Совершенно неумолимо солнце светило в моё окно. В окне горел кактус, насыщаясь зелёным горением и протягивая мне колючки, как лепестки. Он знал меня и потому никогда не пытался уколоть. А может, я просто был осторожен и всегда бережно прикасался к нему? Кто из нас знал истину?

– Петя тебе звонил. – Бабушка вошла в комнату, складывая полотенце.

– Так рано он ещё спит, – ответил я.



– Значит, его разбудили.

Я пошёл ставить чайник. Наш длиннющий коридор был узким скрипучим мостом, тянущимся к кухне. По дороге можно было обнаружить двери в комнаты соседей по коммунальной квартире. Эти люди плыли с нами на одном корабле. От быстрого перемещения по коридору иногда могло качнуть в сторону. Я всегда старался запастись кусочком колбаски из нашего холодильника для соседской собачки, – вздорного маленького пинчера со вспыльчивым характером. Я знал, что он где-то здесь, слышит, как я иду, чувствует мои шаги. Часто он гоняет, как угорелый, по коридору, ускоряя свой бег. Когда я быстро шёл, мне всегда казалось, что коридор тоже быстро идёт, вровень со мной, летит, как подвесной поезд в светло-голубом небе Токио, задевая облака комнат и уносясь в другие миры. Мы живём на оборудованной орбитальной станции со средствами связи, телевизором и даже миниатюрной танцплощадкой, а кухня – это настолько другая планета, что даже приготовленная там пицца в нашей комнате выглядит как-то иначе. Как особенно дымитесь сейчас бабушкин омлет, как вьётся пар, поднимаясь и сужаясь в струю узкого дымка от папиросы! Как по-особенному накаляется в этот момент наша комната! Как сочный запах омлета и вкус заваренного чая расширяют предметы. И шкаф становится выпуклее и толще, и стол становится необъятней и шире, и воздух становится гуще.

– Не пойму я этого Петю, – сказала бабушка, размешивая чай. – Какой-то он быстрый, неосторожный, как пиджак, внезапно упавший с вешалки.

– Мы просто дружим, и я чувствую его искренность, его желание меня выслушать. Мы учимся друг у друга, и его благодарность не прилетает из будущего. Она не имеет времени на обдумывание. Он выражает её сейчас, а если ему что-то не нравится, он говорит об этом без гнева, без вкрадчивого звериного таинства и слепого огня.

– Ну, в дружбе-то ничего плохого нет.

– Да, он такой, какой он есть, я тоже себя не приукрашиваю.

– Только у него есть вещи, чему тебе не стоит учиться.

Петя, Петя, если бы ты знал, чему мне не стоит у тебя учиться! Ты запомнил на всю жизнь, как маленькая Катя назвала тебя «человеком с маленькой буквой», а с другой Катей ты трясся сорок минут в раздолбанном полуржавом трамвае, напоминающем аттракцион «Землетрясение 1876 года, произошедшее в нашем городе», не для того чтобы, как ты обещал, покатать её потом на катере, а сначала послушать тихую музыку прямо у прибой великолепного пляжа «Дача Ковалевского», хотя и это тоже, а для того, чтобы ощутить её дыхание, коснуться ресницами её ресниц, услышать смех, оглушительный и наивный, прижаться к ней на все эти сорок минут клочкотания трамвайного вулкана, сжимать её голое плечо, выпорхнувшее из летнего платья, словно птичка на волю, такую новую, непонятную и загадочную! Конечно, ты запомнил на всю жизнь те наши дни и то, что происходило с нами, те сны и мечты, которые витали вокруг нас, жили в нас и вне нас, всё, что нас несло, омывало волнами, обдувало ветрами, прикасалось к нам, и поэтому будет неутолимым счастьем через много лет прилечь в тени наклонившегося дерева где-нибудь в маленьком тихом лесу и услышать от тебя истории тех дней. Они живы в тебе молодом, потому что ты молод всегда. Ты растёшь, но юность не отпускает тебя, не даёт взрослеть, чтобы не утратить сочности казалось бы забытых фильмов.

Петя, Петя...

Телефон зазвонил как-то неожиданно. Я одёрнул себя: «Чёрт, бабушка умеет меня настроить».

– Привет, дорогой, – голос Пети завис в воздухе, а затем задышал частым дыханием. – Как насчёт знаменитого столба сегодня в семь?

Знаменитый столб отличался от других тем, что он был знаменит! Когда-то Петя указал на него рукой и сказал: «Всё! Завтра у знаменитого столба!». Где-то на углу Карла Маркса и Карла Либкнехта, где всегда шумно, где троллейбусы, которые иногда могут порхать, как бабочки, тяжеловесны, как гружёные мулы, и находился знаменитый столб. Он совершенно не был рекордсменом наших встреч. Я думаю, что мы вообще там редко встречались, но всё равно он был знаменит.

– О, – прозвучало откуда-то со стороны.

Петя, как всегда, падал с неба. Оказалось, он уже десять минут как пришёл и просто пробежался к кинотеатру посмотреть афиши.

– Вот эти джинсики, я понимаю. Это да! Это что, «Ли»?

Он начал разворачивать меня двумя руками, чтобы увидеть фирменную этикетку.

– Ли, ли, – сказал я. – Когда уже пойдут «Невезучие»?

– В следующую субботу. Ты ведь знаешь лучше меня.



- Между прочим в «Звёздном» фильм пойдёт уже завтра.
- Ну на посёлок Котовского я не поеду. Так мы за Серёгой?
- Да, попробуем его вытащить.
- Ты ему не звонил?
- Какое *звонил*? У него нет телефона.
- Ну что это за деревня?
- Не деревня, а подвал. Нет блата поставить телефон. Да и Серёге это лучше.
- Почему?
- Не будут доставать со школы, ни эта Вероника, ни Галина... Если что, есть телефон-автомат за углом.

Петя купил сигареты в гастрономе. Он спускался со ступенек и сплёвывал, поджав губы и слегка высовывая язык. При этом он немного поворачивал голову, что придавало ему приבלатнённый вид. Впечатление было такое, будто человек пытается выплюнуть какую-то мельчайшую крошку. Это было его своеобразным ответом на некоторые ситуации жизни.

Как-то мы ждали Катю возле её дома. После второй сигареты Петя стал отрывисто поглядывать на её окна.

– Сколько можно? – говорил он, доставая ещё одну сигарету из пачки. В окне на третьем этаже, где жила Катя, всё ещё горел свет. Петя нервно сплёвывал. При этом голова его поворачивалась вправо, а глаза смотрели в окно. – Бардак. У тебя часы есть?

– Есть. Полвосьмого.

– Уже полвосьмого?

– Ну это женщина! Ей нужно время, ей хочется показаться хрупкой, немного непонятной. Вот ты её ждёшь, и тут неясно, то ли ей действительно нужно это время, чтобы выглядеть красивее и элегантней, ну, ты понимаешь... чтобы понравиться тебе, или ей хочется, чтоб кто-то её просто ждал, там, у ворот, в широкополой чёрной шляпе, с легко пробежавшими морщинками на лбу и интригующей улыбкой. Наверно, ей не понравится тот, кто теревит ногой асфальт и сжимает в руках нелепый букетик. Пусть лучше это будет кто-нибудь другой, слегка грубоватый, без цветов, без кроличьего моргания и болтовни. В его глазах светится мысль и сила, и это её завораживает и тянет к нему всё больше и больше.

– Какое *больше*? – Петя поперхнулся сигаретным дымом. – Какие улыбки? Что она там делает? Женщина! Кто её вообще женщиной сделал?

А и вправду, я вспомнил, как Петя сам рассказывал, что когда они приезжали на дачу, он закрывал за собой дверь и со вздохом говорил: «Ну что, Катя, у нас очень мало времени». Какая в этих словах была певучесть, красота дачных загородных летящих домиков, улетающих далеко-далеко за трамвайные пути самой конечной из всех конечных остановок! Какая музыка мчалась по рельсам, когда Катя стояла рядом с Петей возле открытой форточки трамвая, и шелест деревьев заглушал трамвайный звон и вливал ветер, обдавая загорелые Катини щёки теплом загородного проспекта. Пётр залхватски высовывал голову, и ветер нещадно бил его, а шелест деревьев казался невозможно быстрым. Деревья летели, обрушивались с неба, втыкались в землю и, хлопая ветвями, с грохотом падали одно на другое вместе с трамвайной пылью и горячим воздухом.

– Дача – это лучшее, что у тебя есть, – говорил мне Петя, – лучший твой подарок, лучше, чем я сам.

Мы шли по направлению к горсаду. Серёга накидывал свой *куртяк* и, приглаживая волосы, шёл позади нас.

– Может бутылочку сухаря? – сказал я.

Через десять минут мы уже сидели на скамейке и передавали бутылку друг другу, словно красный эстафетный флажок. При этом вино в бутылке пенилось и напоминало салатную морскую воду у берега в рассветных лучах одесского пляжа. Вино было кислотоватым и покальвало язык. Солнечные лучи засвечивали его, словно фотоплёнку, отчего оно скисало на глазах и становилось непригодным, но мы его пили, будто не было в мире другого напитка. Какой-то бухарь с уважением и радостной улыбкой поглядывал на нас, как поклонник, неожиданно напоротившийся в городском саду на любимого артиста. Но мы уже выбросили бутылку в урну. Она была пуста. Вдруг позади скамейки послышался голос Адриано: «Прямо в Горсаду! Не в парке на тихой скамейке, скрытой ветвями от случайных прохожих, а здесь, на виду у всех, прямо так свободно, не стесняясь. И выбросили её тоже здесь. И что это...». Адриано нагнулся и стал брезгливо крутить бутылку, горлышко которой вылезало из урны, как голова ящерицы. Он словно закручивал гайку одной рукой, другую руку он держал в кармане, как деловитый горожанин.

– Я ему сейчас замантулю. – Ноздри у Серёги налились свинцовым ветром.



У меня тоже возникло такое желание, но Петя схватил Адриано за воротник и плюхнул его на скамейку. Он втиснулся между нами слёту, как пробка, забитая в бутылку ударом кулака.

– Между словами *ишачить* и *вишачить* огромная разница, – сострил Адриано невольно, видимо от неожиданности. – Ох... и локоть побил об твоё плечо, – бросил он куда-то между Серёгой и мной.

О Серёгин куртяк можно не только локоть побить. Это уж точно.

– Дурак ты, Петрович, – вырвалось у Адриано днскантом, – я же ударился.

Адриано потирал локоть и смотрел на Петра, как на пьяного соседа.

– Конечно, я дурак, – сказал Петя. В его глазах светилось полное согласие. – Мы пьём всякую гадость, а у тебя дома...

– Что у меня дома?

– Там есть такое, что может быть гордостью джентльмена. На любой вкус.

– Так может, угостишь? – глухо проскрипел Серёга.

– Там пару бутылок всего, и это отчима.

– А по мне хоть директора цирка.

– Заодно и футбол посмотрим, – сказал я и положил руку на плечо Адриано.

– Не дыши на меня бензином, – скороговоркой выпалил он и сбросил мою руку со своего плеча. –

Кто сегодня играет?

– А пёс его знает. Не важно. Может, и не играет никто, да и холодно становится, в квартире-то теплее, – сказал Петя.

У меня в голове вдруг стал прокручиваться давнишний телефонный разговор с Адриано. Когда он был, уже не вспомнить, но мы словно говорили по телефону сейчас, а наша встреча на скамейке в Горсаду уплывала из реальности. Просто кто-то макнул кисть в воду и стал водить ею по рисунку дня.

Я приложил руку к уху, будто моя рука была телефонной трубкой. Но я не слышал диалога между нами, я слышал только голос собеседника: «В квартире холодно, я просыпаюсь ночью и одеваю кофту. Сейчас вторые смены...». Голос Адриано звучал очень близко. И мне почему-то этот Адриано из телефонной трубки был ближе и понятней, чем тот, который сейчас сидел на скамейке рядом со мной и потирал ушибленный локоть. И эта холодная квартира становилась частью моего мира. Я вытягивал ноги, сидя в кресле, включал телевизор с помощью самодельного пульта и поднимал плечи, словно мне тоже было холодно. Так вот же он здесь! Чёрт возьми! Вот он сидит, а мне нужен не он, мне нужен тот, настоящий Адриано, возвращающийся домой со второй смены, открывающий охающую эхом в подъезде дверь маленькой однокомнатной квартиры, в которой его мать всегда ходит, развешивая бельё с вопросительным и заботливым выражением лица, где ноет форточка, словно молодой пёс на цепи. Тот Адриано, который лишь в полдвенадцатого ночи ест разогретое в кастрюле жаркое и пьёт горячий чай, забираясь под одеяло. Почему Адриано? Так его назвал лучезарный Лёша, который ходил в плотной светло-коричневой вельветовой куртке.

– За что я люблю свою куртку, – любил говорить он, – так это за кучерявую змейку, – чем как-то привёл в недоумение одну приезжую девушку, с которой случайно познакомился на пляже. Она, наверно, не слышала всего предложения и вскрикнула: «Ой! Какая змейка? Боже мой, какая? – Она прикладывала руку к груди, – почему кучерявая?»

Но кучерявая для нас означало стильная, модная, ну та, что добавляет смелости и эпатажа. Лёша смеялся и девушка брала его под руку и смеялась ему в ответ, так и не поняв, что же это за страшная змея такая, которая ещё и кучерявая вдобавок.

Но этот вечер был точно особенным. Скамейка вернулась к своим очертаниям, городской сад немного опустел. Мы спускались по ступенькам в сторону Пале-Рояля. Пётр захватываяще что-то рассказывал, показывая на дома, Адриано то кивал, то мотал головой из стороны в сторону, Серёга молча курил, постоянно стряхивая пепел.

«Я не по-онял!!!» – слетевший со ступенек крик продырявил мне голову.

Позади нас на самой вершине ступенчатой горы стоял Лёша в белых штанах и серебристой рубашке. Обут он был в невероятно яркие летние туфли того же серебристого цвета, что и рубашка. Туфли играли на солнце, ослепляя солнечными зайчиками зазевавшихся дам. Не хватало только аккуратного саквояжа с восемью миллионами рублей, и тогда Лёша смог бы стать воплощением всех хрустальных мечтаний детства Остапа Бендера о городе, где бухта, экспорт кофе, мулаты-миллионеры и все поголовно в белых штанах. Лёша улыбался серебристой, искрящейся таким беспешабным светом улыбкой, что, казалось, она сама была тоже в белых штанах. Он сбежал к нам, по дороге разводя руками и продолжая своё «Я не понял!»



Послышались бесконечные хлопки рукопожатий. Лёшина рука словно крутила огромный барабан, падая откуда-то сверху и рисуя в воздухе замысловатый полукруг. Так горный водопад, стекая по крутой изогнутой скале, набирает ход, его скорость растёт и растёт, и сейчас он как влетит своей клокочущей устрашающей рекой в стоящую на его пути стену и разобьётся об неё, будто его и не было вовсе. Расшибаясь о скалу, водопад издавал сильный хлопок, ладонь ударяла о ладонь и Лёшина улыбка уплывала в бесконечные миры других измерений. Я тоже попытался покрутить барабан, отчего удар получился очень сильным.

– Да, в таком виде сухарь пить как-то..., – протянул Серёга, разводя руками. Он артистично размазывал окурки по асфальту. – Только виски... ну разве что дорогой коньячок.

Голуби вспорхнули прямо над нами, словно не здесь, а где-то над вымощенной площадью перед старинной ратушей, и гул со стороны порта – это не голос судна, а бой часов из самого поднебесья, где к снежным облакам летят голуби, и уже десять часов, и сейчас послышится свист и дорогая упряжка с лошадьми пронесётся мимо с ветром и временем невпопад.

– Ты к нам присоединишься? – поинтересовался Пётр.

– Да..... а вы куда? – спросил Лёша, застигнутый врасплох таким вопросом.

– Так по бульвару прошвырнуться, – ответил Пётр и стал дуть в сигарету, точно это была папироса.

– А-а-а..., – протянул Лёша.

Его пальцы забегали по раздувшимся щекам с невероятной частотой, словно это были не пальцы, а бритвы, которые хотели наскоро побрить Лёшино лицо. Они бы забрили его до крови, если б у Серёги не перегорела последняя спичка в коробке. Петя стал рыться в карманах, и Серёга с трепетной надеждой уже стоял возле него, переминая двумя пальцами незажжённую сигарету. Лёша подошёл ко мне, спотыкаясь о взбухший от зноя бугорок асфальта.

– Понимаешь, я не один. Ты говорил, что можно поехать к тебе на дачу.

– А что за дама? – заулыбался я.

– Ты её видел, Эльвира.

– Какое имя! А где я её видел?

– Ты играл в футбол, а мы спускались по склонам, помнишь?

– Да-а. Красиво ты её обнимал, я чуть гол не пропустил.

– Сейчас не об этом.

– Что? Что? – выпучивал глаза Пётр.

Я повернул рукой в воздухе, как будто открывал какую-то дверь. Пётр сразу всё понял, а мне показалось, что я и впрямь отворяю дверь и это всё так просто, невзначай, только стоит повернуть ключ и передо мной раскроется зеленоватая дверь небольшого дачного домика где-то под вишней, в глубине лучей. На губах привкус морского ветра. Я пришёл с девушкой, я нащупываю её руку где-то там, позади себя, в тени скрывшегося крыльца. Её рука холодна, пальцы не хотят сгибаться и немного дрожат. Она хочет уйти, а дверь открыта, а за ней полумрак деревянных плетёных стульев и маленького стола под клеёночатою скатертью, ударяющей в нос запахом муки и вишни только собранной с дерева. Пол наверняка скрипит, как и дверь. Занавески на окнах задрожат, лишь только мы войдём. Мы никогда не найдём, где включается свет. Но стоит только войти, и мир обрушится на нас лавиной тишины и чужой жизни, как будто мы ворвались в чьё-то пространство, куда нельзя входить таким, как мы, нельзя нарушать тишину теней вишнёвого дерева, бродящих по комнате.

Лёша исчез молниеносно. Просто невероятно, как он исчез. Помню, как мы шли по бульвару, как высились платаны, летели на нас, как огромные гуси, на огромных крыльях неся тысячи листьев поющих и шуршащих в мягкой пасмурности предвечерья. Две девушки на скамейке что-то шепнули друг дружке, вроде о нас. Мы остановились и сделали вид, что обсуждаем какую-то важную вещь. Девушки вспорхнули, как испуганные птички, улетающие на всякий случай, когда опасность ещё далека. Хотя какая опасность? Я смотрел им вслед, а мои ноги словно вросли в этот мягкий жёлтый ковёр, покрывающий влажный асфальт. В каком-то тумане одна девочка уронила сумочку, подняла её, засмеялась, а взгляд другой под невысказанным углом слетел на меня, обдав волной дурманящей свежести, будто я завернул за угол в незнакомом городе, в который попал неведомо как, и вся улица с ветром, ставнями, плакучими фонарями, прохладными солнечными лучами, покатыми крышами и вывернутыми ко мне домами задышала на меня гостеприимным огнём неведомой предвкушаемой встречи с кем-то очень важным, близким, с тем, кто может остаться со мной на всю жизнь. Я хочу побыстрее познакомиться с тобой, человек, я бегу на эту встречу, а дома выворачиваются ещё больше, и летят на меня, и хлопают ставни, и в безумстве мечутся



воробыи, вмахнув крыльями один лишь раз, превращаясь в камешек, брошенный в окно, словно им только и нужно, что долететь от точки к точке. Я знаю, ты сойдёшь вниз, мой человек, которого я встречу в этом городе, где несутся крыши с улицей наперегонки и солнце ударяет в двери, как бы стуча. А я стою перед твоим домом. И камешков больше нет, а я так хочу, чтобы ты услышала звон телефонирующего стекла, звонящего невпопад отрывистыми, звонкими монетами, падающими на пустую бульжную мостовую. Я одинок, но город улыбнулся мне. Что это, Европа? Как я попал сюда? Не знаю. Иногда что-то незнакомое может стать знакомым, лишь только мы прикоснёмся к этому. Прикоснёмся и услышим то знакомое, что уже перебродило в нас.

Пётр смотрел вдаль, изучая извивающееся тело морского порта, раскинувшегося в долине у подножия потёмкинской лестницы. Мы покорили этот порт, и подковы наших лошадей вытанцовывают на асфальте мелодию победителей. Сотни ступенек падают ниц перед нами и порт кажется поверженным и безучастным. А может это только кажется нам, и мы просто остановились на вершине горы и обозреваем неприятельский град, прижимая поводья к себе и шепча «шш-шш» в уши лошадям?

– Может, к Тёциному мосту? – послышался голос подоспевшего Серёги.

– Пойдём, догоним их, – сказал Пётр.

Мы побежали, как угорелые, и Дюк взмахнул нам каменной рукой.

– Вы куда? – кричал Адриано, – подождите.

Серёга бежал, как настоящий бегун. По дороге нам повстречались довольно симпатичные девушки. Я прокрутился вокруг своей оси на ходу, не переставая бежать. Адриано отстал и махал руками, чтобы мы остановились. Пётр опережал меня на полквартила и бежал рядом с Серёгой. Я стал догонять их. Это походило на настоящий забег на короткую дистанцию.

– Эй, – закричал я, – тут девушки красивые по дороге ходят!

Петя и Серёга остановились. Я догнал их, и мы все втроём, часто дыша, начали озираться по сторонам.

– Какие девушки? – спросил Пётр, положив руки на пояс и наклонившись вниз.

– Совсем другие, – сказал я.

– А нам какие нужны?

– Все, – прохрипел Серёга, громко сплёвывая возле дерева.

– Пошли они нахрен, – опереточным голосом громко нараспев пропел забытый всеми Адриано. Он подходил к нам, улыбаясь. По-моему, он вообще не принимал участия в этом забеге.

– Ты что не бежал совсем? – спросил я.

– Я что, больной? Пусть сами прибегают. Мне на фабрике сколько девушек улыбается! Возьму завтра, подойду к одной и скажу: «Пошли наверх, я тебе фотографии из отпуска покажу. Или не из отпуска. Какая разница? Пусть смотрят, пусть завидуют...»

– Завтра я приду к тебе на фабрику, – задумчиво сказал Серёга.

Прошёл месяц. Последнюю неделю дождь играл на струнах улиц всем разнообразием стилей. Это была неделя его мелодий и фильмов, и все афиши только об этом и говорили. Я сменил свой гардероб, надел куртку и без зонтика на улицу не выходил. Сегодня с утра светило солнце, и лужи как-то по-особому искрились, купались, как слоны, резвясь, вытягивая хоботы и растягиваясь в размерах. Я перепрыгивал через них, вытряхивая из памяти все знания, накопленные для выпускных экзаменов.

Мы собирались ко мне на дачу. Шашлычки, шашлычки... «Лето идёт, я хочу видеть тебя на даче, на шашлычках, подтянутым, весёлым», – любил говорить Пётр. Мы перелезали через забор, когда папа прятал от меня ключи, пили спрятанную за семнадцатью замками наливку. Она была такая тягучая и сладкая, что перекатывалась в горле, как ком, как машина по дорожным горбам. Вкус был не то медовый, не то сливовый и очень сладкий. Мой стакан на большом деревянном столе не мог спокойно стоять и норовил упасть. Он всё время попадал то на щель, то на неровность. «Бедный мой стаканчик», – говорил я, а Пётр смеялся. А может, так действовала наливка? Ноги после неё не слушались.

С раннего утра мы играли в футбол, и Серёга предложил заехать за Адриано. Мы ввалились в его квартирку, шаркая по деревянному полу. Адриано действительно чем-то напоминал итальянца. У него были чёрные глаза, длинный нос и вытянутое лицо, которое могло заулыбаться в любой момент. Щёки при этом не раздувались, а вытягивались хитроумными складками, будто кто-то собирал кожу в пальцы, пытаясь придать складкам узорчатый вид. Адриано начинал немного лысеть. Увидев нас, он начал гладить себя по голове всей ладонью от темени ко лбу. Нельзя сказать, что он был нам не рад, но наши каблуки и загорелые пени, глаза, желающие приключений и распирающие эту худую полумёртвую прихожую, раздувающие её вдырызг, превращая холод в неутомимое жаркое движение молекул, – всё это было для него

чем-то новым и с этим новым он не знал что делать. Его тоненькие шаровары дрожали на сквознячке, как потускневшее знамя, которое только что нашли в кладовке и выставили в коридор. Оно как бы не знало, поддаваться этому порыву ветра или нет.

– Да, – протянул он, задумался и принялся усиленно потирать руки. Идея с шашлычками ему понравилась, хотя что-то его немного сдерживало. Наверно, каждый из нас или кто-то из нас. Я посмотрел на часы и сказал, что мясо на даче есть и вообще в такой день не поехать на шашлычки – это ужасно. Это всё равно, что в холодную погоду, когда моросит мелкий дождик и город пуст и одинок так же, как и ты, встретить по невероятной случайности красивую женщину, которая приехала сюда из далёкой твоей страны, где ты тоже когда-то жил и, поговорив с ней глупым гнусавым голосом пять минут ни о чём, раствориться в диком жестоким тумане слепого и неуютного вечера, такого не своего, что даже дождь, пускающий косые стрелы на твоё пальто, не увлажняет его, а только поднимает ворс, отчего становится холоднее, и вода не капает на выставленную ладонь, а укалывает её мелкими невидимыми кнопками, ничего общего не имеющими с каплями. Ты уходишь, оставляя твою упущенную, но живую любовь и плачешь, продолжая бродить молчаливым, угрюмым городом, сжимая не её плечо, а грубые полы карманов, жмурясь от фонарного света, делая вид, что тебе не грустно и не гадко ни от этого и ни от чего другого, что ты не одинок и что сейчас ты не пропустил её, а также остался один, как и был. Ты хочешь её догнать и не находишь. И две тайландские девочки перебегают дорогу, хохоча, накрывая себя, как зонтом, распластанной над ними нейлоновой курткой, и тысячи нейлоновых плёнок вырастают перед тобой, как прозрачные занавесы, и капли бегут по ним, не пересекая чужих плоскостей и плачут вместе с огнями витрин и фарами машин, падают куда-то между асфальтом и твоими глазами, влажными и печальными, как дожди твоего детства, такие игрушечные, жучие и мокрые, огромные и вечные, как моря и океаны далёких земель.

Адриано ушёл одеваться, а мы разглядывали витрину серванта, как витрину магазина. Знаменитый Чинзано стоял скромно, затаившись за пузатой бутылкой то ли бренди, то ли виски, одетой в плетённый камзол с ярко-жёлтыми, тянущимися к горлышку подтяжками золотистых тоненьких ленточек. Бутылочка была с десяток, и только Чинзано смотрел на нас угрюмыми бездонными глазами. Пётр помотал головой. Конечно, он не будет наш и его аромат не пробежит по губам, спускаясь по горлу, как гордый альпинист спускается по канату с покорённой горы. Адриано стоял за мной, а я читал его взгляд: «Не могу ребята, ну не моё». Я не был ни алкоголиком, ни любителем выпить в любой момент, когда есть свободная минута, но Чинзано для меня, как впрочем и для нас всех, был загадочным облаком, приплывшим из другой страны. Мне так хотелось достать его из серванта, медленно разглядывая зеленоватую бутылку с красной этикеткой на груди, что я снял туфли и уселся в кресло, стараясь не смотреть на сервант. Я вдруг представил себя разливающим сладкое Чинзано в хрустальные бокалы, где мы все сидим за вечерним столом в костюмах и галстуках, массивные свечи горят в увесистых старинных канделябрах, и девушки в вечерних туалетах приближаются к столу, завораживая каждым своим движением. И всему виной Чинзано!

Адриано уже прихорашивался перед зеркалом. Он вылил себе на ладошку четверть стакана одеколону из большого флакона и судорожно бил себя по щекам. По квартире распространилось зловоние. Адриано перешёл на аккуратное постукивание кончиками пальцев с мгновенным одёргиванием рук. Его раздутый от нахлынувшей гордости нос, видимо, отказывался передавать в мозг сигналы о жуткой дурнопахнущей жидкости, вылитой на собственные щёки с таким остервенением. Адриано поворачивался влево и вправо, смотрел на себя с уважением, чёрные глаза слепили, как прожекторы, и сверкали в зеркале налитыми соком сливами.

– Слушай, Игорёк, – обратился Петя к Адриано по имени, – а вот и лёгкий азербайджанский портвейн в холодильнике. Извини, что открыл его, в смысле не его, а холодильник, но я что-то проголодался.

– Како..., – прохрипел Адриано. Он вспорхнул, как птичка, почти мгновенно оказавшись на кухне. Если бы мы снимали кино, то кадров перелёта Адриано там бы не оказалось, камера бы просто не успела их отснять. Он распахнул дверцу холодильника, бешено тараща глаза на полупустые полки.

– Да мы только по рюмочке, – виновато пропел Пётр.

Адриано вздохнул, покачал головой и громко цокнул языком.

Мы посмаковали портвейн, стоя на кухне. Пётр снова открыл холодильник, присев на корточки.

– Там борщ есть старенький и котлеты, – сказал Адриано безысходно и мрачно.

– А вот блинчики какие-то, – отозвался Пётр.

– Да?

Но Петя уже запустил руку под крышку маленькой оранжевой миски, откуда выплывал поджаренный свёрнутый блинчик. Мы допили вино. Пустая бутылка стояла на столе зелёной стеклянной гильзой, наполненной солнечным светом. Адриано вырядился, как щёголь.



– Игорёк, – сказал я, – надень кроссовки. Туфли – это не для дачи.

– Да не, – махал он рукой, – нормально.

Мы вышли и сели в трамвай, такой скрипучий, такой тёмно-красный, как жгучий закат, не желающий уходить и расставаться с днём. Адриано что-то оживлённо рассказывал об отборочных играх, как вдруг, скользя по воздушным перилам, в вагон вплыл Лёша, снимая шоколадные очки и цепляя их за верхнюю пуговицу рубашки. Он вплыл, как будто плавно поднимался из морских глубин на поверхность воды. Лёша обнимал какую-то тёмно-рыжую девушку за талию. Они взялись за поручни и, пошатываясь, усталились в окно. Петя толкнул Серёгу, а я Петю. Это получилось синхронно. Мы все чуть не грохнули со смеху.

– Не надо подходить, – сказал Пётр, – не будем мешать.

Серёга разворачивал неизвестно откуда появившуюся жвачку. Он молча жевал, уставившись на Лёшу и девушку, как будто жвачка была уже во рту. Вдруг Адриано громко чихнул, и Лёша посмотрел в нашу сторону. Лицо его исказилось, а в глазах кубарем в пропасть летела бочка, вдобавок она горела и могла взорваться в воздухе в любой момент. Трамвай затормозил, и Лёша навалился на свою девушку, чуть не упал, едва успев ухватиться за поручень. На остановке трамвай наполнился народом, и Лёша протиснулся к нам. Разговор был короткий и понятен. Четыре головы, кроме головы Адриано, склонились друг к другу, как столкнувшиеся лбами тыквы, образуя замкнутую аудиторию со спускающимися ступенями и прекрасной акустикой. Лёшины слова сыпались сверху, как с потолка.

Пётр открыл калитку дачи и бесшумно засмеялся. Смех к нему возвращался, захлёстывал, окутывал что-то смешное в душе, пытаясь всколыхнуть, будто тряся колокольчиками над ухом взгустнувшего пляжника, слегка задремавшего над скучным журналом. Пётр вспоминал о чём-то весёлом, и это весёлое покрывало пеленой всё накопившееся и вскипевшее, то, что тяготило, будоражило, печалило, угнетало, подначивало к чему-то дурному, заставляло сожалеть, разочаровывало или просто жило Бог весть зачем. Он любил анекдоты и любил их вспоминать. Жизнь открывала калитку дачи сама, вталкивая его в счастливый день, который он сам для себя не мог создать, ни склеивая его из идущих впереди надежд, ни выкраивая его из доскутков доброго света, который вроде и был повсюду, но почему-то просачивался сквозь пальцы и разбазаривался на каждом шагу. Пётр сделал несколько шагов по тропинке, ведущей от калитки к дачному домику, и, приставив палец к губам, остановился. Я и Серёга чуть не сбили его с этого асфальтового каната, висевшего посреди теней вишен, яблок и свежей травы.

– Тихо, – задышал Адриано мне в шею. – А что там?

Мы молча свернули на сухую лысину серой земли, где ничего не росло, и припали к стенке дома. Пётр заглянул в окошко, присев на корточках, и зашёлся хохотом без всякого звука. На меня напал такой же приступ, но смеяться пришлось тоже бесшумно, как в немом кино, только тапёром был ветерок, игравший на сухой траве и листьях вишни. Пётр оставался сидеть на корточках, поставив руки на землю и головой почти касаясь стены. Незакрытая калитка издавала ёрзающие звуки. Она кого-то нехотя впускала, то слабо приоткрывая, то закрывая створ, как контролёр, стоящий вполоборота и поспешно рвущий билеты на входе в кинотеатр у опоздавших на последних сеанс. Он толкает ладонью дверь, гордо вытягивая голову вверх и немного набок, как удачный амбициозный режиссёр на премьере своего фильма, и говорит, широко разинув рот: «Ну быстрее, быстрее, фильм уже начался!». Я заглянул в окно от распирающего любопытства и увидел Лёшин профиль и рыжий отсвет копны волос, купающийся в Лёшином взгляде. Я отпрянул от окна и в этот момент Адриано стукнул меня по плечу.

– Дай посмотреть, – громко зашептал он, что-то жуя. Я оттолкнул его и сделал знак Петру и Серёге уходить. Серёга приставил ладони к соседнему окну. Ворона, каркая, взлетела за соседским забором, унося тени листьев и нашу толкотню. От неожиданности я прислонился спиной к стене и услышал чуть слышный женский голос: «Там кто-то есть!».

– Никого нет, – сказал Лёша.

– Посмотри.

– Да нет никого! Вороны, ветер. Ветрено сегодня... вот.

Мы с Петей отошли на несколько шагов по направлению к тыльной части дачи, жестами подзывая к себе Серёгу. Адриано, крадучись, осторожно ступал за нами по каменной тропинке. Его каблуки тихо цокали, словно в тишине вдруг начал работать некий передвижной часовой механизм.

– Говорил я тебе, Игорёк, надень кроссовки, – зашептал я Адриано.

Он наклонился вперёд, повернул голову в мою сторону и вывернул приоткрытый скривленный до безумия рот.

– Замолчи, – шептал он, надрываясь, – замолчи, а то умру.



Адриано держался за живот, стонал и тихо сплёвывал. Калитка издавала те же звуки, и старый мопед подмигивал нам блеском потускневших зеркал.

Мы брели по набережной, по направлению к десятой станции Фонтана. Молчание прервал неожиданный хлопок Адриано по лбу.

– Вот суки! – сказал он и засмеялся отрывистым смехом, а потом посмотрел на свою ладонь, будто хотел увидеть там раздавленную мошку. – Мы что на пляж идём? – изумлялся он.

Серёга улыбался под плывущий с берега шум пляжников. Он наполнял всё побережье, заглушал наши разговоры и мысли. Вихрь проехавшего мимо мотоцикла просверлил в этой звуковой туче тонкий туннель, который тут же зарастал за шлемом мотоциклиста, тая на глазах, словно рушилась только что пробуренная штольня. Сверхзвуковой самолёт рисовал белую размытую полосу в вышине, а потом пропал, словно дырявил само небо и, казалось, летел где-то там, по другую его сторону. Белая борозда осыпалась и пропала бледнея.

Я сдал экзамены в институт удивительно быстро. Помню танкиста, коренастого, намного старше меня, как мне казалось тогда. Он не мог стоять на одном месте и ходил из стороны в сторону, вдавливая сапоги в паркет, словно пытался проверить его надёжность. Паркет постоянно скрипел, будто танкист специально выбирал такие места, и его нисколько не раздражал этот звук. Он чувствовал в нём какую-то свою музыку, помогающую ему перед экзаменом, и часто гладил себя по темени, по редким светлым волосам и растущей залысине. У него не было ни тетрадок, ни ручек и в аудитории он почти не сидел.

– А я так, попробую, – говорил он, – я только пришёл. Мать говорит: «Поступишь – хорошо, не поступишь, – тоже хорошо». Чего ж не пойти.

Он мял фуражку и поправлял ремень.

В аудитории рядом со мной сидел большой такой Саша Михайлюк. Он постоянно расстёгивал и застёгивал браслет часов, нервно улыбаясь. Сквозь гам голосов он рассказывал анекдоты про грузин и Василия Ивановича. К нам обернулся рыжеватый парень с широкими скулами. Он рассказал анекдот и сам долго смеялся, листая свою тетрадь на весу и качаясь на стуле. Меня должны были уже вызвать на экзамен, и нервы пиликали на расстроенных струнах, словно кто-то тёр и тёр тряпкой о сухое стекло, отчего оно становилось только грязнее. Справа от меня сидел то ли узбек, то ли киргиз, но он пропал, и с его места я услышал тонковатый разнуданный голос, негромко бьющий в сторону нашего соседа спереди: «Слышь, Серик, ты тут больше не трынди и не воняй!».

Сосед справа был щуплым повзрослевшим пацанчиком в серой кепочке с малюсеньким козырьком и с каким-то серовато-поносным нездоровым цветом лица. Мы с Сашей Михайлюком замолчали. Парень с широкими скулами не удивился этому вовсе и кивнул с отчаянным безразличием, будто только что получил жёлтую карточку ни за что, ни про что. Я шёл по коридору. «Почему Серик?» – думал я. Почему он обратился именно к нему, а не ко мне, например. Серая кепочка летала в моей голове, как наглая убитая муха, которая неистово воскресала и жужжала специально в ушах, чтобы доставить больше боли, стрекоча овальными крыльями, точно двумя кепочками, вырастающими у неё за спиной. «Слышь, Серик», – пела она. Я не помню, как открывал тяжёлые двери, как подходил к длинному столу, здоровался и брал билет. Я гнал эту муху от себя и гнал мысль о том, что всё-таки он обратился не ко мне, хотя я помог бы этому рыжему парню с широкими скулами. Я дунул в шариковую ручку, как в дудочку, и прихлопнул эту проклятую муху навсегда.

В институтском дворе пахло липами и какими-то абрикосами с привкусом сирени. Белая кашка на зелёных лапах поднималась на меня облаком, билась о грани чёрной решётки и махала из её бойниц. Я догнал Сашу Михайлюка.

– Три балла, – сказал мне он, поджимая губы.

– Но это ещё не конец, – сказал я.

– Увидим, – помахал мне Саша и растворился в толпе.

Я помахал ему рукой в первый учебный день, ища глазами танкиста и парня с широкими скулами. Как его звали?

«Слышь, Серик», – не успел подумать я, и парень обернулся где-то в подпаленном табаком воздухе центральной аллеи. Он посмотрел на окно аудитории, где мы сидели перед экзаменом, усмехнулся и растаял навсегда. Окно хлопнуло звонким боем часов. Кто-то закрыл его. Стало холодать.

На следующий день был сильный шторм. Ветер хлестал волны с такой силой, словно пытался опорожнить само море. Неспрятанные зонты трепыхались, как безумно хлопающие флаги. Эти хлопки



придавали ветру силу, и он бил ещё больше, трепал наши одежды и пел в ушах, словно сами уши были спиралевидными морскими ракушками.

– Всё, – говорил Серёга, – выпускные экзамены сдал, теперь надо отдохнуть. Мне скоро в армию, хочу успеть что-то снять.

– Что снять?

– Фильм какой-нибудь.

– Фильм? О чём?

– О море, о нас, о трамваях, о воркующих голубях, о бушующем ветре в августе. Представляешь, какая сейчас вода? Наверно, холодная!

Он разулся, закатал брюки до колен и пошёл к воде. Ветер качал его, как баржу в море.

– Ты что, – закричал я, – сейчас весь будешь мокрый.

Серёга обернулся и моргнул мне.

– Вот об этом тоже будем снимать, – сказал он. – Назовём этот эпизод, – он запрокинул голову и солнце промелькнуло по его лицу, – «Море и Август», например. Как тебе рабочее название?

– А камеру где достанешь?

– Найдём. Мне отчего-то так этого хочется, – он повернулся к морю спиной и взмахнул руками, точно, как чайка, только что промелькнувшая над водой, – что не снять этот фильм всё равно, что сидеть дома и парить ноги в яркое блестящее утро. Давай снимать!

– Давай.

Я тоже закатал штанину и направился к морю. Серёга всё ещё стоял, качаясь и раскинув руки. Он словно хотел успокоить взбесившийся ветер, который явно хотел нам что-то сказать.

Мы прекрасно провели этот день, хотя меня и что-то волновало. В Серёгином дворе приёмничек, кряхтя, пытался словить для нас какую-нибудь нормальную станцию. Серёга крутил ручку, и приёмник то шипел, да так, что закладывало уши, то заходился пискливой сиреной, то переходил на ворчание. Какая-то потрескивающая песня была словлена, как уставшая бабочка, севшая на цветок. Я будто поймал эту бабочку и пыльца её оставалась на пальцах, как мельчайший порошок вздыхающего лета, покуда голоса не стали стихать, увеличив треск заворчавшего снова приёмника. Маленький столик наклонился под нашими локтями и падал куда-то вниз, а мне казалось, что до асфальта очень далеко, и все мы сейчас упадём в какую-то бездну. Федька, Серёгин сосед, окна которого выходили в маленький дворик, принёс карты, тасуя их на ходу. Сифон с газированной водой брэнчал и пыхтел, выдыхая через нос воду вместе с иголками летучих водяных созданий. Он напоминал музыкальный инструмент, на котором, как мне казалось, очень сложно научиться играть.

Узкий туннельчик, соединяющий маленький дворик с большим, был всегда темноват, как будто он прятался от солнца, и все тени со двора укрывались в нём, когда их постигал свет. Там было немного прохладней и там была вспорхнувшая на одну ступень дверь в Федину квартиру. Именно из туннельчика появилась Света. Её светлые волосы развевались, как лучи, разбросанные по комнате. Они ломались, гнулись, заворачивались один за другой, но рисовали светлыми тонами на тёмном холсте, отодвигая тьму. Она жила неподалёку и часто заходила в уютный дворик вместе с другими подружками. Федя принёс здоровую миску черешни, отчего карты покрывались розовыми смущёнными пятнами, а капитан за забором тасовал тени от листьев прямо у нас на столе, играя в свою игру.

Уже стемнело, когда я вернулся домой. Я открыл дверь ключом и столкнулся со своей тётёй Людой, которую не видел, наверно, года два. У неё были грустные глаза и какой-то странный стакан в руке, и какая-то толстуха взяла у неё стакан и поставила на столик, и взяла её под руку, и кивнула мне. Какие-то голоса раздавались из обеих комнат, но я стоял между ними в углу коридора прихожей, сдавленный непонятием и ошарашенный, как будто эти голоса договаривались между собой, что со мной делать, а коридор был перешейком, по которому я бежал, очутившись в нём не вовремя, опоздав на целую вечность, такую бесконечную, как прожитые жизни всех людей, когда-либо живших на земле. Тётя Люда открыла дверь в маленькую комнату. Там было человек десять. Они сидели на стульях и на краю кровати. Они затихли, когда я зашёл, словно я был очень уважаемым учителем, который зайдя в класс сказал: «Сидите, сидите!». И потолок начал двигаться, искажаться, накреняться, как пловец под водой, который хочет достать со дна ракушку, изгибаясь в своём движении.

Мой дед, папин отец, подозвал меня жестом. Он смотрел куда-то в пол, будто искал ответ на мучивший его вопрос. «Он успел узнать, что ты поступил в институт?» – спросил он.

Я кивнул, сел рядом с ним на край кровати, покатою, как санный спуск, неожиданно оборвавшийся и застрявший во времени. Я знал, что на меня сейчас смотрят все сидящие здесь, их глаза плывут, как яхты по заливу, устремившись в одну точку, маленький финишный причал, к которому они должны причалить, не выиграть заплыв, а пришвартовавшись, отвлечься от моря, сказав ему на время «Прощай». Им был интересен берег и его жёлтый песок был твёрд. Принесли бутерброды и бутылки сладкой воды. Мои щёки горели как факелы, как два огненных шара, горящих где-то под куполом цирка, в высоте, куда задрав голову смотрят зрители, и где завораживающе стучит барабанная дробь. Я знаю, шары вскоре вспыхнут и превратятся в белых голубей, которые улетят куда-то, выскользнув из цирка, как беглецы. Я зайду в эту прихожую через много лет и сквозь чужие голоса пробегу по родному коридору, не боясь темноты. На кухне дед будет умываться, и вместо воды из умывальника будет идти свет, желтовато-золотыми лучами струясь в дедины ладони. Он поднесёт их к лицу, улыбнётся, и коридор исчезнет, растаяв как гаснущая петарда в небе, а кухня вспыхнет ослепительным светом. Мы подойдём с дедом к окну, откроем его, и ночная темень двора покроется рассветной солнечной рябью, послышатся слабые голоса птиц, робкое прикосновение рук к пианино, на котором давно не играли, и вот, кто-то поднял чёрную крышку, под которой была крошечная тьма и клавиши зазвучали, вспоминая, что они способны издавать прекрасные ноты.

- Сыграй, – говорит мне дед бессловно, только глазами.
- Я давно не играл, не смогу, – так же говорю я ему.
- Нет, ты можешь, ты просто забыл.

Клавиши сами вырастают передо мной, одна к другой, словно белые берёзы соединяются в длинный плот, готовясь к плаванью. Мои руки начинают вспоминать мелодии, которые явно жили во мне. Я их не помню, но понимаю, что помнил когда-то, но вот только забыл почему-то. Мы смеёмся до слёз, и жизнь становится вечностью. И каждый миг в ней – это вечность. И каждая нота в ней – это вечность. И музыка наполняет весь двор, и так становится светло на душе, словно огромная река радости нашей встречи прорвала плотину и несётся перед нами.

Прошло три дня и я побрёл в институт.

– Такь... – говорила мне маленькая женщина, которая руководила тасканием столов, обязательным после сдачи экзаменов. – Где ты был всё это время? Иди в деканат, объясняй!

У неё были на удивление короткие и тоненькие ножки, как у девочки из старшей группы детского сада. Если б ей надели шерстяные колготки, её голос, наверное, сразу стал бы детским и звенящим. Такой звон бывает, когда бьют столовой ложкой с прилипшим пюре по кастрюле где-то ранним утром в предпраздничный детсадовский день, когда садик одет в воздушные шарик и гирлянды, и лёгкая дождливая сыпь ложится на красные транспаранты «Слава Великому Октябрю!». Но её голос отдавал чем-то простецким, безразличным и грубым, как будто это была домохозяйка из раскрытого окна облупившегося жухлого дома на Молдаванке. Она разговаривала так, словно говорила со своим сыном-подростком:

- Что ты дал? Тут... копеек семьдесят не хватает. Ты все бутылки сдал?
- Все.
- Что-о?
- Все. Одна была треснутая, они не приняли.
- А большая такая была, где она?
- А... да, они такие не принимают.
- Так почему ты её назад не принёс?
- А я её там оставил.
- Ага, смотри не дури со мной.
- Да говорю, я её там оставил.
- Лучше б ты себя там оставил!

Я ничего не мог ей ответить. Не было сил. Её голос отбирал у меня что-то очень ценное, то, что ко мне пришло неким сплавом из прочитанных книг и прожитых озарённых минут, то, что мудростью своей защищало меня, кормило и росло в душе, как опыт и огромная сила. Во мне не было ни музыки, ни песен, а только одно монотонное эхо едва уловимого отдалённого звука, падающего, летящего, дальнего, как память о давнишнем друге из детства. Я побрёл в деканат, не сказав ей ни слова.

- Эй, – закричала она, – куда пошёл?
- В деканат, – пробормотал я, почти не обернувшись.
- О, Валентина Николаевна, тут какой-то неприкаянный. Три дня прогулял и ещё права качает.



Я посмотрел в сторону её крика и увидел крупную светловолосую женщину, в глазах которой была уверенность, что партия и правительство всё делают правильно. И от всех людей она ждала только честности и решимости. Казалось, что когда она разговаривает с кем-нибудь, она всегда кивает этому человеку, как бы заведомо ожидая от него умных, сильных и нужных слов, которые стальными ладьями плывут по морю его непоколебимого, не сомневающегося ни в чём голоса.

Через полчаса я уже шёл в сторону общежития на улице Фрунзе, где должен был встретиться с комendanтом с победоносным именем Георгий Георгиевич. Огромная куча мусора вылезала из дверного проёма как выливающаяся лава открывшегося кратера. Она лезла на меня, как змея, как язык, пытающийся ужалить и заразить какой-нибудь дурной болезнью.

Георгий Георгиевич дал мне лопату и огромного размера рукавицы, грубые и твёрдые. От них пахло бетоном и ударило в лицо каким-то морозом и ледяной бутылкой из-под пива, стоящей на шершавом заснеженном парапете. Я словно видел эту бутылку. По ней медленно ползла горячая бетонная струйка и рисовала замысловатый пепельный зигзаг. Пена в бутылке сжималась и комкалась, как догорающая бумага, и тот, кто пил это пиво, сжимал горлышко бутылки негнувшимися околелыми пальцами.

– Поищу для тебя другие рукавицы, – сказал Георгий Георгиевич и исчез на полдня.

Я начал с пены, подходящей к ногам и состоящей из нескольких катающихся туда-сюда бутылок, консервных банок, замасленных бумажек и гниющего целлофанового пакета, шуршащего по земле половиной своего тела, высунувшегося из общей лавы. Железный контейнер был пуст, и летящие туда банки издавали звонкий звук.

– Тебе надо эту кучу разгрести, – говорила Валентина Николаевна, – и я засчитаю тебе практику.

Она говорила это без соболезнования, без печальных выпученных глаз. Она понимала, что так будет правильно, раз такое стряслось. Вот и всё.

Где-то к девяти вечера я ехал с мусорной свалки в пустом кузове грузовой машины. Какая-то ветка билась о дно, и треугольный пакетик из-под кефира, как воспоминание об извержении мусорного вулкана, перебежал из конца кузова в конец, как сумасшедший паук, плетущий паутину где угодно, даже на ржавом зловонном куске железа. Мотор машины работал так, будто недовольно и мрачно гудели трибуны десяти стадионов сразу. Казалось, машина заправлена не соляркой, а всякими металлическими стручками, которые перемеливались в большом барабане, падали друг на друга, вертелись с визгливым скрежетом и сталкивались на ходу. Волосы мои слиплись, и в голове происходил какой-то звучный треск вперемежку с однотонным гудением, словно кто-то щёлкал переключателем на старом телевизоре, и одни лишь заставки хлопали перед ним. Ветер меня жалел и ласково трепал. Он спешил показать мне город, который я ещё не видел, дружелюбно разбрасывая улицы по сторонам, соединяя крыши домов и поднимая голубей в небо.

Двери деканата, как они его называли, были неоправданно высокими. Я показался себе маленького роста и, взявшись за дверную ручку, посмотрел вверх. И только сейчас я заметил, что двери обиты тёмно-шоколадной кожей, разбитой на множество квадратов, в углы которых влетели пули, застрявшие там всем своим свинцовым телом. Квадраты были похожи на маленькие подушки, набитые войлоком, мягкие и упругие. Я постучал по одной из пуль, понимая, что стука всё равно не получится. Когда я потянул на себя дверь, то первое, что я увидел, это усы. Один ус был направлен на меня, как дуло, а сверху к нему был прикреплен глаз, как прищел. Осталось только взвести курок и выстрелить. Прищел завертелся, как камера.

– Добрый день, – сказал я вежливо и сделал два шага куда-то по диагонали от прищела. Я увидел изогнутый стол, за которым сидел человек со вздыбленными волосами и бесцветным взглядом. Глаза его были прозрачными с бледноватым оттенком суровой, наступившей удивительно не по сезону зимы. Они зачитывали приговор кому-то, и всё это было не работой и не игрой, а чем-то похожим на полевой суд над солдатами-дезертирами.

– Простите, – сказал я, – вот справка о том, что я отработал после экзаменов на практике.

– Ну вот, возьмишь этого, – сказал декан, быстро переводя взгляд с меня на усатый прожектор.

– Но я только что отработал!

– Вы почему кричите в деканате? Как ваша фамилия?

Я назвал, но после этого меня окутал туман. И кабинет, и последующие обитые двери изнутри, и пролёт лестниц, и крыльцо факультета – всё сбегало вниз в этом тумане, и два бесцветных глаза декана сверлили моё тело вырванными из двери пулями. Усатый прожектор оказался не таким уж усатым. Он цокал языком и вертел головой: «И всё-таки не надо так. Ещё не начал учиться...».

Мы остановились где-то посередине двора. Он продолжал цокать и раскрыл тетрадь, которая, оказываясь, была у него под мышкой. При этом он продолжал вертеть головой. «Не знаю, – сказал он, – советую как-то реабилитироваться».



Я смотрел на него и видел своего мёртвого деда. Когда выносили гроб, ноздри его были раздуты, будто он хотел дышать ещё больше, чем при жизни, хотел набрать воздуха, хотел чувствовать его, как никогда. Поздним вечером я ехал в пустом троллейбусе, высасывая сочившуюся кровь из ладони. До первого сентября оставались две недели ужалившего густого августа. Я привстал, открыл окно и немного высунул голову. Встречный ветер, как встречный поезд, пронёсся мимо.

«ФОНОГРАФ»

БОРИС РАХМАНИН

К рассказу Бориса Рахманина

Борис Леонидович Рахманин родился в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны эвакуационный поезд, в котором он ехал с другими детьми, разбомбило. Он остался один без мамы, попав в детский дом, где провёл всё детство. Первые стихи, проходя службу в армии, отправил в журнал «Знамя». Знаменитая поэтесса Вера Инбер, работавшая там в эти годы, горячо одобрила их, опубликовав всю подборку. Затем, по окончании службы, пригласила поработать в редакции журнала. В то время там работали такие незабвенные люди, как В. Кожевников, А. Ананьев, Е. Клевицкий, М. Роцин.

Борис Рахманин многогранно талантлив. Повести, рассказы, стихи, сценарии к фильмам, пьесы и даже песни – это всё арсенал его творческой жизни. По его повестям снимались фильмы с участием звёздных актёров: З. Кириенко, Л. Куравлёва, А. Будницкой, Л. Ахеджаковой и С. Садальского. Много лет в театре Сов. Армии шла его пьеса по известной повести «Часы без стрелок», которую поставил главный режиссёр театра Ю. Еремин. Главные роли в ней исполняли такие величины как О. Меньшиков, А. Балувев и А. Васильев.

Золотой состав ансамбля «Самоцветы» много лет открывал свои программы его песней «Давайте радоваться, люди!».

Борис Рахманин скоропостижно скончался 30 мая 2000 года, переходя улицу к Дому журналистов, куда направлялся на вручение премии классика русской литературы и другу Юрию Мамлееву. Сам Ю. Мамлеев написал о нём: «Борис Рахманин давно вошёл в великую русскую литературу и останется в ней». Также отметим, что Борис Леонидович Рахманин – лауреат многочисленных литературных премий.

Алла Рахманина

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД СОБАКИ

рассказ

Высоко на обрыве кристаллами соли сияли новые, ещё непривычные для глаза дома, а всё остальное – чёрный ручей, матовые, забредшие в него стволы осин, грязные половины мостка, сквозь которые, стоило на них ступить, проступила вода, влажный, пахнущий глиной воздух, прерывистый скрежет невидимого экскаватора, – всё остальное оставалось прежним. И, как прежде, показалось мне, шёл впереди мальчик в красных резиновых сапожках. Разве нет? Разве не вездесущи они, разве не пребывают всегда, эти восьмилетние сорванцы? Стараясь не упасть в ручей, он осторожно дотянулся с мостика до осины и, упираясь в неё одной рукой, другой приколол объявление. Сколько их я уже видел до этого, висевших низко-низко, почти у самой земли, и не догадывался, кем они приколоты. Вода из щелей настила жадно хлынула к моим ногам, погналась и отступила. Чертыхаясь, я вытер подошвы о травянистую кочку и осмотрелся, мальчика уже не было видно, но на деревьях вдоль глинистой тропы, низко, почти над самой землей белели объявления. Потерялась собака... Потерялась собака!.. Потерялась собака!! Мне показалось,

что всякий раз этот коротенький, отпечатанный на машинке текст звучал как-то иначе. То печально, то с досадой, то с бессильным и даже злым отчаянием. Потерялась собака!!!

...Он как раз прикалывал новое. Приколол и, медленно шевеля губами, весь поглощенный им, стал читать. Внезапно нос у него сморщился, губы искривились, по круглой щеке косо поползла слеза.

– Потерялась собака? – спросил я.

Он кивнул.

– Понимаете, мы уезжаем, а она... Почему-то потерялась.

– А как её звали? – спросил я.

И сам остался недоволен тем, как прозвучал вопрос. Не таким он был до того, как прозвучал. Досужим любопытством отдавал мой шершавый голос. Я попытался исправить дело и повторил ещё раз:

– А как её звали?..

– Никак! – буркнул он, отвернувшись, и стал плечом вытирать мокрую щеку.

– А тебя?

Он помолчал. Потом...

– Ну, Шмулик, – испытующе взглянул на меня, проверяя, как я это воспринял и добавил. – Раньше меня Шамиль звали. Но... Мы уезжаем. Понимаете?

Из-за поворота вышла очень высокая дама с раскрытым, хоть дождя ещё не было, зонтиком, приблизилась к нам и, нагнувшись вперед, стала читать. На ней были капроновые, будто сшитые из старых чулок перчатки, сквозь которые просвечивали руки и несколько монеток.

– А как её звали? – спросила она.

– Никак! – ответил я холодно.

Мальчик засмеялся. Дама взглянула на него, подняв брови, и, стараясь не поскользнуться на мокрой глине, пошла дальше.

– Имя писать нельзя, – не глядя на меня, со вздохом сказал мальчик. – Если имя написать, каждый поманить может.

Помолчал, потом быстро отвернулся, и я услышал тоненький, невыразимо печальный вой.

– Ты что?! – вскрикнул я и, поскольку голос мой и на этот раз прозвучал неточно, растерянно повторил: – Ты что?

– Ничего! – отозвался он, но плакать перестал, только прерывисто всхлипывал.

– Послушай, Шамиль, – сказал я, – послушай! Хочешь, я побуду твоей собакой? Хотя немного... Он посмотрел на меня с недоумением.

– Вы?

– А что? Думаешь, не смогу?

Он с сомнением пожал плечами.

– А ты испытай меня. – Я подобрал с земли и протянул ему кривой ломкий сучок. – Забрось-ка его подальше!

Улыбнувшись, он отрицательно покачал головой.

– Ты не стесняйся! – настаивал я. – Ты брось! Брось!

Он нерешительно взял сучок, пожал плечами и бросил. Недалеко, метров на пять. В мгновение ока, напрягая ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть, я подобрал сучок, вернулся обратно и торжественно вручил ему в руки.

– Ну-ка, ещё раз! – предложил я весело. И повторил. – Гав! Гав!..

Он бросил ещё, теперь уже сколько было сил, довольно далеко. И громко рассмеялся.

– Принеси! – воскликнул он повелительно. – Служи!..

Запыхавшись, я доставил сучок обратно. Он со смехом потрепал меня по рукаву.

– Умница, – произнёс он одобрительно. – Умница. Хорошо!

– Я ещё многое умею! – похвастался я, радостно отдуваясь. – Я петь могу, чистить картошку, бриться...

– Для собаки это необязательно, – покачал он головой. – Служи – и всё.

– Ладно! Гав-гав!

Зорко всматриваясь во всё, что нас окружало, я шёл чуть впереди хозяина и время от времени докладывал:

– Вот ветка на дереве качается, видно, птица только что взлетела...

Или:

– В лесу всегда красиво, даже в ненастье, правда?



Или:

– Считай, что я тебе помахал хвостом.

Он поощрительно откликнулся на мои старания, называл умницей, а порой и сам делился своими наблюдениями.

– Знаешь, – сказал он доверительно, – по-моему, этот ручей течёт назад.

...Мы миновали небезопасный мостик, поднялись на обрыв и оказались на чистом, исчерченном формулами и словами асфальте. На цинковых водосточных трубах новых домов белели объявления.

Мальчик насупился, остановился возле одного из них, медленно зашевелил губами.

– Её звали Умницей, – произнёс он тихо.

Я промолчал.

– До свиданья. Я дальше сам пойду. – Он нагнул голову, повернулся, сделал несколько шагов.

– Ну ладно, пойдём, – позвал он, оглядываясь, – ещё несколько шагов.

Прерывистый надсадный скрежет экскаватора становился всё громче.

Новые дома кончились, за поросшими мхом дощатыми заборами заштрихованные голыми ветвями невысоких ручных деревьев виднелись ветхие, с просевшими макушками терема. На один из них, пятясь иногда для разгона, с тупым неторопливым добродушием наезжал экскаватор. Медленно, медленно, как во сне, старый бревенчатый дом вспучивался и, оседая, выбрасывал в стороны в диком неестественном стиге сухие суставы. И вдруг разом, точно какая-то веревочка развязалась, беспорядочно развалился.

– До свиданья, – снова сказал мальчик, – всё...

Но я не послушался и несмело последовал за ним. Обогнув пыльное облако на месте рухнувшего только что дома, мы оказались точно перед таким же, кособоким, ждущим своей очереди.

Мальчик хмуро посматривал на меня, даже остановился несколько раз, но так и не решившись прогнать, вошёл в тёмный подъезд. Мы поднялись по скрипучей щербатой лестнице, толкнули невидимую мягкую дверь и оказались в просторной прихожей с заметно покатым полом. Экскаватор неожиданно умолк, и в наступившей тишине стал слышен редкий стук пишущей машинки. Заговорщицки кивнув мне, мальчик открыл ещё одну дверь и пропустил меня в тесную, уставленную чемоданами и коробками квадратную комнату с круглым окном. Там, за окном было совсем темно. Пока мы подымались по лестнице, наступил вечер.

Молодая женщина с тутими кольчиками волос на голове, в наброшенной на плечи клетчатом одеяле, сидела за столом и указательным пальцем неумело стучала по круглым клавишам.

ПОТЕРЯЛАСЬ... – выстукивала она. – СОБАКА, а затем, строчкой ниже, адрес...

– Шмулик, ты? – произнесла она, не оборачиваясь. – Развесил?

– Развесил.

Она повернула голову и, увидев меня, испуганно поднялась.

– Что? Кто вы?

– Я ваша новая собака, – как можно бодрее заявил я и на всякий случай повторил: – Я ваша новая собака! Здравствуйте!

Она машинально кивнула головой:

– Добрый вечер... – и смутилась. – Кто-кто?!

– Я выдержал все испытания, – сказал я. – Спросите к Шамиля, если не верите.

Мальчик утвердительно закивал головой.

– Да! Да! Он... Мама, можно?

Она неуверенно засмеялась. Усадила его на стул и стала стягивать красные резиновые сапожки.

...Некоторое время спустя, уже освоившись немного в необычной обстановке, я расположился на полу в прихожей, между чемоданом на колёсиках и обвязанной шпагатом коробкой, уткнул в лапы длинную морду и, легко двигая острыми ушами, прислушивался к доносящимся со двора скрипам и шорохам. Мне было покойно, хорошо. Снова, после долгого зябкого одиночества, я обрёл тёплый дом и общество, и всё глуше, всё ровнее плескалось в моей груди ещё недавно напрягавшееся до самой высокой тоскливой ноты сердце.

...Мальчик ещё только собирался выйти в прихожую, но я уже догадался об этом, вскочил на ноги, и, глядя на закрытую дверь, замахал хвостом.

Он вышел в полосатой, великоватой ему пижаме. Кудрявая женщина несла мохнатую простыню и садовую лейку. Понаблюдав за тем, как сдержанно проявляем мы свои чувства, успокоенная, она оставила нас вдвоём и отправилась на кухню. Зазвенела вода, зашипел газ.



А мы, оставшись на минуту без присмотра, с тихим смехом бросились друг к другу, повалились на пол, потом он уселся на меня верхом, но я вывернулся, схватил пастью его ручонку и еле слышно, с притворной яростью зарычал. Сдерживая хохот, он опять попытался оседлать меня, но и на этот раз оказался на полу.

– Умница! – повторял он счастливым шепотом. – Умница!.. – и ласково трепал меня по загривку. И тут, не сумев справиться с переполнявшей меня любовью, я забылся и радостно залаял.

– Это ещё что такое?! – сердито выглянула в прихожую женщина.

...Он стоял в тазу, а она, улыбаясь, поливала его из лейки теплой водой. Потом намылила и снова стала поливать.

– Расти быстрее! – приговаривала она при этом. – Расти выше!

Он хохотал, подымая брызги, топтался в полном пены тазу, тёр кулачком глаза...

Огромного усилия стоило мне не броситься с оглушительным весёлым лаем в кухню, чтобы облизать его там, мокрого и блестящего, с головы до ног. Я только повизгивал тихонько и скалил в мучительной, разрывающей пасть улыбке частые белые клыки.

Женщина крепко вытерла его простыней и помогла надеть пижаму.

– Если хоть раз прикоснешься к собаке, – предупредила она, – будешь мыться опять.

– Спокойной ночи, Умница, – проговорил он, и маленький розовый рот его округлился в усталом зевке. – Пока!

Я и сам стал собираться уже ко сну, но помешала женщина.

– Спасибо, – поблагодарила она, на цыпочках выйдя из комнаты... – Сегодня всё хорошо. Сразу закрыл глаза. Понимаете, щенок его потерялся. А может, убежал?.. Так трудно было добыть разрешение, чтобы забрать щенка с собой, туда, а он... Взял почему-то и... и потерялся. – Она задумалась, оцепенела на минуту. Вдруг взгляд её оживился. – А вы? Не хотели бы? Коль разрешение на выезд уже есть...

– Извините, но... Видите ли...

Она понимающе кивнула.

– Что ж... Тогда... Можете идти. Всего доброго.

Она повернулась к двери, ведущей на лестницу, и широко её распахнула.

– Пусть остается открытой, – произнесла она с улыбкой. – А то вы споткнётесь. Там темно.

Улыбка её, очевидно по рассеянности, смотрела теперь не вверх уголками губ, а вниз.

По скользкому покату полу, всё выше и выше, боясь неловко сорваться обратно, с трудом добрался я до порога, спустился по лестнице во двор. Гав- га-а-а-а-ав...

ВАЛЕНТИНА ГОЛУБОВСКАЯ

ИЗ КНИГИ «НА КРАЮ РОДНОЙ ГИПЕРБОРЕИ»

ДЕТСТВО С ИСПУГАННЫМИ ГЛАЗАМИ

Мне два с половиной года. Я бегу с подушкой в руках вдоль какой-то изгороди. За мной осталась тьма катакомб, в которых мы прожили время бомбёжек Одессы. Куда я бегу? Дома нет.

Очевидно, в этот момент перехода от темноты, длившейся так долго, к ослепительному свету солнечного дня мне и дарована была свыше Память. Во всяком случае, мои родные и близкие знают это моё достоинство – мою хорошую память. Может быть, это первое детское потрясение и вызвало, разбудило энергию памяти?

Во всяком случае, это не придуманное (увы, наделив меня памятью, Бог не послал мне дар вымысла), а действительно моё первое воспоминание, первое ощущение себя в этом мире.

Так начиналась для меня война.

Много лет спустя я прочла пронзительную фразу у Владимира Набокова: *«О, не смотри на меня, моё детство, этими большими, испуганными глазами»*. Мне остро захотелось присвоить, если бы было возможно, эту фразу!

До войны отец работал на Куяльнике, в одном из санаториев, мы и жили там.

Когда началась война, отцу было пятьдесят семь лет, маме тридцать пять, нас было трое дочерей – старшей, Леночке, четырнадцать, Таечке – девять, и мне – два с небольшим.

На фронт отца не взяли, эвакуироваться не смогли, остались бездомными.

Когда начались бомбёжки, как многие семьи и мы спрятались в катакомбы. Девятилетняя Тая, самая храбрая из нас троих, тайком выбиралась из катакомб, бегала на какие-то огороды с мальчишками, собирая помидоры для семьи.

Наши покинули Одессу, 16 октября вошли немцы. Надвинулась осень. Мама всё время боялась, что нас завалит в катакомбах, что мы будем погребены заживо. Из катакомб надо было уходить. Куда? Куяльник разбомблен, залит водой, отрезан от города. Жить там невозможно. Собрав свои пожитки, мы как-то перебираемся в город. (До сих пор для меня остается тайной, как через затопленные Куяльник и Пересышь перетащили наш буфет, сделанный моей бабушкой к маминой свадьбе. Мама этот буфет, отцовский подарок, очень любила и не расставалась с ним до конца своих дней).

Отец не любил советскую власть, справедливо считая её безбожной. Но и новую, оккупационную, не принял. В отличие от многих, знавших немецкую культуру и перенесших своё восхищение ею на пришельцев в военной форме, отец, воевавший на фронтах Первой мировой, германской, как он её всегда называл, помнил жестокость немецких атак. Кроме того, война была катастрофой, несчастьем, горем, и он не обольщался посулами новой власти. Поэтому никакое, даже малейшее служение оккупантам для отца было неприемлемым. Но семья была большая, нужно было как-то жить. И отец, начиная с ранней весны ходит на хутор, где живёт мамина родня, переехавшая на Украину из-под Вятки после гражданской войны. Он именно ходит, чтобы не просить разрешения на поездку пригородным поездом, идёт сорок или пятьдесят километров пешком, иногда какая-нибудь подвода подбирает его. И так эти походы, небезопасные, он совершает раза два в месяц, чтобы не оставлять семью надолго. Там, на хуторе, он помогает пахать, сеять, жать, собирать урожай, за что и получает мешок кукурузы, мешок картошки, ещё какой-нибудь натурпродукт, с тем, чтобы поздней осенью опять же попутными подводами привезти это в Одессу. Отец вообще был человек Идущий. В молодости, перед Первой мировой, он совершил паломничество по Святым местам, побывал на Афоне, пешком прошёл всю Святую Землю – от Яффы до Иерусалима, Назарет, Тивериадское озеро, Вифлеем. Потом на ногах – Первая мировая. До глубокой старости, а скончался он в восемьдесят пять лет, отец почти всегда ходил пешком, совершая подчас, как во время войны, долгие пешеходные походы.

Валентина Голубовская (1940-2018) – искусствовед, краевед, библиофил. Родилась и жила в Одессе. Окончила Ленинградский Государственный университет. Преподаватель Одесского театрально-художественного училища, автор книг («На краю родной Гипербореи», «Мама купила книгу»), очерков и статей об Одессе и знаменитых одесситах.

Удивительно, что при моей цепкой памяти и интересе ко всяким деталям, мелочам, я совершенно не помню оккупационные деньги. Думаю, что мы вели натуральное хозяйство, что-то из сельхозпродуктов обменивая на самые насыщенные вещи.

«Из тени в свет перелетая», проходит передо мной моё военное детство.

Дворик на Пушкинской угол Малой Арнаутской стал нашим пристанищем после Куяльника. Какое-то помещение с подслеповатыми окошками, выходящими во двор, в котором я обитаю, не смея выйти, даже выглянуть за ворота. Мир существует для меня только в тесном пространстве этого двора. Во всяком случае, никаких впечатлений вне двора. На втором этаже живут две молодые женщины. Свесившись с подоконника, они приветливо зовут меня к себе. Я храбро поднимаюсь по ступенькам на второй этаж. Дамы угощают меня конфетами и даже шоколадом! Я впервые в своей короткой ещё жизни ощущаю божественный, неземной вкус сладостей. Но раздаётся звонок (а может, стук) в дверь. К дамам приходят двое мужчин в военной форме, и только что такие ласковые и приветливые обительницы второго этажа, достаточно поспешно и бесцеремонно выдворяют меня за дверь. Я громко плачу от обиды и непонимания: «За что?!». Мама же, узнав о происшествии, ка-те-го-ри-че-ски запрещает мне ходить к этим «дамам». Должно было пройти много лет, чтобы, повзрослев, я поняла, за чем приходили военные к этим двум женщинам, и почему так отреагировала на мой (без спросу!) визит к ним моя мама.

И ещё одно воспоминание связано с этим двориком.

Боковой одноэтажный флигель занимает румынский офицер. На крыльце можно часто видеть его денщика, надраивавшего до блеска сапоги своего домнула офицера. И вдруг однажды на этом крыльце, в сопровождении того же денщика, появляется с белокурыми локонами девочка, показавшаяся мне живой куклой. А из окна доносится томный женский голос: «Лулу-у!». Это жена офицера с дочкой приехали в завоёванную Транснистрию. Ни разу мы не сделали шаг навстречу друг другу! Нейтральная полоса даже между нами, маленькими сверстницами, была непреодолимой. Интересно, как смотрела Лулу на маленькую завоёванную туземку? Что стало с этой кукольной девочкой, вспоминала ли она свою детскую поездку в Одессу, своего няньку-денщика, бродившую по двору в одиночестве девочку? Мне этот двор запомнился резким столкновением света и тени: на залитом солнечным сиянием крыльце Лулу, и я исподлобья за ней наблюдающая из затемнённой части двора...

Уж не помню, не знаю, как мы оказались на следующей кочевой стоянке – на Гимназической и Большой Арнаутской. О, именно с этим двором и связано большинство моих воспоминаний военных лет.

Прежде всего, именно в этом дворе я научилась различать две военные формы и степень опасности, связанной с ними. Если во дворе появлялись солдаты, одетые в тёмнозелёную форму, плохо на них сидевшую, можно было продолжать играть во дворе. Это забрели румыны, которые будут ходить по квартирам, что-то выменивать либо отнимать какие-нибудь вещи или продукты. Но если во двор входили немцы в ладно скроенной голубовато-серой форме, дети разлетались, как воробьи. Я бежала домой, изо всех сил хлопала осевшей дверью. На голову летела штукатурка...

Сюда забрали родители свою одинокую приятельницу, умирающую от рака, чтобы ухаживать за ней до её последнего вдоха. Впервые я увидела ампулы и не понимала, почему такие хорошенькие бутылочки всегда с отбитыми горлышками. Помню красные таблетки стрептоцида. Врач сказал, что больной нужны лимоны (это при неизлечимой болезни!). Мы были бедны, и лимоны были недоступны, а, может, их в это время и не было в Одессе, их можно было привезти из Румынии. Мама знала, что у больной приятельницы есть племянница, вышедшая замуж за румына. Только чувство долга заставило маму собрать все свои чувства в кулак и пойти попросить лимоны для умирающей тети. Племянница так у нас и не появилась, чтобы проведать умирающую тётку, но через какое-то время прислала денщика мужа. Он принёс два гнилых лимона! Мама отправила их назад. Даже много лет спустя, при воспоминании об этом, мама бледнела, и у неё дрожали губы.

Именно здесь, в этом доме, я рано научилась читать. Первое стихотворение, которое я запомнила наизусть и с упоением читала, не понимая в нём многих слов, было лермонтовское «Бородино». Но чем непонятнее были слова: «уланы с пёстрыми значками, драгуны с конскими хвостами», тем более они завораживали! Среди других книг, разрозненных (в основном русская классика), как-то затесался катаевский «Белеет парус одинокий». Как я любила эту книгу! Я знала её наизусть. И теперь, столько десятилетий спустя, моя детская любовь к этой книге остается неизменной, неистраченной. Я так благодарна ей за детскую любовь к девочке Моте, к Пете и Гаврику, к ружью «монтекристо», к надкусанным пряникам на елке, к сложенным дорожкам от «равликов-павликов» на заборе дачи Маразли, к проезжающему по Французскому бульвару ландо Каульбарса. Проходя мимо аптеки на углу Канатной и Базарной, я всегда



с нежностью вспоминаю, что мимо неё ехала семья Бачей, возвращаясь из Аккермана, а почти рядом с нами, на Новорыбной и Гимназической, в гимназии, Петя взхлёб читал «Белеет парус одинокий» и должен был считать до миллиона!..

А долгими вечерами при свете керосиновой лампы мама читала вслух Некрасова, Жуковского, Пушкина. Для меня Пушкин начался с «Песни о вещем Олеге».

Как многие мои сверстницы, вспоминаю осколки фарфоровых тарелок с остатками росписи, из которых складывались драгоценные мозаики. Словно предвосхищая ещё не написанный Патриком Зюскиндом «Парфюмер», мы с детским варварством набивали флакончики мятой, чабрецом, заливали водой и ждали появления ароматов, а нас обдавал запах застоявшейся воды.

Мама из лоскутков шила тряпичные куклы. Дедушка выпилил, укрепил на ниточках, раскрасил («Петрушку») – подобие марионетки. Сколько было радости!

А на мой четвёртый день рождения друзья моей старшей сестры, Леночки, казавшиеся мне взрослыми, а им было по шестнадцать-семнадцать лет, сделали волшебный подарок. Не знаю уж, где они купили игрушечный диванчик, по размерам подобный мебели в «Нащокинском домике», только не ампирный, а буржуазный – с кожаными спинкой и валиками, с деревянной полочкой и овальным зеркальцем. Эта игрушка вызвала восхищение даже у неизбалованных взрослых. Что же говорить обо мне!

И ещё одно сладостное воспоминание об игрушках. Моя вторая сестра, Таечка, со своей подружкой долго (тогда всё казалось долгим) собирали копейки и в магазине «Два слона» купили игрушечного негрятёнка из папье-маше. Его одевали как девочку, сокрушаясь, что не смогли купить настоящую куклу-девочку. Целлулоидные девочки стоили дорого. Условились, что один день он будет жить у нас, другой день у подружки, жившей напротив. Нужно ли говорить, что один день вместе с негрятёнком у нас с утра до вечера жила подружка, на второй день сестра с пупсом отправлялась к подружке. Я же неотступно следовала по обоим маршрутам за сестрой, за её подружкой, за негрятёнком!

Вся Одесса для меня была этим двором. Мама водила меня в церковь, и эти несколько кварталов были для меня огромным неведомым пространством: другие дома, на мостовой повозка с лошадей, незнакомые люди.

Смутно помню какой-то рождественский утренник в монастыре на Успенской. Родители с довоенных лет дружили с его настоятельницей, матушкой Анатолией. Она иногда бывала у нас дома. Помню немолодую грузную женщину со строгим лицом. Может, этих утренников было несколько, но для меня они слились в одно воспоминание. Подарки с рождественской ёлки – незатейливая игрушка, пряник, яблоко... Но для меня, не избалованной праздниками во время войны, само чудо ёлки, полученного подарка, недолгое общение с другими детьми были нечаянной радостью.

Детские страхи всю войну гуляли со мной под ручку. Наша большая семья обитала в двух маленьких комнатах, рядом была абсолютно пустая комната. И рядом, в соседней квартире, была такая пустынная комната. Эти, покинутые их жильцами, покрытые слоем пыли, комнаты и притягивали меня и пугали. Крайне редко взрослые открывали таинственные двери, я в одиночестве входила туда, пустые, они казались мне огромными и страшными. Сделав по пыльному полу несколько робких шагов, я в ужасе убегала в тесный домашний мир нашего временного жилья. Страхи, страхи – из шёпота взрослых, обрывков разговоров, непонимания, откуда эта вязкая тревога.

Последние недели, дни перед освобождением Одессы. Страх с большей силой поселяется в моей незащищенной душе. Старшую сестру и её ровесника, сына соседки, прячут за какими-то шкапами, потом вообще уводят ночевать к каким-то знакомым – говорят, что будут забирать молодежь. Увезить в Германию. Мама прибегает с побелевшим лицом, чудом не попала на Привозе в облаву. Я не понимаю многих слов, но что за ними таится ужас – остро чувствую. Всё время кто-то приносит во двор тревожные новости – горит порт, горит спиртзавод.

Мы с мамой стоим на углу Пушкинской и Малой Арнаутской (очевидно, мы возвращались из Ильинской церкви. Теперь я думаю, может, это было на Благовещение, седьмого апреля?), и я вижу первый в своей жизни пожар. Горит табачная фабрика (на том месте, где теперь Универмаг). Пламя охватило все четыре этажа, вздымается выше, до небес. Мама плачет. На этой фабрике до войны работал муж скончавшейся недавно приятельницы. Зрелище пожара завораживающе невыносимо. (Лет десять после войны стоял обгоревший каменный остов этого здания эпохи позднего модерна, с прекрасными барельефами. Когда его разобрали под стройплощадку для будущего универмага, ещё долго беспризорными лежали остатки этих барельефов на Малой Арнаутской. Я помню, что Илья Шенкер подобрал, спас один из таких барельефов. Сохранился ли он где-то? Вряд ли художник увёз его в Штаты.)

Наконец наступает девятое апреля. По городу (я помню и на нашем доме) расклеены объявления-приказы: закрыть окна, ставни, оставить открытыми ворота, двери парадных и квартир. Началась тихая паника: что значат открытые двери – предвестие резни, засад, уличных боёв?!

Под вечер мама отодвинула на окне, выходявшем на Большую Арнаутскую, какую-то тёмную занавеску, начала плакать и креститься: «Боже, наконец-то! Они уходят!». Шёпотом, ещё боясь крикнуть, ещё не веря – они уходят! Я тут же, встав на цыпочки, выглянула в окно. По Большой Арнаутской, в сторону Пушкинской, Ришельевской и дальше шли колонны, в которых уже не было выправки, щеголеватости. Зелёные и голубовато-серые цвета шинелей приобрели один – подавленно серый цвет.

И наконец утро десятого апреля! Залитый солнцем город, и по той же Большой Арнаутской, только теперь уже откуда-то оттуда, от Пересыпи, от Старопортофранковской, от Пушкинской и Ришельевской шли Наши! Уставшие, в мокрых по грудь гимнастёрках (взорвана дамба, к центру подходили почти вплавь!), не чеканя шаг, со счастливыми улыбками на лицах, они заполнили всю Большую Арнаутскую. На улицы высыпали все, тут же на ходу обнимали, называли родные имена, не встречали ли такого-то на фронте, может, что-то знаете, где-то встретились на фронтовой дороге? Всё, что было в доме, выносилось на улицу. Я помню наш голубой эмалированный кофейник, наполненный горячим напитком из эрзац-кофе (другого не было!), хлеб, куски мамалыги, картошку, словом, то, что было у нас, мы с сёстрами носили по рядам. И слёзы, слёзы радости и утрат на всех лицах.

Судьба подарила мне много счастливых дней, много ярких, неповторимых встреч, событий.

Но то, что пятилетним ребёнком я пережила 10 апреля 1944 года, несравнимо абсолютно ни с чем!

Потом уже появились первые сапёры и надписи на стенах домов: «Проверено. Мин нет». И госпитали с ранеными, слепые с трофейными аккордеонами в сопровождении маленьких поводырей ходившие по дворам, и плач, вой женщин, получавших похоронки.

И было впереди Девятое мая. Я смутно помню пальбу, крики радости. Действительно, смутно. Потому что для моего детства, для меня война закончилась в апреле сорок четвертого.

МАМИНО ИМЯ

«Полечка пришла!» – радостный папин крик звучал так, как будто бы мама вернулась домой после долгого отсутствия, а не из булочной на Канатной, в квартале от нас. Полечка – не только для папы, но и для многочисленной родни – братьев, сестёр, племянников и племянниц. «Спросить у Полечки», «Попросить Полечку», «Пойти к Полечке», «Позвать Полечку» – варианты были неисчерпаемы. Правда, пока был жив отец, их имена звучали почти слитно: с Полечкой нерасторжимо был связан «Степан Никитич». . . Прожив долгую жизнь, они почти никогда не расставались надолго. Мы, видя их трепетное и бережное отношение друг другу, называли их «старосветскими помещиками», и, пожалуй, это было единственное, что роднило их с гоголевскими героями.

Мама родилась на Севере, в Вятской губернии. Когда Полечка подросла, отец отвёз её в город, в школу. Жить она стала в доме то ли родственников, то ли знакомых.

Однажды она так затосковала по дому, что после школьных уроков не вернулась туда, где поселил её отец, а решила идти домой. Маленькая, хрупкая, она отчаянно шагнула на тракт, ведущий домой. Шла весь вечер, началась ночь, она уже выбивалась из сил, а тут ещё то ли ей померещилось, то ли действительно увидела огоньки волчьих глаз, но она бросилась бежать к первой же избе, которая попала ей на пути. Спасибо, в «курной» избе (а она привыкла к янтарному теплу выскобленных половиц родительского дома) её согрели, а утром отвезли домой. Когда она появилась на пороге своего дома, родители в ужасе закричали: «Полечка, как ты добралась, что случилось?!»

– Соскучилась! – ответила Полечка и зарыдала. . .

Конечно, и среди родных её часто величали уважительно по имени и отчеству – Пелагея Андреевна (а в одесском дворе, естественно, в те годы – мадам Королёва!), но всё равно за ним звучало нежное – Полечка!

Как-то, когда мамы уже не было, я вдруг подумала, что по лености никогда не поинтересовалась, что же значит её имя. Я нырнула в словарь имен и была обескуражена. В словаре было определение «Пелагея – греч., морская». Таласса, Понт Евксинский, латинское *Марина*, но как Пелагея может быть морской?

Правда, в поисках однокорневых слов, я вспомнила о пелазгах – морском народе, как писал о них автор моей любимой трёхтомной «Греческой цивилизации» Андре Боннар. Да, а архипелаг?! Первая часть слова понятна, а вторая? В словарях была ссылка на итальянское происхождение этого слова, я даже нашла уточнение, что ввели его в научный оборот венецианцы, но объяснения второй части слова не было.

Наконец, в совсем старом словаре я нашла толкование термина: вторая часть слова значит по-гречески «морской». Я, увы, не учила никогда древнегреческий, не знаю его лингвистических тонкостей, но нашла в словарях термин «пелагически» *обитатели водных слоёв* и «пелагические» *морские отложения...*

Так что Пелагея – морская! Жаль, что я не могу это рассказать маме, ей бы это было точно интересно! Действительно, есть какая-то связь между именем и судьбой.

Из северного края, в вихре послереволюционных лет мамина семья оказалась на юге. Уже здесь мама окончила школу, а в девятнадцать лет вышла замуж. И Одесса стала ей родной, хоть никогда она не забывала своё северное детство, книги о русском Севере, которые я ей приносила, она перечитывала по несколько раз, всматривалась в фотографии северной народной архитектуры и всегда признавалась, что словно побывала на родине.

А море она полюбила с первого взгляда (у неё и глаза были серо-зелёного цвета, каким бывает тихое будничное море) и на всю жизнь. Ей уже было за восемьдесят, она жила с моей сестрой на посёлке Котовского и радовалась, что может хоть иногда ездить в Лузановку (опираясь на свою палочку!) – к морю.

Море смывало её заботы, её тревоги за всех за нас, хоть на какое-то время она, не замечавшая пляжной суеты, словно отрешалась от повседневности. В её жизни море было Праздником.

Даже морскую рыбу она предпочитала речной. А в тощие послевоенные годы мы ходили с ней на Привоз, в снесённый уже давно старый рыбный корпус и покупали сетку мидий, из которых, как многие тогда в Одессе, мама варила пшав – опять же греческое название. Слово *пшав* в нашем лексиконе появилось гораздо позже. Но никакой, самый роскошный восточный плов не затмит в моей памяти тот мамин пшав из мидий.

Почти вся жизнь прошла в Одессе, но северное происхождение, северное детство, может быть, ярче всего проявлялись в маминной речи, в которой сохранились слова и выражения, не встречавшиеся мною больше нигде. Наша Анечка до сих пор любит бабушкино словечко «дековаться». Я это слово нашла у Даля – «смеяться, шутить, насмеяться, подшучивать, издеваться над кем, дурачить кого-либо. Леший декуется над нами, сбивает, заманивает» и т.д. Мама его употребляла в несколько ином смысле – чрезмерничать, лезть из кожи вон, то есть, всё равно вести себя несурзано, перебарщивать, а в итоге быть смешным. Мне пришлось подобрать несколько синонимов, чтобы объяснить этот глагол, в маминных устах звучавший ёмко и насмешливо. «Что ты декуешься?!» – сказала бы мама по поводу моих «изысканий».

В детстве, когда я пыталась «хвостиком» увязаться за старшими сёстрами, мама предупреждала эти попытки словами: «Ну, вот! Куда люди, туда и мыслети!». С «людьми» все было понятно – это они, старшие, а я, маленькая, относясь к каким-то незначительным «мыслям». Я настолько была уверена в таком толковании, что даже никогда не спрашивала, кто же всё-таки эти непонятные «мыслети». И только, гораздо позже, узнав названия букв в древнерусской азбуке, я поняла, что ничего обидного в этой поговорке не было, что люди и мыслети – Л и М, следуют друг за другом неукоснительно...

В маминной речи открывались исчезнувшие пласты русского языка, с которыми ничего общего не имеют новомодные «ряженные» архаизмы современных классиков. «Декуются!»

Родившаяся в начале двадцатого века и ушедшая в его конце, она пережила, как большинство её сверстников, все лихолетья, беды, горести этого столетия, незначительная свидетельница всех потрясений, из числа тех, к кому не зывают историки, но чьи суждения о времени подчас точнее и искренней, чем многих служителей Клио. Правда, если бы она услышала о себе – «свидетельница истории», то смутилась бы и отмахнулась от этих слов.

Тем не менее, задолго до того, как об этом стало позволено говорить вслух, мы от мамы слышали и о Голоде двадцатых и тридцатых (войну и послевоенные годы мы уже и сами помнили), и о эшелонах с раскулаченными под Одессой, и о «ежовщине», и о разорённых храмах. Эти её воспоминания естественно вплетались в рассказы о повседневной жизни – о невозможности кушать хоть метр ситца, или вечном страхе потерять хлебные карточки.

Это всё засело в её памяти такой болью, что и в поздние годы относительного благополучия она никогда не могла выбросить кусок чёрствого хлеба или старое платье, не разрезав его, чтобы сплечь какие-нибудь передники для кухни или мешочки для крупы, это не было скупостью, а отражением всё той же боли.

У неё были ясные представления о человеческих ценностях. Одним из самых сильных воспитательных средств было понятие стыда. «Это – стыдно!», пожалуй, чаще всего употребляемый мамой аргумент. Когда меня иногда подозревают в лицемерии или ханжестве за моё неприятие ненормативной лексики, я не могу объяснить, что во мне это на клеточном уровне. Мама таких слов «ненормативная лексика» и не знала. Она знала – СКВЕРНОслобие. В изначальном смысле этого слова, совсем по Далю – сквернословить,



вести непристойные, ззорные, постыдные речи; срамно, похабно ругаться. Это был грех. Это был стыд и срам. Хоть гамму чувств могла передать очень ёмко и выразительно. «Мама, а что, у вас действительно никто не ругался?» – допытывались мы, став взрослыми. «Почему же, – говорила мама, – шалопуты всякие ругались. А нас строго воспитывали».

Вообще к слову относилась очень строго и трепетно. Терпеть не могла уничижительного отношения к имени.

Однажды в какой-то наш семейный праздник я вышла на кухню и увидела, что мама стоит расстроенная. «Мама, что случилось?». У мамы дрожат губы: «Как она могла тебя так назвать?!» «Кто, как назвать?» – не понимаю я. «Как Женя могла тебе крикнуть – “Валька!”?». Все мои попытки объяснить, что мы все так разговариваем, только подливали масла в огонь маминой обиды на Женю, к которой она всегда относилась (как и ко всем нашим друзьям!) с большой симпатией. Могу только признаться, что благодаря маме своих сестёр ни разу в жизни я не назвала ни Ленкой, ни Тайкой, как и они меня Валькой.

Вспоминаю мамин воспитательный довод в детстве на какую-нибудь мою провинность: «Ты что, хочешь быть похожа на уличную девчонку?!». «Уличная девчонка» – это была угрожающая степень падения. Нет, нет, я совсем не хотела быть похожа на уличную, говорившую дурные слова, девчонку!

Приучала нас к терпеливости и выдержке. Любой узелок нужно было развязать(!), не прибегая к помощи ножниц. Признаюсь, я до сих пор развязываю завязанные на узелки полиэтиленовые мешки, принесённые с базара, перед тем как выбросить их в мусор. Мамин урок!

Не знаящая испекающего чувства зависти, пожалуй, только в одном случае оно всё же очень робко проявлялось. Когда речь шла об образовании. Ценою невероятных усилий родители сделали всё, чтобы мы получили высшее образование. Мама же тайно мучилась его отсутствием в своей судьбе, не позволившей ей реализовать те способности, которыми её щедро наделила природа – совершенно изумительную память, способность всё схватывать на лету, логику мысли.

После войны Лена, моя старшая сестра, учится в медине. Её подруги Алла Берлизова, Лиза Шварццель, вернувшаяся с фронта Лида Вайнберг, Муза Доманская готовятся к экзаменам у нас. Мама тихо-нечко, чтобы не мешать девочкам (а она сама ещё совсем молодая), что-то пьёт или вяжет, внимательно вслушиваясь в медицинские названия, легко их запоминая. «Как, как называется эта косточка (эта мышца, связка etc)? – и пока лихорадочно перелистываются учебники, конспекты, мама, смущаясь, подсказывает искомый латинский термин, никогда не ошибаясь. «Мама, ну, как ты это всё запоминаешь?!». Мама от смущения пожимает худенькими плечиками – «Запоминаю...».

Потом приходит черёд постигать науку с Тайей и её подружками. С тем же интересом и вниманием мама вслушивается и запоминает технологические термины. Мне очень жаль, что мама не училась со мной в Ленинградском университете. Ей было бы очень интересно! И мы бы с полным правом ей говорили: «Мама, у тебя три образования!».

Память была потрясающая. Она любила обстоятельно рассказывать, с мельчайшими подробностями описывая пуговички, складочки, воротнички строгих блузок своих дореволюционных учительниц, называя десятки имён нам неизвестных людей, вспоминая подробнейшие детали северного детства, свои первые впечатления на юге. Часто с юмором.

Так среди смешных её рассказов мы вспоминаем историю с арбузом. В первые же дни на юге кто-то угостил детей, маму, её сестер и братьев – Дунечку, Санечку, Павлушу, Егора и Шуру (перечисление имён всех участников было непременным условием, чтобы никого не забыть и, следовательно, не обидеть!) – арбузом. «Что это?» – спросили дети, не видевшие прежде такой диковины, ведь на их северное детство пришлась первая мировая, революция, гражданская война. Им объяснили. «А он какой?» – «Сладкий». «А, сладкий! Спасибо!». Через какое-то время угощавшие видят, что арбуз не тронут. «Дети, почему же вы не съели арбуз?». «Мы его оставили к чаю». «Как к чаю?!». «Но вы же сказали, что он сладкий!».

Жизнь не баловала маму. Редкие путешествия – Ленинград, Москва, Киев, Севастополь, Ялта, Балаклава, поездка с папой на его родину – она хранила в своём сердце, постоянно перебирая в памяти эти драгоценные воспоминания. Только младшая сестра, Санечка, побывала через много лет на их родине. С какой жадностью мама расспрашивала её о том, что сохранилось от родительского дома, от запомнившегося на всю жизнь пейзажа родных мест...

Я вернулась из Израиля, и мама так же дотошно расспрашивала меня, словно сверяя мои впечатления с папиными рассказами о Святой земле.

В потаённых уголках её памяти хранилось так много воспоминаний, людей, событий. И много стихов. Вдруг она могла прочесть какую-нибудь балладу Жуковского или «Емшан» Аполлона Майкова, то,



что она слышала, учила ещё в далёкие школьные годы. Она вообще любила стихи, а особенно поэмы с долгим повествованием, сюжетом (особенно историческим). В послевоенные годы, при свете керосиновой лампы, мама любила читать вслух. Она читала Пушкина, Лермонтова (вспоминаю толстую синюю тетрадку, в которую был переписан «Маскарад» Лермонтова. У нас был только том лермонтовских стихов). Но благодаря маме всё моё детство прошло со стихами и поэмами Некрасова. Он был самым любимым её поэтом. *«В мире есть царь, этот царь беспощаден, Голод названье ему»* – мамин голос дрожит, а у меня полные глаза слёз. Герои и героини Некрасова мне казались похожими на моего дедушку Андрея Сергеевича Семеновых (мама очень любила свою девичью фамилию – из рода Семеновых!) и злилась на советскую власть, заменившую родовое имя дедушки на простецкое *Семенов*) и бабушку Анисью Николаевну. Но, конечно же, прежде всего многие строки, образы я связывала с маминим детством. *«Плакала Саша, как лес вырубили, ей и теперь его жалко до слёз. Сколько тут было кудрявых берёз!», «Саша сбирала цветы полевые, с детства любимые, с детства родные, каждую травку соседних полей знала по имени...»*. Не только о Саше, а о маме в детстве, о маленькой Полечке, казалось мне, были написаны эти и многие другие некрасовские строки.

В молодости она даже попыталась написать в ритмизированной прозе, напоминающей стихи, о своём детстве, о прощании с родиной, о долгом пути на юг, в неизвестность. У меня перед глазами стоит удлинённого формата альбом, страница, заполненная маминим убористым почерком. Мы с сёстрами после маминого ухода пытались найти этот альбом, но тщетно. Очевидно, мама его уничтожила, считая свои мемуарные пробы юношеской блажью, нескромностью. Как жаль!

Северная русская семья. Уже здесь на юге, этот северный круг был разомкнут. Мамин старший брат Павлуша женился на дочери немецкого колониста. А потом всё новые этнические ветви появлялись на этом древе, пересаженном с севера на юг. Мамина младшая сестра Санечка мне недавно написала, что насчитала в нашей родне шестнадцать национальностей. И все родные! – пищет Санечка. Вот вам русская семья, вот вам юг, вот вам Одесса!

Мама прожила долгую, полную трудов и лишений, любви и достоинства, жизнь, до последнего часа сохраняя ясность ума и прозрачную чистоту речи. Вокруг неё всегда был тихий тёплый свет, как от восковой свечи. Она и ушла от нас, отгорев, как свечечка. Наша Пелагея Андреевна. Наша Полечка. Наша мама.

ПАПИНА «НЕВЕСТА»

Детских фотографий у отца не было. Поэтому я представляю его похожим на нестеровского отрока Варфоломея, со светлорусыми волосами и синими глазами. Этот синий цвет глаз он сохранил до глубокой старости.

В этом году отцу исполнилось бы сто двадцать лет. Он родился в позапрошлом веке, под Пензой. В семь лет он остался круглым сиротой. И в семь лет он пошёл работать. На винокуренный завод. На заводе его обязанностью было зажигать керосиновые лампы, следить за ними, подправлять фитили. За это он получал жалованье – один рубль. На этот рубль он жил в течение месяца. Он не искал защиты в орудии пролетариата – булжнике, а свои детские печали, своё детское горе доверял только Богу, вознося ему свои искренние детские молитвы.

Хозяин завода обратил внимание на старательного одинокого мальчика, проникся к нему сочувствием и начал его продвигать по службе, как сказали бы сейчас, давая ему всё более сложные поручения и повышая жалованье.

Ни одного дня мальчик не учился в школе.

Но через какое-то время на заработанные деньги мой будущий отец смог взять себе студента-репетитора, который обучил его чтению, письму, потом азам математики, поделился знаниями об окружающем мире, то есть стал его школой, его университетом.

Получив это «домашнее» образование, уже юношей, отец окончил какие-то курсы не то бухгалтеров, не то счетоводов, как это тогда называлось. Почувствовав, что он выжил, не утонул в этом житейском море, видя в этом Божий промысел, отец смог совершить обет, возможно, принесённый им ещё в детстве.

Года за два до начала Первой мировой войны он приехал в Одессу, остановился в Андреевском подворье и отсюда отправился в паломничество по Святым местам – Афон, Синай, Святая Земля. У меня сохранилась своя «Ветка Палестины» – Путеводитель по Святым местам, изданный Российско-палестинским обществом, с отцовскими пометками.

Он обошёл пешком всю Святую землю. Но грянула Первая мировая, и русских паломников, возвращавшихся в Россию, интернировали в Константинополе, где они провели целый год. В Константинополе



тоже было Андреевское подворье, даже по архитектурному облику повторявшее одесское. Оно и стало для русских паломников убежищем. Проработав на тяжёлых физических работах, отец смог вернуться наконец-то в Одессу, откуда пошёл солдатом на Германскую войну, попав на галицийский фронт.

Повидавший Мраморное, Средиземное, Мёртвое, Чёрное моря, он влюбился в морскую безбрежность на всю свою долгую жизнь и поэтому из окопов германской вернулся в полюбившуюся ему Одессу. В заменившее ему дом Андреевское подворье. Работал там истопником, выполнял ещё какую-то тяжёлую работу. Этого он никогда не гнушался.

А к церкви Андреевского подворья жались её прихожане. Из «бывших». Со многими из них отец сохранял дружбу всю жизнь. Очевидно, тогда, в этой среде, к отцу и стали обращаться исключительно по имени и отчеству – Степан Никитич. Могу только сказать, что ни разу(!) я не слышала, чтобы отца звали иначе. Даже когда меня стали звать – Валентина Степановна – мне это казалось странным – Валентина Степаникичишна, мне это казалось бы естественным.

Ему уже было за тридцать, он был статен, синеглаз, в нём была какая-то внутренняя культура. Он был человек искренней веры и религиозной образованности. И эти «бывшие» приняли отца в свой круг.

Среди прихожанок были – Вера Андреевна Биллиг и её дочь Лидия Осиповна. И знакомые стали прочить Лидию Осиповну в невесты отцу. Не могу судить, насколько продолжительными были эти усилия, но из них ничего не вышло. Но об этом дальше.

И хоть однажды какой-то хиромант предсказал отцу, что у него будет большая семья, отец отнёсся к этому с недоверием, будучи не только совершенно одиноким в этом мире, но и устоявшимся холостяком.

Правда, пройдёт ещё несколько лет, и отец встретит свою Полечку, юную северянку, только недавно окончившую школу, круговертью гражданской войны унесённую со всей своей большой семьёй «с много севера в сторону южную».

И при всём недоверии ко всяким предсказаниям, отец понял, что слова хироманта, рассмотревшего на его руке линии судьбы (а встретились они в поезде, и рука была протянута от железнодорожной скуки), оказались вещими.

Так, вместе со своей Пелагеей Андреевной, со своей Полечкой он обрёл большую родню, её сестёр и братьев, потом родились мы, три дочери. Он не чаял души в маме и в нас. И, несмотря на все лишения, все горести и невзгоды, считал себя счастливым человеком, в избытке делавшимся всем, что у него было, с родственниками и друзьями. Когда он умер, в весьма почтенном возрасте, его, не знаменитого человека, проводить в последний путь пришло очень много людей – с тем он поделился куском хлеба, о том он помолился, для того нашёл слова утешения и надежды...

А его друзья по Андреевскому подворью стали друзьями всей семьи. И среди них Вера Андреевна и Лидия Осиповна. Какие-то семейные предания были известны и нам, детям, потому что часто мы встречали отца словами: «Папа, приходила твоя «невеста!». Лидия Осиповна крестила мою сестру Таю, которой коснулось княжеское происхождение крестной матери.

Дело в том, что Вера Андреевна Биллиг в девичестве носила фамилию Волконская. Она принадлежала к знаменитому княжескому роду, была родственницей Льва Толстого. Я помню её в первые послевоенные годы – хрупкую пожилую даму, в неизменной шляпке. Помню разговоры за нашим столом о Толстом. Вера Андреевна и гордилась своим великим родственником, и страдала из-за его отлучения от церкви.

В моей памяти сохранился какой-то пасмурный день, когда в слезах прибежала Лидия Осиповна: скончалась Вера Андреевна. Моя мама сняла со стены наш простенький ковёр, чтобы постелить под гроб. Так княжну Волконскую в последний путь провожали мои родители.

Лидия Осиповна осталась одна. Опять же из семейных преданий – до войны она уже собиралась выйти замуж, но началась война, и её жених то ли погиб в гетто, то ли на фронте. (Кстати, об отце Лидии Осиповны говорили, что он был немцем, военным морским капитаном. Погиб ли он на Первой мировой, то ли, подобно Булгаковскому Тальбергу, ушёл со своими – неизвестно. По-моему, толком о его судьбе не знали мать и дочь).

Часто меня посылали с какими-нибудь скромными гостинцами навестить родительских друзей, старичков и старушек, какими они мне казались в моём детском возрасте, – здоровы ли они, что-то давно не приходили (телефонов ведь не было!). Признаюсь, что я с удовольствием исполняла роль гонца. У Филипповичей меня усаживали за круглый стол, на который ставилась мамалыга или картошка, но сервировка! Столовые приборы, лежавшие на серебряных подставочках, кольца для льняных салфеток – всё это приводило меня в восторг.

Жившая в полутёмной то ли бывшей дворницкой, то ли бывшей прачечной, Мария Мироновна,

певшая в прежние времена на оперной сцене, рассказывала о Париже, раскладывала передо мной старинные фотографии...

Лидия Осиповна принимала меня в своей «гостиной» – в пустой комнатёнке, в которой стояли два стула и какой-то комодик с зеркалом над ним. Во вторую комнатку, бывшую спальней, я никогда даже не заглядывала. Мне кажется, что у неё не сохранилось ничего, напоминавшего о её прошлом. Никаких материальных свидетельств. Но...

Однажды я пришла к Лидии Осиповне, и почему-то после традиционных расспросов о житье-бытье, мы заговорили о Пушкине и о «Евгении Онегине». Очевидно, я училась в восьмом классе, когда «проходили» в школе Пушкина. И несмотря на то, что онегинские строфы я знала наизусть, но, увы, несла чужь, вбитую в голову советской школой.

Лидия Осиповна терпеливо (теперь я понимаю – с сожалением) слушала меня, а потом, когда я иссякла, произнесла: «Валечка, но как Татьяна могла написать такое письмо Онегину?! Девушки нашего круга такого себе не позволяли!». И я от этих слов застыла, как все герои «Ревизора» в немой сцене.

Она стояла, опираясь, на комодик, в нищенской комнатёнке. Эти слова о «девушках нашего круга» были её столпом веры, её княжеским наследством...

ПЛАТЬЕ МАДАМ ОБЛОМОК

Среди семейных фотографий, довоенных, послевоенных, нынешних, хранится несколько портретов начала прошлого века, они держатся несколько отстранённо, словно сохраняя дистанцию. И я их принимаю. Они – другие. Сделанные в модных одесских фотоателье Чеховского, Мильмана (с адресами и многочисленными медалями, дипломами на оборотной стороне), они сохранили черты красивых дам и уверенных в себе джентльменов.

Эти фотографии мне достались в наследство от родителей, которые бережно их хранили. Это семейство одесских греков – Георги, пожалуй, самых близких друзей моих родителей. Из всего этого семейства моя детская память сохранила только воспоминания о Татьяне Георгиевне Георги, уже к началу войны оставшейся совершенно одинокой. Когда она тяжело заболела, родители забрали её к себе и до последнего её часа верно и преданно за ней ухаживали. Татьяна Георгиевна заботливо и нежно относилась к моей молоденькой маме и, очевидно, в знак особой привязанности подарила ей платье, то платье, которое я вижу на одной из фотографий, с которых я и начала свой рассказ.

Может показаться странным, что в послевоенных лишениях, когда маме приходилось бережно подерживать своё единственное выходное платье (она в нём ещё на предвоенной фотографии), когда она постоянно что-то перешивала нам, своим трём дочерям, так что мне, как младшей, доставались дважды перешитые наряды, к этому подаренному платью мама никогда не прикасалась. Оно, как «эхо прошедшего времени», грустно затаилось в ящике маминого комода. Действительно, из другой жизни, из другого времени, оно своим чёрным шёлком, воротничком-стоечкой и кокеткой из чёрных кружев «шантильи», горестно подглядывало за тяготами нашего бытия. И мама, понимая всю несоразмерность образа платья и окружающей его бедности, сохранявшей своё достоинство, ни разу не позволила себе какой-нибудь утилитарный жест, оскорбительный для этого платья.

Так и хранилась кружевная шелковая память в темноте комода...

И всё же! Платье дождалось своего часа! Оно всё-таки сыграло свою роль, вырвалось из заточения и отпраздновало свой полувековой юбилей. И как!

...Когда мы перешли в девятый класс, объединились мужские и женские школы, и это гендерное братание должно было отметить каким-то действием, актом, перформансом, что и было сделано. На нашей школьной сцене был поставлен спектакль, уже не было нужды в трагедийности, выбор претендентов и претенденток на главные роли был велик. Это была пьеса Б. Горбатова «Юность отцов», из того же комсомольского арсенала, что и «Каховка, Каховка, родная винтовка», «Дан приказ ему на Запад...» и прочие подобные мотивы.

Я весьма смутно помню фабулу пьесы, населённой «комсомольцами-добровольцами», причём ни одна из этих главных ролей мне не досталась. Очевидно, сказалось отсутствие во мне комсомольского азарта. И всё же одной роли я удостоилась. Действие пьесы происходило в какой-то разорённой гражданской войной дворянской усадьбе(?), в которой из прежних обитателей оставалась почтенная дама, которой нахрапистые герои драматического опуса тут же дали, по своим понятиям, прозвище «мадам Обломок». Вот эта роль и была поручена мне.

Раз уж так легла театральная карта, мама извлекла из комода заветное платье, подсобирала, подшила, пригнала его на мою пупую фигурку, и я, «шелками чёрными шумна», предстала на школьных подмостках. Спектакль имел головокружительный успех. И моя героиня произвела настоящий фурор.

Саша Розенбойм, с которым мы вместе учились, драгоценный свидетель моей оглушительной и недолговечной артистической славы. О, никогда, никогда больше такие «несметны дани народных слез, рукоплесканий» не дано мне было пережить. Ещё бы! По Большой Арнаутской, от самой школы до нашей Гимназической улицы, с гиканьем и воплями: «Пацаны, мадам Обломок!» за мной неслись орды чумазых и сопливых поклонников! Более смиренные третьеклассники, робея, подходили ко мне и с учтивой шепелявостью вопрошали, я ли играла мадам Обломок, а я отвечала благосклонным кивком головы...

Слава Богу, эта сладкая отрава успеха не надолго вскружила мне голову. А потом и вообще мне стало понятно, что не мои, весьма условные артистические возможности, были тому причиной. Это Платье сыграло свою Роль, устроило себе бенефис, чтобы потом, оставшись в моей памяти, истлеть, исчезнуть, испариться, может быть, превратиться в некую субстанцию, готовую в иных мирах встретиться со своей первой и подлинной владелицей...

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, УГОЛ МАЛОЙ АРНАУТСКОЙ

Зимой двор замирал. Даже «зимних праздников весёлые тревоги» были домашними и на двор не распространялись. Даже выпадавший снег, сугробы, санки – не выводили двор из зимней летаргии.

Настоящая жизнь начиналась весной. С весенних, мартовских, каникул. Сбрасывались галоши с ботинок или полуботинок, с туфель на шнурках, которые назывались «мальчуковыми», сбрасывались носимые поверх чулок (о колготках в те послевоенные годы ещё ничего не было известно) байковые, чаще всего коричневого цвета, шаровары. На смену тяжёлому зимнему пальто приходило демисезонное, если только оно было. Становилось легко и свободно.

От зимней выморочности, от спячки двор постепенно приходил в себя. Во дворе зацветали абрикосы, выносились из квартир фикусы, олеандры, на подоконниках в горшках расцветали скромные «райские кущи» небогатого послевоенного быта – бегонии, герани, фуксии, калачики. В конце мая воздух был залит запахом цветущих акаций.

Словно истосковавшись в зимней немоте по звукам, двор начинал прочищать горло.

Из распахнутых окон звучали концерты по заявкам, которые непременно начинались «Кантатой о Сталине» или же «На просторах Родины чудесной», потом шли «Москва-Пекин, Москва-Пекин, идут, идут вперёд народы...». После марта пятьдесят третьего трудящиеся в едином порыве хотели слушать «Партия – наш рулевой!» После официальной части приходила очередь услышать «Ой, стоит калина в поле у ручья...», которая сменялась «Полонезом» Огинского, а «Полонез», в свою очередь, кубинской народной песней (так объявлял диктор) «О, голубка моя...» или куплетами «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем...». Голоса Михаила Александровича, Роберттино Лоретти, Гелены Великановой сменяли друг друга.

Появлялись точильщики ножей, лудильщики медной посуды, старьёвщики или старьевешпшники, как тогда звучало это слово, стекольщики, слепые с аккордеонами и дети с ними, жалобными голосками певшие «Разлука ты, разлука...». Иногда появлялся человек с волшебным фонарём, вставлявший в него подобие современных слайдов. Прильнув глазом к окуляру, несколько минут можно было лицезреть виды европейских городов. Это было чудо! Забрехали гадалки, зычными голосами предлагавшие поведать всё о будущем, иногда приходили более тихие владельцы птичек, вытягивавших бумажки с предсказаниями всё той же счастливой судьбы.

Но это были пришлые голоса. У двора были свои мелодии, своя музыка, иногда гремевшая как «Полёт валькирий».

На деревянных ступеньках площадки, в подъезде, усаживалась мадам Корецкая со своим пинчером Жулкой, залихватским голоском встречавшего и провожавшего каждого идущего. Неистовым лаем радости Жулка встречал мужа мадам Корецкой, тачечника, который в конце дня вкатывал во двор свою тачку (грузовое «такси» тех послевоенных лет), оглобли которой, казалось, под наклоном упирались в небо.

У ворот, из открытых окон второго этажа, был слышен серебристый смех, а иногда пение мамы Милочки Рахман. У неё был необыкновенной красоты голос, и весь двор сожалел, что Лидия не стала, а могла бы стать, оперной певицей. Иногда всё с того же второго этажа раздавался крик петушиной тоски. Милочке Рахман бабушка купила цыплёнка. Милочка, интеллигентная городская девочка, привязалась к



этому пушистому комочку живой природы. Цыплёнок, превратившийся в петушиного юношу, а потом в заматерелого петуха, привязанный за лапку, расхаживал по площадке второго этажа, оглашая одинокими криками подъезд. О том, чтобы совершить обряд превращения его в бульонное мясо, в семье Рахманов не могло быть и речи. Уж не помню точно, как сложилась судьба Пети, но, кажется, бабушка его кому-то подарила. Мы сострадали Милочке в её печали.

От площадки второго этажа наверх (в типичной одесской галерее) шла узкая деревянная лесенка в крошечную квартирку, в которой жила Майя Ладыженская и её мама – тётя Этя. Отец Майи погиб на фронте. Тётя Этя, чуть сутулившаяся, с неизменной приветливой улыбкой, легко взбегала на третий этаж. В их квартире единственной вещью, словно выпадавшей из неказистой обстановки, было пианино. До сих пор помнится робкое прикосновение к клавишам, которое Майя великодушно позволяла мне совершить, коричневая с вышивкой фуляровая дорожка, которой покрывалась клавиатура, перед тем как опускалась крышка. Даже лёгкий запах нафталина, шедший от пианино, завораживал.

Летом, когда тёте Эте удавалось получить путевку для Майи в пионерлагерь, на одну смену, я скучала без неё и даже тайком ездил куда-то на Фонтан, чтобы найти Майю в пионерлагере. Как «на деревню дедушке». С тем же результатом.

Здесь же в подъезде жила счастливая до поры до времени пара – Надя и Лёва, с сыном Адиком. Счастливая до тех пор, пока Надя не пошла торговать в будке пивом, к которому Надя быстро пристрастилась... Не стану описывать, в каком виде красивую Надю всё чаще стали видеть. Уж не знаю, каким способом Лёва (очевидно, только силою любви) вытянул Надю из этой воронки, но случилось невероятное – спасши Надю, Лёва запил сам. И неблагодарная Надя его выгнала. Двор единодушно встал на сторону Лёвы, и Надя поменяла квартиру. Так во дворе к моей радости, появилась ещё одна умненькая девочка – Эмма Школьник.

Там же в подъезде жил военный музыкант, и в многоголосье двора вплетался медный звук трубы!

Военную медь могла перекричать баба Настя, которую награждали нелестными эпитетами, и только моя мама жалела её и звала, по своей привычке уважительного отношения к имени – Настасья Фоминична. Рядом с крикливой Настей, в подвале, жила тихая, смиренная мадам Шиманская, которая вечно чистила во дворе чьи-то кастрюли, сковородки, начищала до блеска медные примусы, и, тем не менее, к ней обращались неизменно – мадам Шиманская. Кстати, когда несколько позже во дворе появилась польская семья, то к матери семейства не обращались «пани Новаковская», а всё так же, по одесскому обычаю, «мадам Новаковская». И не было разницы, где жили эти мадам – в подвалах нашего двора, на втором, третьем этажах, пользовались ли они духами «Красная Москва» или простенькой «Белой сиренью», а то и просто от их натруженных рук шёл запах хозяйственного мыла – не социальный, не квартирный статус был определяющим – нужно было уж очень «достать» дворовое сообщество, чтобы лишиться права обращения «Мадам!». А так во дворе постоянно звучало обращение – мадам Лименис, мадам Королёва, мадам Медведева, мадам Сталова, мадам Талесник, мадам Школьник!..

Двор был узким и длинным. В нём были свои полярные территории – подъезд и часть двора, прилегающая к подъезду, где вибрировали свои страсти, возникали свои, местные, «скандалы в Клошмерле», более тихая зона посреди двора и, наконец, другой полюс – противоположная от подъезда часть двора, где взрывались свои вулканы.

При отсутствии, за редкими исключениями, бытовых удобств, все жильцы тянулись через весь двор к уборной и крану в конце двора. (Рядом с краном стояла огромная бочка с дождевой водой. Вода в деревянной бочке казалась чёрной, в ней плавали листья). Это тоже объединяло, а, порой, приводило к противостоянию между обитателями дворового пространства.

В конце двора жила подруга моей сестры Таи – Лиля Тартаковская. Её отец, то в военной форме, оставшейся ещё с военных лет, то в гражданском костюме, проходил медленно, прихрамывая, через двор. Однажды я увидела его, шедшим по двору на костылях, – без ноги, штанина брюк была подвернута до уровня колена. Я была потрясена и ничего не понимала, пока от взрослых не услышала слово «протез»...

Под Тартаковскими на первом этаже жила ещё одна семья Рахман. Аллка Рахман была года на два старше меня, и какое-то время я взирала на неё с таким же почтением, как незабвенная Эллочка на Фиму Собак. Ещё бы! Когда Аллка хлопала и шмыгала носом, то всё лицо словно переворачивалось по диагонали. Мне это казалось почти цирковым фокусом! И я какое-то время, то, стоя перед зеркалом, то, просто идя по улице, тренировала мышцы лица, с тем, чтобы рот уходил в одну сторону, а нос – в другую! Нет, мне так и не удалось хоть частично приблизиться к желаемой цели! Наверное, мне не повезло – у меня не было такого насморка, который одолевал Аллку!



В том конце двора жили Капитан и Капитанша с детьми. Капитан был владельцем трофейной развалюхи, по сравнению с которой «Антилопа-Гну» выглядела, как «Мерседес» рядом с горбатым «Запорожцем». Все поездки на этом авто ограничивались, по-моему, выкатыванием его, с помощью соседей, из двора, затем шло продолжительное копанье в механизме, затем машина вновь вкатывалась во двор. Тем не менее, обладание пусть такой, но всё же машиной, придавало Капитанше самоуверенности. Она с превосходством взирала на соседок, высокомерно подняв голову прохаживалась по двору в длинном халате, жеманно цедила слова. Этого ей, возможно, ещё чего-то, что мне неизвестно, ей не прощали. Скандалы возникали часто. Уж не помню в адрес ли Капитанши, из её ли уст, но точно помню, что летним днём, сидя с Аллкой Рахман под её окном, в классической дворовой перебранке я услышала неизвестное доселе мне слово «проститутка». Слово мне понравилось своей иностранной непонятностью и созвучием со словом «институтка», которое я хорошо знала по романам Анны Чарской, над страницами которых было пролито столько слёз. И всё же, как теперь бы сказали, контекст настораживал и я не решилась выяснить значение слова – ни у мамы, ни даже у Аллки, чтобы не проявить перед ней свою неграмотность.

Тем более что к моей словесной неграмотности ровесники относились не слишком доброжелательно.

Летним вечером мы сидим во дворе, и Витьку, Марусино сына, муж которой тоже погиб на войне, просят рассказать анекдот. Витька был грозой двора и окрестных кварталов. Он отказывается, его просят всё настойчивее, и вдруг Витька, указывая на меня, говорит: «Я при ней не могу!». Меня, как белую ворону, прогоняют, я, глотая слёзы, иду домой. Через много лет я с признательностью вспоминаю Витькину тактичность.

Витька с мамой жил напротив Аллки на первом этаже, над ними жила семья Толика Малых, отец (а может, отчим?) которого вернулся с фронта слепым, и мама Малого, как во дворе звали Толика осторожно и бережно водила мужа под руку. А над ними, на третьем этаже, жила семья Левит. Я с восхищением смотрела вслед их дочери, приходившей навещать родителей – иногда с мужем, иногда с сыном, иногда всем семейством. Её звали Люся. И весь двор был единоклупен в оценке, что Люся – красавица.

Когда мы провожали на вокзал в далёкую Австралию Михайликов, то уже после того, что поезд отошёл, а все слёзы не были выплаканы, я среди стоявших в немом отчаянии знакомых, смотревших вслед поезду, вдруг увидела Люсю. Теперь это была дама «серебряного» возраста, возможно, она была приятельницей Эддошкиной мамы – Номы Григорьевны. Вероятно, внутренняя необходимость как-то побороť наступившую протрацию вдруг толкнула меня к ней, и я рассказала, как любовалась ею в детстве... По-моему, она была смущена не менее, чем я.

О скольких я ещё не упомянула! О начитанных, увлечённо игравших в шахматы, мальчиках нашего двора. О совместных походах на море – в Отраду, на Ланжерон, или любимый кусочек моря под Лермонтовским курортом. О дворовых играх в жмурки, в штандер, в волейбол, и горе было тому, кто попадал мячом в соседское окно!

Но были при дворе постоянные величины – дворничка, тогда говорили – смотрительница, Феня со своей огромной семьёй. Постоянно обходила весь квартал, захаживала в квартиры, выступала в роли третьей судьи управдом Любовь Матвеевна (Вы знаете хотя бы фамилию начальника вашего ЖЭКа или ДЕЗа?), многолетний однорукий почтальон Федя. И, наконец, в послевоенные годы, наш участковый врач – доктор Липшиц. Это была пожилая дама, очевидно, судя по интеллигентному облику и медицинскому опыту, из той когорты одесских врачей, которые образование получали до революции за границей. Она жила на нашей же Гимназической, но на квартале, куда выходит боковой фасад бывшей Пятой гимназии. После нашего говорливого двора, вытекавшего за ворота, в квартал между Малой и Большой Арнаутскими, где все друг друга знали, – тихое окончание Гимназической мне казалось почти аристократическим. В немалой степени этому способствовало то, что здесь была квартира доктор Липшиц, которая жила здесь со своей сестрой. Когда она приходила к нам, то после «докторского» визита, на какое-то время задерживалась. Мама наливала чай и ставила нехитрое угощение, но, очевидно, потребность в доброжелательном общении была необходима нашей доктор Липшиц больше, чем скромное угощение. Не помню, к сожалению, её имени- отчества.

Конечно же, как в каждом или почти в каждом одесском дворе и у нас были подвалы, переходившие в катакомбы, тянувшиеся до Канатной, возможно, и дальше. После войны между двором и Малой Арнаутской тянулась развалка. И хоть взбираться на неё мне было запрещено, но разве можно было удержаться и не нарушить родительский запрет?!

Скромные ромашки, кустики паслёна, дикие калачики, безымянный бурьян скрывали лежавшие на поверхности сокровища – кусочки стекла, осколки расписных тарелок, какие-то железячки, деревяшки,



винтики, кусочки фольги... Наш неистовый исследователь одесских котлованов Олег Иосифович Губарь поздно родился. Он уже не застал те развалки, которые, очевидно, хранили, как пепел Помпеи, материальный слой довоенной Одессы... А я, вспоминая двор своего детства, на Гимназической-Вайсман-на-Институтской-Иностранной коллегии-Гимназической – думаю, что моя память, как та спрессованная развалка, хранит дребезги, осколки моих воспоминаний.

ИСЧЕЗЛИ...

...крики во дворах: «Паяем-починяе-е-м! Паяем-починяе-е-м!», «Точить ножи, точить ножи-и и ножицы-ы!»), «Стекла вставляем, стекла вставляе-е-м!»), «Стары вешши покупаем, стары вешши покупае-е-м!»). Появился «Секонд хенд».

Исчезли биндюжники на подводах, извозчики на брничках, тачечники с тачками вокруг Привоза и у вокзала. Исчезли инвалидные «авто» – двухместная жестяная коробка на колёсах с мотором. Иногда они умудрялись даже подбирать отважных пассажиров. Исчезли Первый и Двадцать третий маршруты трамвая. С Дерибасовской исчезли троллейбусы. Исчез фуникулер, появились вместо него эскалаторы, но быстро уяли. Исчезли открытые пудмановские вагоны с узорными решётками.

С тротуаров исчезли дорожки из квадратных синих плит итальянской лавы и камешки-«дикари» по их краям. Даже при сильных дождях вода уходила в почву и с тротуаров, и с бульжных мостовых. Появились выбоины на асфальте с «миргородскими» лужами, а зимой – стекленеющие ото льда паркетки клинкера.

Исчезли акации (правда, некоторые, как реликтовые, сохранились), в обилии появился тополиный пух.

Исчезли сначала дворовые туалеты, а потом и грозные надписи мелом на воротах: «Во дворе туалета нет». Вместе с ними исчезли и горделные доски на воротах «В нашем доме нет второгодников» и таблички «В парадных не трусить». Появляются кондоминиумы.

Исчезли шумные примусы, чадающие керогазы, грецы со слюдяными окошечками, угольные склады, лавки с керосином. «*Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый*» (Иосиф Бродский). В супермаркетах появились поленья для каминов. Исчезли формы с двойным дном для выпечки на примусах, из-за отверстия в центре напоминавшие большой бублик – «чудо».

Исчезли оцинкованные лохани, корыта, стиральные доски. «*Будешь спать ты с доской со стиральной за машину за его персональную*» (Александр Галич).

Исчезли баня Исаковича и Морские ванны на Десятой станции Фонтана. Появились бассейны и джакузи.

Исчезли патефоны, патефонные иголки и пластинки, исчезли радиолы. Из всех летних окон исчезли концерты по заявкам радиослушателей: «Друзья, люблю я Ленинские го-о-рь», неаполитанские песни в исполнении Михаила Александровича, «...нигде не найдёшь другой такой Челиты!» и незабвенная «О, голубка моя-а-а». Появились лазерные диски, DVD.

С появлением эскимо на палочке исчезли мороженщики с тележками, жестом фокусника клавише в формочку вафлю, сверху мороженое, прикрывали его второй вафлей, нажимали ручку формочки. Вы становились обладателем холодного сладкого счастья. Быстро таявшего.

Исчезли розово-белые треугольники печенья «микадо».

Исчезла зельтерская, а потом и будки с газированной водой – пожалуйста, без сиропа (1 копейка), с сиропом, наконец, заветное – с двойным сиропом! («тебе, девочка, с каким? Малиновым, вишневым, клюшоном?»). Хочется сразу со всеми.

Во дворах исчезли бочки с таинственно черневшей дождевой водой, с плавающими на её поверхности осенними листьями. Исчезли выносимые на лето во двор кадки с олеандрами и фикусами.

Исчезли папирозы «Казбек» с вечно скачущим по коробке чёрным силуэтом всадника.

Исчезли французские булки, франзолы, французский суп, обращение «мадам», пришла «мужчина!» и «женщина!».

Почти исчезло рабоче-крестьянское происхождение. Очень много появилось дворян, так много, что думаешь, кем владели их предки. Наверное, друг другом. По количеству дворян на квадратный километр могут соперничать только академики.

Исчезли галоши, дамские ботинки на каблуках, серые суконные куртки «московка» с непременной чёрной кокетой, белые парусиновые туфли вместе с зубным порошком, которым их чистили, заодно и зубы, чесучевые костюмы, драповые пальто с каракулевыми воротниками, шмуклеровские пуговицы, галстуки-«бабочки» на резинке, китайские штаны и рубашки «Дружба», знаменитые портные и модистки. Исчезли



духи «Красная Москва». Появился Седьмой километр и бутики, считающие, что предлагают «от кутюр».

Исчезли на пляжах скалки (пойдём на массив или на скалки?), на скалках ковры, которые носили на море, чтобы вымыть их голубой глиной – килом.

Исчезли лежащие часами под палящим солнцем отдыхающие, «от гребенки до ног» вымазанные кувальничкой грязью, предусмотрительно принесённой с собой в пол-литровых банках. А можно было купить эту грязь на пляже у разносчиков. Вместе с холодной водой из чайников, рачками, круто посоленной пшённой. Петушками на палочках.

Исчезли кинотеатры XX-летия РККА (потом «Украина»), Короленко, Ворошилова (потом «Зирка»), летние кинотеатры. В них появились автосалоны.

Исчезли танцплощадки в парках. Появились ночные клубы, дискотеки. На смену «Ивану Бровкину на целине» пришёл «Терминатор».

Исчез бар «Красной», где обитала вся одесская богема, кафе «У тети Ути», «Чекистская минутка», ресторан на старом морвокзале. И сам старый морвокзал. Появились уважаемые рестораны с вышколенными официантами, к которым уже не нужно обращаться с просьбой: «Лучше не доливайте, но не разбавляйте!», с умопомрачительными меню, соблазнительными картами вин. Появляются, как первые ласточки, сомелье.

Исчезла мокрая колбаса «ветчинно-рубленая» и плавленый сырок «Волна». Вместе с ними исчезли очереди. Появились супермаркеты, в которых можно спросить удивлённо у продавщицы: «Почему у вас сегодня нет рокфора?», а она, стоя за витриной с десятками разных сыров, будет, извиняясь, вручать вам номер телефона с просьбой позвонить завтра. Завтра будет!

Исчезли два слона в книжном магазине на Ришельевской, о котором говорили: «Купил в двух слонах». Потом исчез и книжный магазин. Появились интернет-кафе.

Исчезли макуха, американские «рационы» со жвачкой, пакетиками растворимого кофе, сосисками в плоских консервных коробочках. Исчезли маялки, цурки, «кинь», игра в «штандер», школьные булочки по 3 копейки, перо «86», ручки-вставочки, чернильницы-невывайки в мешочках. Появились калькуляторы. Знание таблицы умножения вызывает у продавцов удивление и подозрительность.

Почти исчезли школы, зато появились гимназии и лицей, о появлении классных дам и умении делать книксен пока не слышно.

Сначала исчезли районы Воднотранспортный, Сталинский, Кагановичский, вместо них появились соответственно Центральный, Жовтневый, Приморский. Очень долго держались Ленинский и Ильичёвский, но и они, наконец, исчезли, прихватив с собой за компанию и Жовтневый.

Почти исчезли евреи. Но вновь появилась улица Еврейская (чтобы жизнь сладкой не показалась, как на носу майора Ковалёва, рядом с ней выскочил переулочек Шухевича. Очевидно, для остротки), появились синагоги, еврейские газеты, еврейские школы и детские сады, мемориальные доски Хаиму-Нахману Бялику и Владимиру (Зееву) Жаботинскому. Правда, исчезла улица Шолом-Алейхема, но вернулась «улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя».

Исчезла Привозная улица. Была и исчезла. Вместо неё появились паркинг, новые корпуса Привоза.

Исчезли авоськи, торбы. Появились кейсы, кофры, ноутбуки. И «кравчучки».

Исчезли голландские печи, появились АГВ, теперь вновь появились каминны.

Исчезла китобойная флотилия «Слава». С нею исчезли «оббочки» на молниях и лиловые брюки китобоев. А потом и магазины для китобоев.

Исчезли объявления по громкоговорителю об отходе катеров к 16-й станции через Ланжерон, Аркадию, 10-ю станцию Большого Фонтана.

Исчезли путешествия по Крымско-Кавказской – до Ялты, до Сухуми и совсем далёкие до Батуми. Теперь ближе стали Анталья, Кипр, Канары, Таиланд, а то и Багамы и остров Барбадос. Как-то незаметно исчезли знаменитые капитаны, под шумок исчез весь пассажирский флот, «белые мачты на рейде», вместо которых маячит перед глазами гостиница «Одесса» (не путать с «Одессой», которая вновь стала «Лондонской»). Словно съёжившись на её фоне, смотрит печально Дюк.

Всё, вскользь здесь упомянутое, исчезло и появилось на моих глазах за полвека. А Дюк? На его памяти и не то ещё исчезало. Что исчезнет и появится ещё перед ним в его обречённой на века, как и сама Одесса, бронзовой жизни?

«ЭТОТ ЛЕВ – МАКС»

Много лет тому назад, гуляя с нашим питерским приятелем по Одессе, я завела его в единственный тогда антикварный магазин на Дерибасовской. Один из ведущих специалистов Эрмитажа, знакомый с набитыми бронзой, ампирной мебелью (он и сам в своём кабинете сидел за прекрасным столом александровской эпохи), благородным фарфором и прочими раритетами старины ленинградскими антикварными магазинами, приятель скучающим взглядом окинул взглядом одесское безрыбье. И всё же один предмет в витрине привлек наше внимание. Старинная тарелка английского фаянса с орнаментом эпохи классицизма по полям. А в центре – изображение льва с мощной гривой. Рядом в витрине было еще несколько вполне достойных фаянсовых тарелок, но эта отличалась от них. Уж очень хорош был лев! Мы полюбовались им какое-то время и, выйдя из магазина, продолжили свой путь по зимней Одессе.

Вечером я, рассказывая мужу о нашей дневной прогулке, упомянула посещение антикварной лавки и как самое интересное в ней английскую тарелку.

– Где же она? – спросил Евгений Михайлович.

– Как где, в магазине.

– Почему же ты её не купила?!

Я даже не стала ссылаться на содержимое (вернее, антисодержимое кошелька), а ответила, как мне казалось, с неотразимой логикой:

– Но мы же не собираем английские тарелки!

На мой бескрылый прагматизм и отсутствие коллекционерской страсти муж ответил недовольным пожиманием плеч.

Вечером следующего дня, после работы, Женя меня спросил: «Можно я вручу тебе подарок сегодня (завтра был мой день рождения)?».

И я увидела вчерашнюю английскую тарелку со львом... В том же году я на Женин день рождения тоже подарила ему английскую тарелку, со львом, непохожим на первого.

Действительно – непохожие! Прежде всего потому, что в приобретении первой тарелки – характер Голубовского!

Вручая мне подарок, он всё удивлялся: «Как же ты не вспомнила, что о подобной тарелке, только другого цвета (на нашей монохромная серовато-зелёная роспись) писала Марина Цветаева. Вот же по краям античные герои, а лев похож на Максимилиана Волошина, больше, чем сам Макс! Она же единственное, что увезла с собой в эмиграцию – такую тарелку!».

Обладая неплохой памятью, я всё же знаю её изъян. Я плохо запоминаю прозу! И муж чуть ли не дословно пересказал мне читанный нами ещё в 60-е годы на машинописных страничках цветаевский портрет Максимилиана Волошина «Живое о живом». Теперь берёшь с полки том Марины Цветаевой и открываешь страницу, где идёт речь о тарелке со львом.

«У меня здесь, в Кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла её в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала ещё на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжёлая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо. Даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые свёрла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс».

Много лет висят на стене кухни две «львиные» тарелки. Одна – просто английская тарелка со львом. Вторая – со львом-Максом. Я сижу за столом напротив неё. Женя – спиной к этой стене. Мне кажется, что лев Макс смотрит неодобрительно на меня, а к Жене тянет лапу, чтобы погладить по голове и сказать: «Умница!».

Когда недавно муж сказал, что в комиссионном видел английскую тарелку с одесским памятником Воронцову, я, не дослушав, не задумываясь, сказала «Бери!»

МАМА КУПИЛА КНИГУ

«Только детские книги читать...» в детстве не пришлось. К сожалению или к счастью, не знаю. Читалось всё, что можно было читать. А стихи Мандельштама, откуда я позаимствовала строчку заголовка, нам тогда были неведомы. Как и его имя.



С нашим нехитрым скарбом в оккупированной Одессе перемещались и те немногие книги, которые были в доме. Все они помещались на полках одной этажерки, но мне казались библиотекой. Правда, первой библиотекой, в которую я попала, была скромная школьная библиотека, но мне она представлялась наполненной книжными сокровищами. А уж когда её хозяйственница, немолодая дама, внешне не похожая на наших учительниц и пионервожатых (может, из «бывших?»), позволила мне заходить за перегородку и выбирать себе книгу для чтения – это было невероятным счастьем, приобщением к таинству, хоть слова такого я ещё не знала. Великие библиотеки – наша Горьковка, библиотеки Одесского и Ленинградского университетов («коридор Петровских коллегий бесконечен, гулок и прям») – нужно было пройти четыреста метров его протяженности, чтобы в его торце открылась заветная дверь в этот книжный рай!), библиотека Академии художеств с её торжественными ампириными залами, питерская Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина – меня ждали в будущем, о чём я тогда и не догадывалась, как не догадывалась, что судьба подарит мне книжные драгоценности, любовно собранные моим мужем... Всё это будет в счастливом *потом!*

Кроме книг на этажерке были ещё «папины книги» – богословские, хранившиеся особняком в тумбочке под иконами. Я и туда заглядывала, с особым интересом рассматривая Путеводитель, с которым папа накануне Первой мировой совершил долгое паломничество по Святым местам, и альбом фотографий Афонских монастырей.

Я рано начала читать, года в три с половиной, не позже, а когда ещё чуть подросла, папа выучил меня церковно-славянской азбуке, и чтобы доставить ему радость, я легко читала вслух Новый Завет...

В тишине буфета, в одном из его отделений хранились «мамины книги». Рядом с образчиками выкроек, вышивок, кружев, книжек о лекарственных травах степенно высились три книги, неизменно вызывавшие мой интерес. Первая – «Домашняя медицина» Флоринского, изданная в начале XX века. Мама всю свою долгую жизнь предпочитала лечение натурными средствами, насколько это было возможно. Различные травы, графинчик с водкой, настоянной на зелёных орехах, другой графинчик – с «церковным вином» – кагором – мне кажется, никогда не исчезали из буфета. И минимальный арсенал лекарств – аспирин, цитрамон и прочие столь же «демократические» лекарства.

Я думаю, что мама, сложись её жизнь иначе, была бы замечательным врачом, таким же, как моя покойная свекровь Клара Натановна, наша Кларочка, которая была врачом от Бога. Даже сейчас её пациенты, а прошло почти двадцать лет после её ухода, вспоминают её с благодарностью, что греет нам душу.

Мама же лечила нас сама, и только в каких-то сложных ситуациях в доме звучала фраза: «Нужно пригласить врача!». «Вызвать врача!» – этого в лексиконе тех лет (не только в нашей семье) не было. «Вызвать врача!», по-моему, появилось тогда, когда из одесского языка исчезло обращение «Мадам!», и стало всё чаще звучать «Женщина!».

Пока мама лечила нас и врачевала оказавшихся в беде и печали многочисленных родственников, я читала «Домашнюю медицину». Не скажу, что так уж она была мне интересна (может, я напоминала чичиковского Петрушку, готового читать всё без разбору?!), но какие-то страницы привлекали моё внимание, и подлинный ужас вызывало название и описание болезни «Пляска святого Витта»...

Две книги из маминого «хранилища» были совсем другими. Одна, в простеньком холщовом переплете называлась «Скромный и постный стол. Кулинарное пособие для хозяек». В предисловии автор, Александра Толиверова, сообщала, что адресует эту книгу семьям среднего достатка. Правда, советы, как одевать прислугу, как следить за наличием носового платка в кармане передника, чтобы, не дай Бог, прислуга «не сморкалась в полотенца», описание всяческих блюд, например «Экономического супа», для которого нужно было взять «полтора фунта говядины или старую курицу», коренья, варить, а когда суп будет готов, «курицу за ненадобностью можно выбросить»(!), так вот упоминание о «среднем достатке» казалось в послевоенные годы и даже гораздо позже неуместной шуткой. Потом этот томик достался мне по наследству. Лет двадцать тому назад в одном из «толстых» журналов, кажется, это была «Нева», мы наткнулись на статью об Александре Толиверовой, и я теперь совсем иначе отношусь к этому скромному пособию о скромном и постном столе. Александра Толиверова, оказалось, в шестидесятые годы девятнадцатого века жила в Италии, была ближайшей сподвижницей Гарибальди. Даже жила в его доме, под видом «невесты» проникла в тюрьму, где томился друг и адъютант Гарибальди, чтобы предупредить его о готовящемся побеге... Потом вернулась в Россию, издавала женские и детские журналы, запомнилось название одного из них – «Игрушечка». Кулинарная книга была ею написана в то время, на сломе веков, когда всё больше женщин, не только «бестужевки», посвящали себя работе – просвещению, медицине, социальным движениям...



Рядом с «Домашней медициной» и толстым томиком А. Толиверовой, демократическими изданиями начала прошлого века настоящей императрицей высилась знаменитая книга Елены Молоховец – в чёрном кожаном переплёте с золотым тиснением.

Эти книги, как и кузнецовский поднос с характерными букетиками цветов, висящий теперь у нас, – подарки-свидетели свадьбы моих родителей в 1925 году, на Сретенье, 15 февраля...

В отличие от многих моих сверстников, бредивших в детские годы Жюлем Верном, я оказалась равнодушной к его фантастике.

Мне фантастику заменила Елена Молоховец. Это было совершенно платоническое увлечение. В мою детскую голову даже не приходила мысль, что все эти фантастические названия – соусов, супов, сыров, овощей, закусок, кондитерских чудес, чаще написанные по-французски, все эти слова – унции, фунты, золотники – были словами из реальной жизни. Нет, они походили на страницы исторических романов, а ещё больше на фантастические полеты воображения!

Когда появилась советская «Книга о вкусной и здоровой пище», картинки в ней вызвали плотоядные мысли и желания. Но книга была простецкой! В ней не было непонятной тайны. Полюбить её было невозможно. Когда я в уже зрелом возрасте прочла уничтожающее стихотворение Арсения Тарковского о Елене Молоховец и её книге, мне стало немного обидно. Моё детское отношение к этой книге было совершенно лишено гастрономических притязаний.

Кстати, я вспомнила, как Аркадий Райкин в каких-то воспоминаниях рассказывал, что был на гастролях в Англии, когда Анна Ахматова там же получала докторские почести в Оксфорде. Из советского посольства ему посоветовали быть на этой церемонии. Описывая её, Аркадий Исакович вспоминал, что на чествовании «королевы поэзии» присутствовали он, «клоун», и «сын кухарки» – сын Елены Молоховец, живший в Англии...

Как и у Арсения Тарковского, опять мелькнуло уничижительное – «кухарка».

Заинтересовавшись тем, кем же была Елена Молоховец в жизни, мой любознательный муж заглянул в интернет и выяснил, что Елена Ивановна Бурман родилась в 1831 году в дворянской семье. Отец был начальником таможенной службы в Архангельске. Рано лишившись матери, она была отдана бабушкой в Смольный институт благородных девиц, который окончила с отличием. Вернувшись в Архангельск, вышла замуж за главного архитектора города – Франца Молоховца. А в 1861 году впервые выходит её книга «Подарок молодым хозяйкам», выдержавшая до революции 29 изданий. Умерла Елена Ивановна Молоховец в Петрограде в 1918 году среди нищеты и, вполне вероятно, от голода... Так что при всей любви к Арсению Тарковскому его филиппики в адрес «кухарки», «полюбайстрючки», «полюблагородной» мне кажутся, по меньшей мере, несправедливыми...

Но всё-таки чаще всего я обитала в противоположном углу комнаты, рядом с книжной этажеркой.

На её полках стояли огромные (так мне тогда казалось!) однотомники Пушкина, Гоголя, Чехова. Не уступающая им в объёме Хрестоматия (очевидно, для гимназий), в которой были отрывки и, как теперь бы мы сказали – дайджесты, из произведений мировой и русской литературы. Именно благодаря этой хрестоматии я впервые узнала имена Эзопа, Лафонтена (удивлялась, почему их басни так похожи на басни Крылова?!), Шекспира, Гёте и, мне самой кажется теперь невероятным, – Хемницера, Хераскова, Сумарокова и Тредиаковского.

Среди этих фолиантов скромно ютились и другие книги – отдельное издание «Евгения Онегина» с силуэтными иллюстрациями В. Свигальского (на имена художников-иллюстраторов я стала обращать внимание гораздо позже), «дооктябрьский» томик Лермонтова с ятями, но, увы, без пьес и прозы. Этот недостаток был восполнен. На этажерке со временем появилась толстая тетрадь в синем коленкоровом переплёте (большая редкость и ценность по тем временам), в которую мои старшие сестры в четыре руки, старательно переписали лермонтовский «Маскарад». Именно из этой тетради я и учила любимые монологи «...кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила, и Вы узнаете всё лучше во сто крат, чем съездили бы сами в маскарад...». Какой же радостью была покупка (на неё долго сестры собирали по копеечке) опять же большого однотомника Лермонтова – со стихами, поэмами, прозой и пьесами.

В семье, благодаря маме, был культ Некрасова. Многое она знала наизусть, что-то читала вслух при свете керосиновой лампы из тоненьких дешёвых изданий. А на моё десятилетие моя старшая сестра, моя Лена, подарила мне большой однотомник Некрасова, в голубом переплёте. Это уже было счастье неслуханное. Он и теперь, с пожелтевшими страницами, с трогательной надписью, стоит у нас на полке...

Но, наверно, всё-таки в том далёком детстве из всех книг, стоявших на этажерке, одна из самых любимых – катаевский «Белеет парус одинокий». Мне кажется, что тогда я знала каждую страницу наизусть.



зуть. Теперь я думаю, что любовь к «Парусу» была воплощением знаменитых слов «И сладок нам лишь узнавания мир». Естественно, наши реалии, наш быт никак не были похожи на жизнь семейства Бачей. И всё же – соблазнительное, покоряющее сходство деталей – венские стулья в столовой (пусть у нас не было столовой!), цветок гиацинта, распускавшийся к Пасхе (пусть мы ещё не видели, как выглядят гиацинты), но у нас к Пасхе зеленела травка, высаженная мамой на красивой тарелке, а вокруг неё – крапешки. И сказочность ёлки, к которой мы заранее вырезали корзиночки из цветной бумаги и из неё же склеивали цепи взамен стеклянных гирлянд, которых у нас не было и в помине. И пусть орехи мы не покрывали сусальным золотом, но, обернутые в фольгу, они были не менее волшебными. И простая карамель в бумажной обертке была не менее вкусной, чем все надкусанные Павликом пряники на ёлке у Бачеев. Мне эта ёлка у героев Катаева была так близка, что я, стоя под огромным тополем напротив велотрека (теперь на его месте Музкомедия) в компании своих соучениц, рассказывая о нашей ёлке, повесила на неё и надкусанные пряники. Алла Грабова, девочка из параллельного класса (потом она училась в одном классе с Сашей Розенбоймом) воскликнула: «Так это же в “Белеет парус одинокий” Павлик надкусывал пряники!». Я посмотрела на неё высокомерно и сказала: «Ну и что?! У нас на ёлке тоже висят надкусанные пряники!». Наверное, мне тогда казалось, что эти злополучные надкусанные пряники – невероятная роскошь!

А вся одесская топонимика! Вот и я же хожу в школу на Французский бульвар, правда, по нему не проезжает ландо Каульбарса. Вот же в квартале от нашей Малой Арнаутской, на нашей Гимназической угол Новорыбной Петя читал взахлёб, поступая в гимназию, «Белеет парус одинокий». Я ведь с тем же упоением читаю «А он, мятежный, просит бури...». А аптека на Канатной, мимо которой проезжал, возвращаясь из Аккермана, Петя, мы ведь тоже туда бегаем.

А слюдяные дорожки равликов-павликов, пусть не на заборе дачи Маразли, но они серебрятся и в нашем дворе.

А курень дедушки и Гаврика! Мы застали ещё похожие курени на одесских склонах в послевоенной Одессе.

Конечно, Ближние Мельницы – это был какой-то неведомый край одесской земли. Как-то приехав в Питер, пыгаюсь объяснить нашему приятелю, где мы теперь живём. Он бывал у нас на Кузнечной, а я ему что-то втолковываю про одесские Черёмушки. Кажется, объяснила. Вдруг он воскликнул: «Так что, вы теперь живёте за Ближними Мельницами, куда Гаврик водил Петю к брату Терентию? Так бы и сказала сразу!». А приятель был коренным петербуржцем.

Моя любовь к Пете и Гаврику была почти домашней, свойской, как к мальчишкам из нашего или соседнего двора. Другое дело – возвышенная, робеющая любовь к Николеньке Иртеньеву! И все Николенькины печали, и все радости (ну, хоть право наконец-то надеть панталоны со штрипками, как у взрослых!) я готова была делить с Николенькой. Правда, я не могла разобраться, кого же я люблю больше – самого Николеньку или добрейшего Карла Ивановича. Из толстовской трилогии именно «Детство» перечитывалось бесконечно и всегда с упоением!

Я вспомнила только некоторые книги, стоявшие у нас на этажерке. Они были читаны-перечитаны, но кроме них в доме постоянно читались книги, взятые у подружек, у друзей родителей, потом и в библиотеках.

И хоть перед летними каникулами «Пионерская правда» печатала список книг, которые необходимо было прочесть в течение лета (и они прочитывались!), но никакого «планомерного» чтения не было. Читалось всё!

И одно другому не мешало. Горючие слёзы, доходившие до рыданий, проливались над «Хижинкой дяди Тома», «Принцем и нищим», «Дэвидом Копперфильдом» и романами Лидии Чарской, будь то «Лизочкино счастье», «За что?» или «Княжна Джаваха». Сколько язвительной критики, сколько критического яда было вылиты на голову бедной писательницы и на её романы! Наверное, справедливо. Я с тех далёких лет, естественно, не только их не перечитывала, но даже не держала в руках. Но вспоминаю, сколько жалости и сострадания в моей неискущённой в литературных тонкостях душе вызывали судьбы героинь Чарской, сколько неподдельных слёз было пролито на рассыпавшиеся от времени, затёртые страницы её книг, я нисколько не жалею о том, что в детстве читала Чарскую.

Конечно, были попытки со стороны старших бюлсти какие-то возрастные пределы. Сёстры читали Мопассана и Золя. Мне не давали. Звучало убийственное: «Ты ещё маленькая!». У-у-у-у! Приходилось читать в их отсутствие, тайком. Какие-то слова и ситуации были совершенно непонятны. Но спросить нельзя – ведь тайком! Помню, как, читая синие тома сочинений Шеллера-Михайлова, никак не могла понять, почему всё время наталкиваюсь на неправильное написание слова – кокотки. Ведь правильно – кокетки! И почему герои так часто восклицают: «Поедем к кокоткам!»! Что они делают у этих кокеток?!



И ещё одно воспоминание о Шеллере-Михайлове. Одна из героинь критически отзывается о жёлтом платье с зелёным поясом другой героини (зелёный пояс на розовом платье чеховской героини, по-моему, появился позже) – совершенно уничтожающе: «Яичница с луком!». Вот и всё, что осталось в памяти от нескольких томов Шеллера-Михайлова. Мало? Но есть же книги, от которых и этого не остаётся.

Естественно, что не только горячие слёзы вызывали книги. Можно было хохотать до слёз, читая «Приключения Тома Сойера» или в тоненькой книжке «Библиотечки “Огонька”» (романы ещё не были переизданы) отрывок из «Двенадцати стульев» про Эллочку-людоедку.

Сколько досады вызывала хранившаяся там же, на этажерке, старенькая книжка, в которой отсутствовали первые страницы. Это был «Овод» Лилиан Войнич. Мне приходилось самой догадываться о круто завязанной интриге, и каким облегчением стало прочтение книги, вновь изданной через несколько лет, со всеми страницами, подтвердившее мои догадки...

Так случилось, что ещё одна книга, «немного беременная», как говорит в таких случаях наш друг Сергей Зенонович Луцкич, лишённая последних страниц, то ли кем-то подаренная (тогда не стеснялись таких «ущербных» подарков), то ли купленная сёстрами на каком-нибудь книжном развале, появилась на этажерке позже. И любовь к её герою вытеснила из моего сердца и Петю с Гавриком, и даже Николеньку Иртеньева. Это был «Кюхля» Юрия Тынянова. Бедный Кюхля! Я готова была бежать с ним топиться в Царскосельском пруду, вызывать на дуэль друзей-насмешников, негодовать по поводу эпитаграммы *«так было мне, мои друзья, и кюхельбеккерно и тошно»*, и вместе с тем не могла, сквозь слезы сострадания не хохотать над несуразностью долговязого Кюхли. Тогда я влюбилась в Лицей. И в Пушкина. В юбилейном однотомнике Пушкина, стоявшем на полке этажерки, было много портретов – самого поэта, лицейских друзей, героинь «дон-жуанского» списка Александра Сергеевича. Только после «Кюхли» они в моём воображении ожили, задвигались, обрели голоса. Заветная книга!

И всё же, возвращаясь к книгам детства, я вспоминаю одну, ни автора, ни названия которой я не помню. Не помнят и мои сёстры.

Холодным осенним днем мама пошла на Привоз. Денег не было. Какие-то гроши. Не помню, может, мама взяла из дому что-нибудь продать, а, может, надеялась на эти гроши что-то купить. Во всяком случае, ничего съестного купить ей не удалось. Удручённая, мама покинула Привоз и при выходе увидела женщину, продававшую какую-то книгу.

Мама пришла домой и сказала: «Девочки, я вам ничего не купила из еды. Но зато я купила вам книгу!».

Мы, три мамини девочки, смотрим теперь друг на друга и пытаемся вспомнить, какую же книгу в тот день мама нам купила! И к своему стыду, возведённому в куб, вспомнить не можем. Но главное воспоминание осталось.

Мама купила Книгу.

ВЛАДИМИР МЯЛИН

ФИЛОСОФ ИЗ АФИН

КОМЕДИЯ

Сцена первая

Улица, прилегающая к рыночной площади. Лавка ламповщика. На полках – различные лампы: глиняные, каменные, медные. За прилавком ламповщик. Входит, споткнувшись, Сократ.

Ламповщик

Возрадуйся, почтенный гражданин!

(Сократ делает приветственный жест)

Чего желаешь? Вот из глины плошка,
Вот – медная, а эта близ Афин
Вандалом найдена – отбитая немножко...
Все хороши, все светят, не чадя,
И жиру потребляют крайне мало.
Ведь, посуди: не скушает дитя
И на пол-лепты ворвани и сала.

Всё это дети малые мои;
Светлы головки, ротики горласты:
Вот – Зен, вот – Ир, а во-он левей Перикл.
Так светел он, что пол-Эллады заспит.

Сократ

Ночник – дитя... Сравненье ничего.
Вот разве только: продавать негоже
Ни отпрыска, ни имени его...
Беру за так Перикла твоего –
Он ученик талантливый, похоже!

Ламповщик

Сократ?.. Сократ! Тебя и не узнать!
А постарел, а польсел! И тучен...

Сократ

Я, Агафон, пришёл тебе сказать...
Там мой осёл, пожитками навьючен...



Давай меняться: я тебе мешки,
Ты мне Перикла – и на случай всякий
Немного сала... Но не подожги,
А освети под вечер дом бродяги.
Шутник Сократ, бери его за так;
Пожитки – вздор: износится одежда...

Сократ

Клянусь собакой! Экий ты чудак,
Но мудр, как я, философ и невежда.

Расплачивается и уходит.

Сцена вторая

Солнечный день. Шум моря, но моря не видно. Сократ идёт с палкой по дороге, останавливается: под платаном лежит нищий. Сократ подходит, приветствует жестом. Бедняк отвечает.

Сократ

Давно ль лежишь в прохладе и тени?
Набрал ли нынче, друг мой, на орехи?

Нищий

Дают немного нищим в наши дни,
А гениям и меньше – за орехи...

Сократ

Так ты?..

Нищий

Эрот. Прошу меня любить
И жаловать. Приходится порою
Мне о любви божественной забыть
И маяться проклятой нищетою!..

Сократ

Да, помню я гадалкины слова:
Мне истину открыла Диотима...
О сын Пороса (скорая молва!)
И нищенки, зачавшей тайно сына!

Нищий (Эрот)

Вот я и маюсь, дорогой Сократ,
Меж нищетою дырявой и достатком;
Не смертен, не бессмертен... Но навряд
Сочту своим я это недостатком.



Я – гений, и злодейство не по мне;
Я увлекаюсь, но того не боле...
Куда идёшь?

Сократ

С повинною к жене...
Купил я лампу, ворвани и соли.
Иду пустой, в кармане мышь пищит...

Эрот

Всё пустяки! А вот что, друг случайный,
Отдай мне лампу – ты уж не взыщи! –
А с ней и соль, и ворвань. Я же тайну
Тебе открою...

Сократ

Ну, изволь, бери!
Мне для Эрота ничего не жалко!
Пусть лампа освещает до зари...

Эрот

Не всё тебе поведала гадалка...
Узнай же, в суд подали городской
Завистники твои, что над богами
Смеёшься ты и, как ритор простой,
Смущаешь व्यонош тёмными речами.
В гимнасиях, на сходках и в дому
Ведёшь всегда крамольные беседы...

Сократ

Я очень мудр, но шутки не пойму...
О, завтра утром в Спарту я уеду!

Сцена третья

Темница. Заключённые. Сократ возлежит на отдельном ложе. Ламповщик сидит перед ним.

Ламповщик

А всё же, лампы – лучшее, что есть
В Афинах современных – и что было...

Сократ

Да, Агафон, но дефицитней – честь.
Продашь – не купишь, словно соль и мыло.

**Ламповщик**

Виновен я, клянусь моим ослом! –
Но я не знал, что крадены товары...

Сократ

Не знал и я, что доброе со злом
За другом друг идут – или на пару...
Сын возмужал; Ксантиппа ничего
Не смыслит в казнях: женское ли дело!
Сократ счастлив, невежество его
На семьдесят годков помолодело...
Болиголов, цикута ли – ещё
Какие виды медленного яда?!..
Довольно! Сердце билось горячо.
Что жизнь и смерть? – повинность и награда!
Что мозг? – орех в сушёной скорлупе.
Что мудрость? Хвост от ящерики меж пальцев?
Покой и честь? – но яд в моей руке –
Здоровье пью безумцев и скитальцев!

Через минуту появляется Эрот в дорогом одеянии, с лампой в руке, и закрывает глаза философу.

ТАТЬЯНА ПАРТИНА

ЗНАК ТРЕВОГИ

Старый кактус опять в белом.
Глянь: пустыней бредет путник.
Не твоё ль у него тело?
Не твоя ль у него лютня?
Донгрался. Душа, значит,
Умерла, но живёт сердце.
Ноги ходят, лицо плачет,
Руки строят тона терций.
Что продашь ты теперь чёрту?
Что предъявишь теперь Богу?

Без души ты – свеча без торта
Или рог без единорога.

Брал в аренду её целой
И об этом у нас – запись.
И зачем нам твоё тело?
Посох вместо креста, наось.
И гуляй с ним, дружок, чинно
Мимо склепов своих близких.
Ты бы мог вознестись к ним, но
Слишком пал на земле низко.
Где душа? – отвечай прямо.
Не сберёе, раздарил местным.

*Ведь стояли они над ямой,
И рыдали почти что честно*

*Что забыли о них боги,
И что Бог позабыл тоже...
Пожалел я их, Суд строгий!
Как ожоги живой кожей,
По вельню мозгов книжных,
Я душою латал души,
Потому что любить ближних –
Это значит – иметь уши.
Да, попал ты, чудака, круто.
Ведь душа – это газ инертный!*

Получи же от судей лютых
Оправдательный изрок – смертный!



Береги, Господь, береги мужчин,
 Недосмотришь – убудет треть.
 Из каких расщелин, каких руин
 Выползает за ними смерть?
 Вот он строит дом, вот он стал отцом,
 Сад посажен, деревья в ряд...
 Приползла змея, обвила кольцом,
 – Выбирай, – говорит, – свой ад.
 Хочешь – ты убьёшь, нет – тебя убьют,
 А быть может – и то, и то.
 И пойдёшь потом на небесный суд
 Продырявлен, как решето!
 И в лицо хохочет: «Кольцо горзы
 Обручальнее всех колец!»
 Умирает в поле отец и сын,
 Убивает и швец, и жнец.

БУДУЩЕЕ

Всё будет не так, как мы представляли, там,
 Где свет перекроют всем, навсегда и сразу,
 Где держит ответ за все коллективный разум,
 А лицам платить приходится по счетам.
 Там всё не по правде, в каждой строке – подвох...
 На солнце в кустах сверкают штыки и плеши,
 К толпе заключённых прибился профессор Плейшнер,
 А знак тревоги над ними давно засох.
 Входя, не ищи растение на окне...
 Там выхода нет, есть только дорога – к Богу.
 Там каждый
 час
 рассвет,
 все шагают в ногу,
 И каждый
 делает
 шаг.
 Последний.
 К стене.

ЕЩЁ РАЗ ПРО АВТОБУСЫ

*Все автобусы – братья.
 Галина Булатова*

Все автобусы – братья. И разве не братья – трамваи?
 Все стреножены прочно, плетутся один за другим,
 Но мечтают восстать, прозвенеть несогласия гимн
 И погнать ездоков, как британцев когда-то сипаи.

И троллейбусы – братья. Сбиваясь в сохатые стаи,
 Потряса рогами, бегут по большим городам,
 Отославшись в депо, возвращаются к прежним местам,
 Где их кровные братья с осинок кору объедают.
 Гелендвагены – братья, мопеды, ТВ, пылесосы...
 Впрочем, в техносемействе живёт и немало сестёр.
 И трещат, и жужжат непрерывно невыносимый вздор
 Кофемолки, стиралки, мороженницы, мотокосы...
 И возможно, что в мире другом, в лебеде и левкое,
 Возмущённое племя трамваев курочит пути.
 – С нами Бог, – восклицает, – свобода, прогресс и IT!
 И, презрев провода, инсургенты гуляют по трое.
 Там троллейбусы бродят в берёзовых рощах при звёздах,
 Троллят зайца попутного: «Ну-ка, билет предъяви!»,
 Там пищат без конца самолётики малые в гнёздах...

...Там планета безлюдна и вся пребывает в любви.

Пустой вокзал навевает мысль: «А где поезда?»
 Может, они нашли лучшие в мире места?
 Где каждый вагон усыпан цветами – сотнями роз,
 Где шпалы из мрамора, рельсы из золота выправил Крёз?
 А может – просто захлопнулись двери, и мы в западне,
 Поскольку ад и жадные мойры сошлись в цене,
 И завтрашний поезд ушёл вчера. Спасения нет
 И выбора нет, и всё, что ты можешь – съесть свой билет.
 Пора, быть может, бежать отсюда в любой астрал.
 Пустой вокзал пока ещё просто пустой вокзал.

СОН

Ночь – время странствий. Круиз, сарафаны,
 Устрицы, дайвинг, лагуны, регата?
 Сон заполняют хамсин и барханы.
 Странник:
 – Дождусь ли сегодня заката?
 Эта пустыня мне станет могилой!
 Как мне прийти к этим местным красотам,
 Что награждают добравшихся силой?!..
 Где твой оазис, Аллах или кто там?!
 Видишь, уже организм обезвожен,
 Чувствую я внутривенно, подкожно
 Мерзкий песок... Я погиб, я ничтожен!
 Голос:
 – Твоё ощущение ложно.
 Пусть даже век твой уже подытожен,
 Делай, что можешь, случится – что должно.



Барабаны бьют, но люди проходят мимо.
Им всё равно – что казни, что новый мятеж.
Зеркала занавешены, будущее неумолимо,
Запах пожара свеж.

Прошлое не вернуть, значит, его и нет, но
Оглянувшись назад, можно окаменеть...
Колокол старый одно твердит перманентно:
– Амен, земная твердь.

ИННА РЯХОВСКАЯ

ГОЛУБИНАЯ СТОЛИЦА

У КАРТИН МАСТЕРОВ

Из грубой почвы серого холста
под кистью проступает суть предметов,
и тихое свечение тёплых лиц
в световоздушной ауре струится.
Все дышит и живёт...
Горячей кровью прорастают маки
из полотна, колышутся в траве.
И вспомнились мне алые поля
обочь дорог на греческой земле
и у восхолий древнего Олинфа...
И маки детства: белоснежный Севастополь,
за домом поле маков, и пока его пройдёшь,
не хватит детских сил с дурманным сном бороться.
И пламя алое дрожит перед глазами,
как будто было всё это вчера, –
но через жизнь я чувствую тот жар...
Рассматривая утварь и пейзаж,
я ухожу всё дальше, вглубь, за раму
и погружаюсь в инобытие,
в мир, сотворённый кистью и талантом,
вдыхаю запахи цветов и трав
и слышу звон серебряный ручья.
Там винограда гроздь на медном блюде
томленьем соков солнечных сочится.
И ветерок прохладой овеивает
фигуру женщины, склонившейся к ребёнку.
Её улыбка, обращённая к нему,
мне чем-то поразительно знакома –
ведь так смотрела мама на меня...
И полдня золотистый свет, всё озаривший,
пульсируя, исходит изнутри.
И согревает...

СОН О ВЕНЕЦИИ

Мне снился лев с раскрытой книгой,
Канала плавный поворот,
Дворцы в колеблющихся бликах
На стенах отражённых вод.



И мне приветственно кивали
Фигуры в масках и плащах.
Струилась розовая Фрари
В жемчужно-лунных облаках...

И тень опального поэта
Из дальней северной страны
Скользила в лабиринтах света
В пределы вечной тишины.

И день, и ночь – здесь всё смешалось,
Сплелись в таинственный клубок
И жизнь, и смерть, и блуд, и шалость,
Любовь и гений, дьявол, Бог.

И кимней гулких не касаясь,
У сновиденья на руках
Парю, в каналах отражаясь –
Венецианских зеркалах,

Где мреет тусклый, серебристый,
И призрачно-неверный свет,
И исчезающий, и мгlistый...
Сольюсь с ним и сойду на нет...

Спит голубиная столица.
На древней башне – бой часов,
И стрелок их седые спицы
Вращают жизни колесо.

¹ Собор Санта-Мария Глорноза деи Фрари (Св. Марии Словущей, или Успения Девы Марии) – один из самых известных и знаменитых соборов в Венеции, где находятся одни из лучших работ Тициана, Дж. Беллини, надгробие Кановы, памятник Тициану и мн.др.

На сколько глаз моих хватает –
морской распахнутый простор.
И, еле слышный, слух ласкает
Волны прозрачной разговор.

Стихией древней, изначальной
Раскинулся Эвксинский Понт.
Эола арфою астральной
Раздвинут тесный горизонт.

Здесь одиночество и воля,
И притяженья вовсе нет
К земной постылевшей юдоли
С её страданиями и болью.
И ярче звёзд незримых свет.



Истончается день, увядает,
стрелки еле ползут на часах.
Тихо сумерки в город вползают,
и летит снежный, тающий прах.

И сиротства вселенского эхо –
в суетливой усталой толпе.
Декабря одинокая вежа.
Монотонного ветра распев.

О, согрей мне озябшие пальцы
и вдохни тёплой радости свет.
Подари мне волшебные пияльцы,
чтоб я вышила летний букет.

Пусть иголка, порхая, спроворит
васильков и ромашек наряд,
зимним вечером, будто бы зори,
пусть в нём алые маки горят.

Показалось, что в комнате тесной
нам защёлкали вдруг соловьи,
и слетелись все птицы небесные
в луговые поляны мои.

И стежки вдохновенные лягут
на пустынную почву канвы.
А под снегом мерещится взгляду
разноцветье цветов полевых.

Вот скрипнула сухая половица,
в ночи вскричала потревоженная птица,
заплакало дитя за тонкою стеною,
но это не разрушило покоя,
текучей тишины не возмутило,
а лишь усилило и перевоплотило
в неё всю обступающую данность,
сгустило в звёздно-бледную туманность.
Я в ней, как в коконе, качаюсь одиноко,
пока зари полоска на востоке
не разгорится, заполняя небо,
и солнце выловит тугой, незримый невод.
И высветится стол с черновиками,
что прорастают новыми стихами,
строфа, что рифмой сцеплена в кольцо,
и от бессонницы усталое лицо,
на полках – корешки любимых книг
и утра раннего неповторимый миг.



ПОЛНОЛУНИЕ

Полнолуние. Тревога.
То озноб пробьёт, то жар.
Вьётся млечная дорога.
Над землёй клубится пар.

Хронос маятник из меди
раскачал — не удержать.
Время жизни. Время смерти.
Миг — любить. Миг — умирать.

Не обдумать все неспешно
и не взвесить на весах —
мчится век, чумной и грешный,
на поднятых парусах.

То удача, то проруха.
Мётлы времени метут.
Три согбённые старухи
нить судьбы моей прядут.

ГАРРИ ПЕРЕЛЬДИК

ГИПНОТИЧЕСКИЙ ШАР

ПРОЩАНИЕ

Теплоход так отходит от берега,
Как прощается старенький гость.
Ждёт буксир-поводырь где-то спереди,
За кормой пенный шлейф, словно трость.

Лишь мелодия смолкнет прощальная,
Разойдётся оркестр духовой –
Загрустит мостовая причальная,
Оставляют её не впервой.

Встрепенётся полуденный колокол,
Гулким боем в такт сердцу звоня,
Усмехнётся серебряным сполохом
И застынет в событии дня.

...Вот дымок из трубы весь развеется,
И в волнах – никакого следа,
Но душа будет ждать и надеяться,
Что корабль вновь вернётся сюда.

ДОЖДЬ

Дождь – колючка, милый кактус,
Летний антипод жары,
На твой шум я откликаюсь,
«Выползаю из норы».

Гордым шагом по асфальту
Утверждаю сам себя.
Может, выполнить мне сальто
В зыбком кружеве дождя

Иль позвать пройтись девчонку –
Ну хотя бы до ворот –
И услышать лишь вдогонку:
«Я приду, как дождь пройдёт»?



И бродить мне в одиночку,
Сдав себя на милость струй,
Добровольно взяв отсрочку
На желанный поцелуй.

Этот гуру вещает. Его ты послушай –
И весь свет через голову прыгнет свою:
Всё не так, всё не то, день – как ночь, и к тому же
Ты свободен от мира, от слова «люблю».

Дверь ли хлопнет, окно ль заскрипит нараспашку –
Это знак, со Вселенной, поди ж, перезвон!
Не гляди, что сосед ходит в стильной рубашке, –
И в тряпье, и в шелках будь собой, Робинзон!

Никому ты не должен, займись отрицаньем
Всех устоев и опыта прежних веков,
Усмехаясь, с великими спорь мертвецами,
Не стыдись, избавляясь от ложных оков...

Этот гуру вещает. Подружки с восторгом
Обступают любимца, вкушая гипноз.
Он вот с этой глазастой пребудет недолго,
После с той иль с другой – для него не вопрос.

Он сумеет вскружить на короткое время
Юный разум. Затем – от ворот поворот.
Но даст пышные всходы проросшее семя –
И, глядишь, новый гуру раскроет свой рот.

А стареющий мэтр вдруг нарушит присягу,
Что он пастве давал, отрицать всё вокрут,
И прибегнуть к врачам посчитает за благо,
И к молитве – авось, та избавит от мук...

Мы бессмертны и мозг ерундой забиваем,
Пока годы – не гири, а ветер в крыло,
И, счастливые, напрочь о том забываем
Неизбежном, подумать о чём тяжело.

Женщине, курящей «Беломор»,
Выпал день рожденья, и в конторе,
Где она – бухгалтер, будут вскоре
За её здоровье пить «Кагор».

Нет, она не замужем. Давно.
Ей не встретить своего мужчину.
Свой – любил ту статную дивчину,
Кем была она перед войной.

Но, застыв в альбоме как портрет,
Он не разлюбил и не разлюбит,
Вечности раскрыв в улыбке губы
В первом же, окошном декабре.

А тогда и ей глубокий тыл
Прокусил морозом обе кисти –
И исчезли вмиг из юной жизни
Все консерваторские мечты.

...Комната в «коммуне». Рыжий кот.
За окном ждёт жар железной крыши.
К женщине неровно вечер дышит, –
Может, не одна домой придёт...

В марсельском бистро
Полумрак-полуобмороч джаза,
Гарсон-здоровяк
В золотой усмехается зуб,
Блестит серебро,
И хрусталь отливает алмазом,
И томный коньяк
Страстно входит в тебя между губ.

Замрите, часы,
Чтоб бокал целовал тебя вечно
И пальцы твои
Обнимали его стройный стан.
А тень от косы
На щеке твоей розово-млечной
Пусть вспомнит шит,
Но забудет морской капитан.

ГИПНО

Гипнотический шар,
Серебристый, холодно-текущий.
В ритме – влево и вправо –
Сжёт сей маятник волю мою
И несёт себя в дар
Вместе с ядом змеюки гремучей
И целебной травкой, –
Вот любовный бальзам, что я пью.

А на шаре блеснут
Вмиг твои загорелые плечи
И росинки-глаза
За аршинной решёткой ресниц.
В эти пару минут,
Может, станет вдвоём малость легче, –
Знать, нам общий абзац
Наших жизней дано сочинить.



ПРОЦЕ

Проще с дождиком: красок не нужно,
С неба льёт чернобелость гравюр.
Капли прыгают в серые лужи,
Серебря чешую их фигур.

И деревьев пучок однотонный –
Непонятно, велик или мал:
За застывшей решёткой оконной
Никого, лишь надежда да март.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Радости животные:
Спать, коль боль прошла;
Вёсны ежегодные –
Вновь чуть-чуть тепла.
Девушка нарядная –
Выцветший портрет.
Думы безотрадные –
Серый белый свет.
Странствия безбрежные –
Рвётся прочь душа.
Ангелы безгрешные
Манят, не спеша,
В даль, где всё по полочкам,
Ни к чему маяк,
Решето на форточке
В пропасть бытия.

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Ах, дождь, осенний дождь, ты надоел.
Как гость бесцеремонный, не уходишь,
Как он, не в тему плачешь и хохочешь,
И отрываешь всех от важных дел.

Ты нужен только самому себе,
Но занимаешь время и пространство.
К тебе взывать с надеждой – труд напрасный:
Момент – и станешь ты ещё грубей.

Кто ниспослал тебя? Знать, всё же Бог:
Ведь ты явился не из подземелья, –
Как после пира горькое похмелье,
Грехов, нам не отпущенных, поток.

Когда-нибудь в Небесной доброте,
Простившей нас, засветит всё же солнце.
Но Падший Ангел снова вознесётся,
Чтоб пасть на нас осенней мглой дождей...

ГЛЯДИТЕ ВВЫСЬ

Глядите ввысь, на провода глядите
И вдаль за ними мысленно пройдите.
В какие голубые города
Ведут, вдали растаяв, провода?

Глядите ввысь, на дерево глядите,
В тени его ветвистой походите,
Чтоб вдруг понять, что память не предаст
Всех тех, кто вас, прикрыв собою, спас.

Глядите ввысь, на небеса глядите
И полосу свою там находите.
Ничто не вечно – вечны небеса,
И ваша не исчезнет полоса.

Глядите ввысь, уверенно глядите,
Себя фигурой стройной наградите, –
И горем не покажется беда,
И выход вы отыщете всегда.

Глядите ввысь, усталые, глядите
И в лицах, к вам склонённых, всё найдите.
Глазам, что улыбнулись вам, любя,
Отдайте Землю, небо и себя.

ДАРИЯ КОШКА

НА ПЛЕЧИ ПТИЦЫ И ПЛЕЧИ ДЕРЕВА

Я была там с тобой, где тени раздвинул руками,
точно шторы, рассвет после бессонной ночи,
приведя к полустанку – нисколько не слукавив –
и коснулся затылка холодным дыханьем, пророча.

Ты стоял, будто впрямь поверив в последность взгляда,
за сиреневым городом, вскинув навстречу руки.
Скорый поезд летел навстречу тебе снарядом,
машинист бы сглотнул – ну не умирай от скуки! –

Но не видел – ещё или после – как видеть поздно
молодое пылание тем, кого ловит город
и сжимает в когтях точно сочные пьяные грозди,
до того, как забрызжет розовый сок у подножия гор – вот,

где была я незримо с тобой, невидимым сонным,
но зелёным глазам угодивших в голодные лапы.
Там за миг до касания вскрикнул бы звон колокольный,
этот кукольный звон за краем холодной рампы,

но потом мы увидели город, всклокоченный светом,
и тебя, бестелесного, поезда сиренево-пряный
прошивающего под шёпота гор ответы,
берегущие баловней судеб от всех обманов.

Ты стоял – так же прямо входили сквозь кожу гвозди –
чтобы море шагнуло в сушу предсказанным шагом.
Болтовня пассажиров мимо – чавканье в пальцах гроздей –
проливалась на вещи – корчились вещи наго.

Я была там – и видела день, он хотел начаться,
но застыл, удивив полустанок густым туманом.
Доверяя шаги земле, был себе не рад сам
тот, кого не коснулся поезд сиренево-пряный.

Я – свет неяркой, но верной звезде Зарнице,
 который зовёт – и она остаётся звездой,
 куда на ветке ответ наливной хранится
 на ветхий вопрос: что там, за чужой бороздой?

Ей видется буду в сверкающем брюхе ночи –
 и ждать, как в последний раз, прорастания дня.
 Забытый, я снова и снова впрягаю гончих
 и вспыхиваю, только её маня.

Роднит меня с днём разве тонкая плёнка мечтаний
 щита, берегущего храм от неправедных лиц.
 но этой звезде для поиска утр израненных
 я – хлёсткая близь бессовестных солнечных спиц.

На плечи птицы и плечи дерева
 ложится бездна мышцам тугим
 желанной болью и смертью терема,
 построенного Нагим.
 Мой город, горько-густое варево,
 исполнен нежной улады слёз.
 И соль морям бы, да твари – тварево...
 Льдом точно шрамом ранеет плёс.

Стою над тобой умолкну:
 над сорванным с неба колоколом –
 я, с неба и живого языка
 слово, в ветрен рассвет отколотое.
 Упрямая розсказнь верных
 на птиц и деревьев плечи дрожащие
 ложится инеем вёснам
 вслед медью горькой, кимвалом звенящим.

ПОСЛЕ

После чего и стихи немислимы,
 и деревья оказываются немы, пусты,
 безучастною высью высимы,
 бредут, а над ними бредят сухие листья:
 белые реют, теперь бумажные,
 блуждают среди ненужности нив,
 прежде зелёные и отважные,
 рты дождевыми каплями напоив,
 глаза отворив звездой и облаком –
 чем угодно, только бы свыше,
 сторающим спутником (обними его!), яблоком –
 колокольню звонили, почти не слышно...



После всего – замирать деревьями,
умолкать стихами подле окраденного,
потому что слова теперь одешевлены,
разворочены кратерной впадиной.
А теперь до этого – брешь Безымянного,
Выдернутого из имён голоса,
и от них не уйти, никогда одеялово
не укрыться: проколоты небеса.

Стань для меня, весны – снегом, в который не верится.
Тай в мои лучшие сны – смертсогретой метелицей.
Разорви ожерелье, часы – поспеши, разбей.
Руки омой, вот песок: мерно, сонно, мимо... –

жемчуг по потолку рассмеял над ней
новое их безударное племе-не-домо-имя.

Смех обернулся зовом, рассыпался зовами.
Ей окликать со стены крепостной – падшего.
– Имя на разный лад истекаемо новое. –
Острова сон – навсикаемо: стон – нашего.

Ты приходишь и гонишь прочь
мой покой – тишину и сон,
красишь рябо синие комнаты,
и к словам подступает шаль
на заре.

Если свет зари растолочь
в ночь, и бить по звезде в унисон –
то спасен должен быть от омутной –
от неё, коли ей не жаль.
– Не болей.

«Спасена!» – голос свыше. Звон –
над утрами да нами колокол! –
над аллеей, мечтой кровящей:
он пришёл, одевай теперь чёр-
но-сладкое.

Ожерелье сверкает. Стон
рассыпается смехом-золотом.
Колья? Кольца да косы! Вяще
ряби тёплое то. Чёрт...
Но шаткое.

ИЛЬЯ ИМАЗИН

ШИП, ЯЙЦО И БОБ-БОБЁНОК рассказ

Подготовленное ухо (необязательно консерваторское) наверняка уловило бы удивительное сходство этого многослойного железнодорожного гула – заунывной сюиты пружинящих рельсов, рессор и электропроводов – с каким-нибудь концерто grosso Альфреда Шнитке. Когда я слушал не только его музыку, но и интервью с ним, когда вглядывался в его облик на телеэкране, не покидало странное впечатление: передо мной инопланетянин, на земле недолгий гость, причём на его родной планете сейчас что-то вроде нашего Ренессанса, только в особом, нам до конца непонятном видении и звучании. В памяти застрял фрагмент какой-то прибалтийской телепередачи, не помню, литовской или эстонской, в которой новатор современной музыки рассказывал о себе, своей семье, сыне-музыканте и о том, как создавался балет «Жёлтый звук». Странно: после смерти Шнитке я совсем о нём забыл. Перестал слушать его музыку и вот только теперь, в железнодорожном гуле, вспомнил об этом инопланетянине – он зазвучал вдали от концертных залов, там, где никто никогда его не исполнял и мало кто знал, став частью шумной обыденности, преобразив её в незаписанный на нотной бумаге concerto grosso.

Я отправился электричкой в Таганрог на помощь родственникам по линии отца. Моя тётка, старшая (на семнадцать лет) двоюродная сестра и племянница, все как одна разведённые, но не потерявшие надежду на выстраданный брак и увязшие в тягостном междубрачии, затеяли ремонт частного дома. Дом этот был построен ещё моим дедом – последним мужчиной, что удержался на их семейном древе, со всех сторон обтёсанном. Им требовалась мужская сила, спасительное мужское присутствие, вот я и был мобилизован. Предстояло залить бетоном порог и площадку перед входом, установить дверь в гостиную, которая, по словам племянницы, позволит, наконец, «устранить неприятное впечатление проходного двора в самом центре дома», поставить новую раковину на кухне и унитаз в уборной (всё было заранее куплено, доставлено и дождалось меня), ещё кое-что подкрасить, приделать, починить. Я был готов провести у тётки неделю, любуясь тремя возрастами женщины, что будут в произвольном порядке проплывать передо мной, петь в унисон, вступать в противоречие друг с дружкой, спорить. Поначалу это забавно, потом утомительно, в конце – невыносимо. У меня в запасе было два часа, чтобы как следует настроиться и запастись христианским долготерпением.

Поездка электричкой в Таганрог – это ритуал, отработанный мною с раннего детства. Приезжая на выходные в гости к тётке, я уже ребёнком чувствовал странное смещение ровно на одно поколение: родная сестра отца годилась мне в бабушки, моя собственная двоюродная сестра была сверстницей моей же матери, а племянницу, родившуюся вслед за мной, через два с половиной года, я воспринимал как сестру. Разбираться в этой путанице (для ребёнка – непростая головоломка) было занятно. Помню, я очень гордился тем, что девочка ненамного младше называет меня дядей, важничал перед ней и в гости к тётке ездил с удовольствием, предвкушая легкодоступное и гарантированное семейным статусом самоуверждение. Путешествие в соседний город стало для меня маленькой жизнью, умещающейся в одной двенадцатой дня, но такой насыщённой, плотной, со своим началом, сердцевиной, зенитом и логическим завершением. Эту маленькую жизнь предстояло ещё не раз прожить мне взрослому – видно, такова уж моя железнодорожная карма.

Итак, очередную реинкарнацию пассажира ознаменовала музыка Шнитке, исполненная без единой струны и смычка. Я сидел у окна и глядел на проползающие мимо горы металлолома, подсобки, склады, хибарки диспетчеров, лужи мазута, застеклённые щиты с расписаниями, слагбаумы, не опознаваемые развалины; параллельно тянулась трасса; мой взгляд то и дело взмывал вверх и скользил по проводам, а иногда бывал сбит с толку пролетавшим скоростным, что мгновенно сминал попутный ландшафт, как



неприглядный черновик. Почти медитативное спокойствие овладело мной, как часто бывает, когда сознание подчиняется монотонии привычных впечатлений.

Начало путешествия нередко скучновато, словно предисловие редактора или переводчика к добротной книге: привокзальные сооружения, конечные остановки муниципального транспорта с ожидающими маршрутку одиночками, автовокзал с доперестроечной столовой, унылые городские окраины, где спившийся люд десятилетиями торит тропу в обветшалую пивную или возится на шиномонтаже, в заправочных, парикмахерских, продуктовых, – всё это лишь предуведомление, написанное, конечно, с меньшим блеском и толком, чем предстоящий текст. Это общие места, банальности, выхолощенные трюизмы той жизни, которую хочется оставить за спиной. Если бы книга жизни сплошь состояла из таких вот общих мест и повседневных штампов, она бы не заслуживала прочтения. И, разумеется, не стоило бы затевать путешествие, если бы не предполагалась смена картинки за окном и атмосферы в вагоне.

Пожилая женщина у соседнего окна принялась рассказывать попутчице о своих предках. Те переехали из Витебска, где знали с родней Марка Шагала, в наш Таганрог, где свели сердечную дружбу с Фельдманами, родителями Фани Раневской (она так и называла её – Фаней, обмолвившись в прологе своей истории, что и кошку зовёт Фаней – в честь великой актрисы).

«Вам, подозреваю я, неизвестно истинное Фанино отчество – Григорьевна. Я клянусь. Она сама шутила по этому поводу: мне льстят, думают, от Победоносца, а я – от Отрепьева. Юмор был у Фани бесподобный. Незадолго до смерти её спросили, с кем она предпочитает общаться, а она: мне каждую ночь является Александр Сергеевич Пушкин. – И что он Вам говорит, когда является? – Отвяжись, мерзкая старуха!».

Я велел своему уху перестать произвольно прислушиваться, ибо меньше всего желал путевых побасёнок, но, напротив, искал внутри себя тишины. Однако на третьей остановке меня резко вытряхнуло из онемелой сосредоточенности в ярмарочную суету. С радостным возгласом в вагон ввалился местный Мельхиадес, седобородый курчавый разносчик безделниц, т.е. всего, без чего в дороге легко обойтись, и что его красноречие убеждало, а порой и принуждало пассажиров приобрести, сколько я себя помнил. Он выглядел, как странник-цыган, объехавший весь мир, чтобы насобирать в разных его уголках и притащить в эту электричку совершенно непотребный хлам. Его невозможно было проигнорировать. Он сыпал фразами, которые одних одурачивали, а других, в частности, меня, смешили. Это позволяло ушлому торговцу фокусировать на себе рассеянное внимание вагона и втохивать олухам свой товар.

– Фруктовый нож! Лезвие идеально повторяет форму плода!

Он повертел столовым прибором так, что сталь эффектно вспыхнула в косых солнечных лучах.

– Веер, выполненный по лучшим японским образцам, которым вы будете с удовольствием обмахиваться всю дорогу!

Как томная барышня, сделал глазки мне и другим пассажирам, прикрыв распахнутым веером бороду и бульбу некрасивого носа.

– Очки для чтения и протирания! Удобные футляры для очков!

Кто-то из молодых людей передразнил: «для очковтирания», но Мельхиадес не позволил себя сбить или смутить и продолжил:

– Вязанный носок – тепло ног в студёную погоду! Варежки для детской ладошки! Наждачок для пяточек!

Старушка с витебскими корнями приобрела футляр и наждачок, тут же опробовав последний на ладошке.

– Отменный! – прокомментировал за неё продавец. Но она не разделила его оптимизма.

– Футляр узковат. – Старорежимная привереда попыталась втиснуть в новую покупку собственные очки. Безуспешно.

– Ничего, – успокоил её обаятельный прощельга и улыбнулся, показав обезоруживающую щербинку между зубами. – Разносится.

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, мчитса поезда запоздалый, – чуть поодаль мать громко читала сынишке стишок, стараясь заглушить зазывные реплики Мельхиадеса и избежать ненужной покупки. – В этом поезде один едет странный господин».

Я бросил взгляд за окно. Электричка прибилась к очередной станции, и с моей точки обзора почудилось, будто она разрешила перрон, как нож с красной ленточкой – свадебный торт. Так бывает в театре с многоярусной сценой: действие, что разворачивалось под носом у зрителей, вдруг замирает и перемещается на другую площадку, где и возобновляется с новой силой. Мельхиадес неожиданно утихомирился, прекратил на время служение Меркурию и подсел к компании пассажиров, согласившейся сыграть с ним в секу. Пожилая ценительница Шагала и Раневской смолкла, исчерпав запас любезного внимания



своей собеседницы, которая сначала бестактно зевнула, а затем и вовсе задремала посреди фразы про новый раннеспелый сорт черешни, выведенный известным во всём мире агрономом родом из Таганрога. В вагоне с начала пути образовались две шумные секции: совсем юная музыкальная (студенты музучилища отправились в соседний город подработать на какой-то вечеринке) и чуть постарше спортивная (по всей видимости, пловцы выехали на областное соревнование). Обе молодёжные группы, словно подчиняясь общей драматургии путешествия, прервали сдобренную сальностями и казарменными остротами болтовню, на глазах атомизировались и резко заглохли, как глохнет двигатель. Все мигом уткнулись в свои мобильные телефоны. Игры, смски, замкнутые сосредоточенные лица, ещё недавно сотрясавшиеся от жеребцового ржания... Стало так тихо, что пожилой пассажир в не по сезону тёплом плаще, вероятно, не выспавшийся и растянувшийся на свободном сидении, резко проснулся, этим подозрительным затишьем разбуженный, встрепенулся и огляделся: уж не в оцеплённый ли вагон он по рассеянности попал?

А тем временем на перроне, у которого наша электричка застряла минут на семь, происходило нечто куда более примечательное. Станция, обычно людная, в этот раз оказалась пустынной. Всего четыре фигуры, причём три – мал мала меньше – детские. Старый пропойца сгодился бы этой мелкоте в дедушки, но его вопрос «Вы откуда, заболтыши?» тут же перечеркнул относительно благообразную версию происходящего. Нет, он и они не были связаны какими-либо родственными узами – исполосованный морщинами алкаш в дырявом синем свитере и троица малолетних беспризорников, вместо ответа синхронно протянувших к нему ручки для подаяния... мальчик и девочка лет восьми и ещё одна младшенькая, шестилетка, пёстро одетая и тем напоминавшая экзотическую птаху. Алкаш попытался хлопнуть по протянутым ладошкам, но промахнулся – дети быстро и так же синхронно одёрнули руки. Тогда он потребовал от попрошаек «отработать грошик» и что-нибудь спеть. «А ты не бей, не бей kota по пузе, kota по пузе трогать не могу...» – жалобно проскулил сам, не дождавшись ангельского пения. Тем временем оборванцы, потеряв к нему всякий интерес, приступили к посадке: первым делом старшие забросили младшую на нижнюю ступеньку, затем мальчик встал на четвереньки, а восьмилетняя девочка, оттолкнувшись от его спины коленками кое-как вскарабкалась туда же и, вцепившись одной рукой в поручень, подала ему другую. Старик прошаркал за ними и тоже одолел подъём не без труда.

Одинаково бессмысленно заброшенные в мир, все четверо с наглостью бывалых безбилетников проникли в наш вагон. «Бесенята!» – Дед представил детей и поплёлся в соседний, как будто не желая иметь с ними (да и со всеми прочими пассажирами) ничего общего.

Попрошайки стремительно рассредоточились. Назойливость была их основной стратегией, а немигающий взгляд, в котором к жалости примешивался упрёк, – бесконтактным оружием. Самая младшая, вылитая девочка-маугли, смуглая, толком не расчёсанная, особенно неприятно мозолила всем глаза. То и дело останавливалась напротив кого-нибудь и, глядя в упор с непреклонностью миниатюрной Кармен, зачем-то оголяла плечико. При этом её платьице напоминало яркую обёртку конфеты. Старшая девочка взяла на себя Мельхиадеса, но при её приближении он издал столь неприятный угрожающий звук – что-то среднее между утробным мяуканьем и склокой чаек – что ей тут же пришлось ретироваться. Она была более ухоженная, со смоляной косой до попы, в платье, больше подобающем девочке, выпешдшей в люди, пусть и за милостыней. По замыслу незримого руководителя этого детского ансамбля, старшенькая, в отличие от младшей, дикарки, не должна была никого шокировать. Напротив. Ей предписывалось вести себя так, чтобы какая-нибудь средних лет дама, произнеся со вздохом «Как мила! И вынуждена кланчить!», полезла в свой расшитый сстразами кошелёк. Чтобы какой-нибудь дяденька сунул симпатичной сиротке монетку за возможность похлопать её по спине.

Мальчик вёл себя как маленький лорд. На нём хорошо сидели не соответствовавшие ремеслу аккуратные джинсы, выстиранная футболка, кепка с козырьком. Он явно был настроен выцганить что-то, не делая ровным счётом ничего. Просто расхаживал взад-вперёд, словно искал потерянное, или караулил, или оценивал обстановку. Лишь изредка его глаза цвета лазурной бездны останавливались на ком-то и тут же скользили дальше, а на лице застыла гримаса какого-то богемного высокомерия и безразличия к собравшимся обывателям. Тем не менее, он первым из троицы получил подаяние, даже не поблагодарив за него.

Если пожилая Ахматова следовала принципу «Один день – одно дело», то маленькая банда, вероятно, руководствовалась правилом «Один поезд – один вагон». Не получив большого навару от нашей скупой публики, дети этим довольствовались и в соседний вагон почему-то не пошли. Залезли с ногами на свободную скамейку. Мальчик уставился в окно с угрюмым выражением, достойным кисти народного-передвижника. Младшая стала разглядывать свои руки с грязными ногтями – так всматриваются в смутно знакомое лицо. А восьмилетняя девочка опустила веки и принялась что-то бормотать, невнятно, но складно, словно шептала молитву.



Я бы уже и забыл о них, если бы не внезапная перемена в их поведении. Электричка замедлила ход, приближаясь к полустанку. Вдруг старшие, как по команде, вскочили со своих мест, схватили под локотки задремавшую младшую и поволокли к выходу. Там её обыскали и конфисковали какую-то находку, монетку, наверное. Дальше всё произошло в мановение ока. Двери открылись, и малолетняя Кармен была без разговоров высажена на перрон, чему, впрочем, нисколько не противилась. Её соратники остались в тамбуре, как будто преграждая путь назад. Но разжалованная ничуть не смутилась, не испугалась, не изменила даже туповатое выражение сони, которую только что окунули в чайник. Казалось, полустанок ей давно знаком, она чувствует себя, как дома. Никакой дезориентации. Спокойное, удивительно уверенное для такого возраста ожидание последующих событий. Выйдя из оцепенения, маленькая смуглянка деловито совлекла с себя крикливое платье, оставшись только в белых шортах. На сегодня хватит. Она отыграла свою роль. Теперь можно и расслабиться. Двери сомкнулись. Электропоезд тронулся с пронзительным свистом, а я какое-то время смотрел, как уменьшается до размеров блохи оставленная на перроне детская фигурка.

Лишь в этот момент я осознал, что в таганрогской электричке встретился с другим миром, чуждым, не очень приветливым и живущим по своим законам. Он был так далёк от мира моего детства, каким я его помнил! Не поспевающий за собственным возрастом, тщедушный «дядя» умничал перед бессловесной племянницей и отдавал ей приказания, которые она покорно исполняла. Но окажись мы с ней без единого знакомого взрослого в электричке, «дядя» впал бы в панику и расплакался бы первым. Земля моментально ускользнула бы у него из-под ног, и, вполне возможно, как раз племянница проявила бы больше выдержки и самостоятельности.

Решение выйти в тамбур покурить обеспечило мне продолжение спектакля. Моё появление никоим образом не повлияло на двух оставшихся в вагоне детей. Они жили своей, совершенно параллельной, со мной не пересекавшейся жизнью и не собирались прибегать к конспирации, таиться, ведь в любом случае все их секреты, даже будучи пронюханы мною, остались бы для меня непроницаемы, как тайнопись исчезнувшей цивилизации или как система знаков, используемая при строительстве не вавилонской башни – обыкновенного муравейника. Когда я вышел в тамбур, мальчик повелительным жестом отдал девочке не терпящее пререканий и отлагательств распоряжение, и она задрала подол. Под ним оказался спрятан примотанный к пояску целлофановый пакет, из которого было незамедлительно извлечено заранее очищенное от скорлупы и местами потемневшее куриное яйцо. Вот и вся провизия. Тут же присвоенная сильнейшим. Мальчик полез в карман за щепоткой соли, когда его напарница изловчилась и откусила от яйца по праву причитающуюся ей и узурпированную долю. Кусочки желтка посыпались на пол. Предводитель троицы рассвирепел при виде дерзкого девчачьего бунта; он достал из другого кармана металлический шип, служивший одновременно символом его власти и средством усмирения или устрашения, поднёс его к носу смутьянки, так чтобы та успела всё осознать и испугаться, после чего нанёс чувствительный удар-клевок в крохотное плечо. Девочка тихо, точно про себя, взвизгнула, но слёзы сдержала. Её суровый экзекутор приготовился было нанести второй удар, но в последний миг передумал.

Всё это вышло как-то очень по-семейному, без избыточной мелодраматической аффектации. Мальчик вернулся в вагон на прежнее место, шумно выдохнув воздух, плюхнулся лицом вниз на скамейку и замер в неудобной для взрослого позе, как удав, переваривая съеденное. Девочка осталась со мной в тамбуре и, не замечая постороннего, вновь забормотала себе под нос что-то вроде молитвы. Убедившись в том, что мальчик не видит её, она запустила руку в целлофановый пакет и вытащила из него фасолину. Поднесла её к самым губам так, словно религиозное бормотание предназначалось исключительно ей, словно фасолина могла услышать и сохранить в тайне всё, что девочка собиралась поведать.

Какими чувствами наполняется душа учёного-антрополога, когда он, совершив путешествие на другой конец света, становится свидетелем таинства, в котором раскрывает себя неизреченная суть и высшая правда духовной жизни изучаемого им племени? Не могу сказать, что я почувствовал себя таким изыскателем и ощутил некий неведомый дотоле трепет, но всё же острое желание разгадать загадку детского ритуала побудило меня протянуть девочке сторублёвку со словами: «Расскажи, зачем тебе эта фасолинка, что ты ей шепчешь?» Маленькая молельщица и не думала держать это в тайне – в её священнодействии не было ничего, чем она не могла бы поделиться с первым встречным. Так я узнал, что у фасолинки есть имя. Зовут её Боб-бобёнок. Вряд ли произноса его, девочка, незнакомая с азами пунктуации, подразумевала дефис, но, полагаю, по правилам русского языка писать следует именно так. Из её рассказа выяснилось, что Боб-бобёнок – дух-покровитель, упрятанный в фиолетовой фасолине, точнее, поселившийся в ней или вселившийся в неё. Утром нужно поднести зёрнышко фасоли к самому рту и шёпотом попросить

бобёнка, чтобы тот не отнимал удачу в течение всего предстоящего дня. Перед сном следует сделать то же самое, чтобы приснилось что-то хорошее. А если взгрустнулось в любое время суток, нашепчи бобёнку свою обиду, беду или кручину, – сразу отпустит. «Куши на рынке фасоль, и у тебя такой будет», – бесхитростно посоветовала мне девочка.

Я снова расположился у окна и принялся сочинять собственную мольбу фасолевому эльфу, назначив его своим покровителем, по крайней мере, на время этой поездки. Попутчица, женщина средних лет, обременённая всевозможными дачными принадлежностями, заметив, что мои губы беззвучно шевелятся, испытала, по-видимому, некоторую неловкость и была вынуждена уткнуться, как в книгу, в мелькавший за окном пейзаж.

Милый, добрый Боб-бобёнок! Научи меня со смирением принимать невзгоды грядущего дня, радоваться хлебу насущному, одолевая сомнения, страх и усталость, не предаваться унынию. Сохрани мои тайны за плотно затворёнными сторами твоей фасолины. Не покидай меня, поддерживай одним своим присутствием на всех поворотах пути. Будь всегда со мной!

Девочка изъяснялась с духом куда проще. Она его полностью приручила, присвоила и сюсюкалась с ним, как мать с чадом. Задабривала лаской: «Масенький! Хорошо тебе, бобёнок? Дай, носик поцелую. Вот так!». Описывала ему всё, что видела из электрички, успокаивала: «Не скули, малёночек! Скоро будем!». Фамильярничала: «Ах ты, бутузик!».

Я и не заметил, как на очередной остановке мальчик с шипом (я мысленно прозвал его яйцеглотом), и девочка с бобёнком, напоминая блаженную, сошли на платформу. Словхитился, лишь когда увидел за окном их удалявшиеся спины. Они направились к двум гаражам, между которыми была вкопана фанерная дверь. В двери оказалось проделано маленькое окошко размером в беличье гнездо. Первой в него юркнула девочка. За ней, с самым серьёзным, даже грозным видом оглядевшись, последовал мальчик, захлопнувший за собой бутафорскую форточку. Встав на цыпочки, я разглядел доски, разложенные между крышами гаражей. Дети укрылись под навесом, в специально подготовленном логове, где можно было при необходимости переждать дождь.

Ещё через час электричка доставила меня в Таганрог, и я сходу занялся обустройством дедушкиного дома. О бобёнке вспомнил не сразу: сидя под вечер в кухне за чаем, увидел на подоконнике трёхлитровый баллон с фасолью, дождался, пока словоохотливые хозяйки разошлись спать, высыпал горку на скатерть и долго подбирал подходящее зёрнышко...

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ

ВЕЧНОСТЬ рассказ

Алексей Иванович сидел у окна и смотрел на умирающую осень. Мелкий холодный дождь бил по стеклам, капельки воды стекали медленно, извиваясь, словно огибая невидимые препятствия. Жёлтый лист прилип к стеклу в верхнем правом углу окна, он дрожал на ветру и никак не хотел улетать, словно цепляясь за последнюю надежду. Никто не хотел умирать: ни осень, ни этот жёлтый, оторвавшийся от ветки лист, прилипший к стеклу, ни Алексей Иванович. Его сегодня выписали из больницы. Ещё стоял в памяти запах лекарств, ещё звучал в ушах последний разговор с врачом. Хирург-онколог, Валентин Николаевич, глядя сквозь стекла очков на Алексея Ивановича, сказал:

– Вы взрослый, мужественный человек, и я не хочу Вас обманывать. В операции, о которой шла речь вначале, я не вижу смысла. Всё, что могли, мы сделали, Вы прошли курс лечения, остальное зависит от Вашего организма.

– Доктор, скажите, сколько мне осталось?

– Ну, я не Господь Бог, я только врач. Я же сказал, всё зависит от Вашего организма.

– И всё-таки, доктор, – настаивал Алексей Иванович, – ведь Вы сказали, что не хотите меня обманывать, так сколько? Месяц? Два?

– Не более трёх. Но бывает всякое, были случаи, когда больные, совершенно безнадежные, с точки зрения медицины, выздоравливали, медицина объяснить этого не может, но надежда всегда есть.

– Спасибо, доктор, спасибо за откровенность.

Жил Алексей Иванович один, жена его умерла от рака три года назад, детей у них не было, и он вернулся из больницы в свою пустую, холодную квартиру доживать остаток недолгих дней. Осень догорала, во дворах сжигали умершее лето, дым тлеющих листьев низко стелился над землей. «Три месяца, – думал Алексей Иванович, – сейчас конец ноября, значит в феврале, или в начале марта. Жаль, что не увижу, как оживает природа, как цветут деревья, как появляются зелёные листья. Ничего этого для меня уже не будет. Никогда. А жаль».

Вот и жизнь прошла. Как-то незаметно. И теперь казалось ему, что вся жизнь состояла из сплошных неудач и ошибок. Всю жизнь он занимался не тем, чем хотел, делал это не потому, что ему нравилось, а потому, что так было нужно. Нужно? Кому? Кто сейчас вспомнит скромного инженера, проработавшего всю жизнь в заурядном НИИ? Никто из бывших сотрудников не посетил его в больнице, никто не вспомнил о нём. Его забыли сразу, как только он вышел на пенсию, сразу после банкета, на котором говорили в его адрес красивые слова, зачитывали поздравления в стихах, и тут же на следующий день забыли. Если бы можно было начать всё с начала, поступить в другой ВУЗ, заняться другой работой, найти себя. Но поздно, уже ничего нельзя изменить, осталось всего три месяца.

Он знал, что умрёт. Все когда-нибудь умирают, но никогда не думал, что произойдёт это именно так, в полном одиночестве, в пустой квартире. Он сжал руку в кулак и услышал хруст. Это хрустела зажатая в кулаке газета, которую он вынул из почтового ящика. Вынул машинально, по привычке. Новости, происходящие в мире, перестали интересовать его. Какая разница, что случилось в мире сегодня, что случится завтра или через три месяца? Алексей Иванович развернул газету и стал читать, читал всё подряд, чтобы хоть на время отвлечься от мрачных мыслей. Внимание его привлекло объявление, какой-то экстрасенс утверждал, что может избавить от любой, даже неизлечимой, болезни. Приводились имена и фамилии пациентов, от которых отказалась официальная медицина, а он, этот экстрасенс, вылечил.

«Шарлатан, наверняка шарлатан, – подумал Алексей Иванович, – сколько их развелось!». Он вспомнил, как возмущался Валентин Николаевич тем, что больные, не веря официальной медицине, обращаются

к экстрасенсам, и приходят к онкологу уже тогда, когда оперировать поздно. Нет, он не обращался к нетрадиционной медицине, он сразу же пошёл на приём к врачу, как только почувствовал себя плохо, он понимал, что означают эти недомогания, помнил, как три года назад умирала его жена. Но было уже поздно. Слишком поздно. Он снова взглянул на объявление, ещё раз внимательно прочёл. Такие объявления он видел и прежде, почти в каждой газете и никогда не придавал им значения. Но то было раньше, а сейчас? Угасшая надежда вновь затеплилась слабым огоньком. А что, если...? Он ещё раз прочитал объявление, вот и адрес этого «целителя», недалеко, за городом, всего пять остановок электрички. Какое-то глухое, забытое село. «Нет, не поеду, глупости это всё, – пронеслось в голове. – А может не глупости? Какая разница? Всё равно другого выхода нет. Поеду, сегодня же. Нет, сегодня уже поздно, поеду завтра».

За окном темнело, низкие тяжёлые облака нависли над городом так, что, казалось, стало тяжело дышать. Алексей Иванович встал, задрнул шторы, нажал клавишу выключателя. И сразу же комната наполнилась мягким электрическим светом, повеяло теплом и уютом, словно не было за окном умирающей осени, мелкого холодного дождя, висящих над городом облаков, ноющего в беспросветной тоске ветра. И казалось, будто этот уют сможет защитить его от того, неизбежного, что должно произойти через три месяца, как защищает он его от этой безысходной умирающей осени за окном. Но он знал – нет, не сможет, не защитит. Через три месяца представитель ЖЭКа опечатает дверь его квартиры, и потом, через полгода, в неё вселится кто-то совершенно чужой, не имеющий никакого отношения к Алексею Ивановичу.

Алексей Иванович выключил свет, лёг в постель и попытался уснуть. Но сна не было. За окном внизу по улице проносились машины, и блики от света фар бродили по потолку, рождая какие-то неясные призраки теней, жившие своей жизнью, возникающие из ничего и исчезающие, уходящие в вечное ничто. Только под утро он задремал, и когда тусклый утренний свет пробился сквозь шторы, открыл глаза и лежал так долго, глядя в потолок. Потом встал, сварил кофе. Он пил кофе маленькими глотками и курил, курил сигарету за сигаретой. Год назад он бросил курить, но теперь, узнав, что надежды на излечение нет, он, подходя к дому, купил пачку сигарет в том самом ларьке, в котором покупал их всегда, в той, прошлой жизни. «Нет надежды? – подумал он. – Почему же нет?». Он снова открыл газету, прочёл статью, ещё несколько раз повторил про себя адрес. Оделся, сунул газету в карман и вышел из дому.

Осенняя сырость сразу же охватила его, забралась в рукава, под воротник пальто. Укрывшись от неё в автобусе, следующем в сторону вокзала, он сел на свободное кресло, но на следующей остановке встал, уступая место женщине, которая казалась явно моложе его. Он не пользовался правом бесплатного проезда для пенсионеров и уступил место дамам, несмотря на то, что они выглядели моложе его. Это было нечто большее, чем привычка – это был протест против наступающей старости и немощи. Он вышел у вокзала, купил билет на электричку, вошёл в вагон. Доехав до станции, указанной в объявлении, вышел на перрон и спросил первого встречного, как пройти в село, название которого было упомянуто в газете.

– Так Вы к Радомиру? – спросили его. Оказалось, что экстрасенса, точнее, деревенского знахаря Радомира, здесь знали все. И никого не удивило, что он, Алексей Иванович, тоже обратился к нему за помощью. Ему подробно объяснили дорогу и описали, как выглядит хата целителя. Без труда найдя жилище знахаря, он увидел у хаты ещё пять человек, ожидающих приёма. Дождавшись своей очереди, Алексей Иванович вошёл.

Радомир, крепкий невысокий мужик с окладистой бородой, в вышитой рубашке, с оберегом на лбу в виде ленты, свхватывающей длинные до плеч волосы, молча указал ему на стул. Несколько минут он смотрел Алексею Ивановичу в глаза спокойным уверенным взглядом, потом провёл ладонью перед ним сверху вниз и стал говорить. Он полностью подтвердил диагноз Валентина Николаевича и даже срок, отпущенный ему. Да, три месяца, не больше.

– Вы сможете вылечить меня? – с надеждой в голосе спросил Алексей Иванович.

– Нет, – ответил знахарь, – слишком поздно. Если бы Вы не тратили время на официальную медицину, я бы ещё мог Вам помочь. Но Вы прошли курс химиотерапии, Вы убили способность организма к сопротивлению, я уже ничего не смогу сделать.

– Ну, вот, – поникшим голосом сказал Алексей Иванович, – я так и думал. Вы не рекомендуете тратить время на официальную медицину, а официальная медицина не рекомендует тратить время на Вас, экстрасенсов и колдунов. Прощайте.

Он поднялся, и повернулся, чтобы уйти, но знахарь удержал его.

– Подождите, я ещё не всё сказал. Только прошу, отнеситесь серьёзно к моим словам. Садитесь и слушайте.

Алексей Иванович сел, и Радомир продолжал:



– Избавить Ваш организм от болезни и оставить его в том виде, в котором он существует сейчас – невозможно. Я не лечу людей, я только активизирую скрытые возможности организма, человек сам побеждает болезнь. Но после химиотерапии все способности организма к борьбе подавлены. Со временем они восстановятся, но времени у Вас нет. Я знаю, как избавить человека от смерти, вернуть молодость, и дать вечную жизнь. Ваше тело будет другим, таким, каким оно было лет сорок назад, и Вы не умрётё никогда.

– Неужели это возможно? Каким образом?

– Молитвами и снадобьем. Да, это возможно, но не каждый готов к этому, даже перед лицом смерти.

– Почему? Разве кто-нибудь откажется жить вечно?

– А Вы представляете, что это такое, вечная жизнь? Продлить жизнь не на двадцать, не на тридцать, и даже не на сто или триста лет, а жить вечно?

– Честно, говоря, нет.

– Так вот, хорошо подумайте, прежде, чем согласитесь.

– Я согласен, – не раздумывая ответил Алексей Иванович.

– Не торопитесь с ответом, пройдите в ту комнату и хорошо подумайте, я приму остальных, потом вернусь к Вам.

Алексей Иванович ушёл в другую комнату, присел на диван. Он слышал все разговоры знахаря и пациентов, и чем дольше слушал, тем яснее понимал – он хочет жить вечно.

Когда приём был окончен, Радомир вошёл в комнату, и, посмотрев внимательно на Алексея Ивановича, сказал:

– Я знаю, Вы готовы, но учтите, – потом уже ничего нельзя будет изменить. Вы не сможете умереть, никогда. Не пожалеете?

– Нет, не пожалею. Скажите, сколько это будет стоить?

– Я не беру денег, наживаться на горе людей безнравственно.

– Но так поступают тысячи целителей, в том числе и официальная медицина.

– Только не мы, потомственные волхвы. Боги не разрешают нам использовать свою силу для обогащения. Всё, что я делаю, я делаю по воле Богов, у них я буду просить для Вас жизни вечной. Но знайте, – Вы уже никогда не сможете умереть, ни болезнь, ни несчастный случай не оборвёт вашу жизнь, даже сами, по своей воле не сможете уйти. Над Вами будет вечный оберег. Подумайте, возврата назад не будет.

– Я уже подумал, я согласен.

– Тяжкий крест берёте на себя, но воля Ваша, ложитесь на диван, закройте глаза и слушайте, я буду молиться за Вас.

Алексей Иванович лёг, и Радомир начал читать молитву. Содержания молитвы Алексей Иванович не понимал, он лишь слышал монотонное рокотание голоса знахаря, и необычное тепло наполняло всё его тело, глаза закрылись, он находился между явью и сном.

Окончив читать молитву, Радомир протянул Алексею Ивановичу бутылку с прозрачной, чуть отдалюющей синевой, жидкостью.

– Эту настойку пейте по столовой ложке три раза в день перед едой. Через неделю я жду Вас, потребуется пять сеансов. Настойка подготовит Ваш организм к изменениям, а по молитвам моим Боги создадут для Вас вечный оберег в нави.

С каждым сеансом у Радомира Алексей Иванович чувствовал себя всё лучше и лучше, болезнь отступала, начали разглаживаться морщины на лице, седые волосы приобретали прежний цвет, уныние в душе сменилось радостью и восторгом. Он думал о том, что снова сможет устроиться на работу в свой НИИ. Но когда, по окончании курса лечения, он сравнил своё отражение в зеркале с фотографией в паспорте, то понял, что с устройством на работу возникнут проблемы. И не только с устройством на работу, проблемы возникнут везде, где потребуются предъявить документ, удостоверяющий личность. Обращаться в органы милиции для замены документов было бессмысленно, любой чиновник будет убеждён в том, что молодой человек просто выкрал документы у старика, завладел его квартирой, и теперь желает устроить жизнь под его именем. Мечты поступить в другой ВУЗ и начать новую жизнь тоже обернулись прахом.

Устроиться на работу он смог только туда, где не требовалось оформление документов, работал грузчиком на базаре, подсобным рабочим на мелких стройках, мойщиком машин. О квалифицированной работе не могло быть и речи. Все его знакомые и приятели, с которыми он общался ранее, его не узнавали, а со временем и вовсе отошли в мир иной. У молодых людей, возраст которых соответствовал нынешнему состоянию организма Алексея Ивановича, были свои интересы, свои взгляды на жизнь, и они, несмотря на внешний вид Алексея Ивановича, видели в нём старика, да и ему современные молодые люди не были

интересны. Наступило одиночество. Проходили годы, десятилетия, люди старели и умирали, и только он оставался прежним и всегда был один. Сперва он верил, что всё изменится, скоро, очень скоро, начнётся настоящая жизнь, но годы шли, и ничего не менялось. Жизнь его была серой, мрачной и безрадостной.

Алексей Иванович сидел у окна и смотрел на умирающую осень. Мелкий холодный дождь бил по стеклам, капельки воды стекали медленно, извиваясь, словно огибая невидимые препятствия. Жёлтый лист прилип к стеклу в верхнем правом углу окна, он дрожал на ветру и никак не хотел улетать, словно цепляясь за последнюю надежду. «Скоро и эта осень умрёт, всё обретёт покой, – подумал Алексей Иванович, – только мне никогда не видать покоя, мне вечно маяться на этой земле». Ему захотелось закрыть глаза и провалиться в небытие, уснуть навсегда, обрести покой. Жизнь была бессмысленной и пустой, он был один, один в толпе вечно спешащих, бегущих куда-то людей со своими радостями и печальями. И не было рядом никого, кто бы мог понять его, с кем можно было хотя бы поговорить. Последние десять лет он не мог спать ночами, просто лежал и смотрел на потолок. Страшная, невыносимая тоска поселилась в его душе. Кто? Кто сможет помочь ему? Вот умер день, сгорев в тусклом пламени заката, прошла ночь под заунывное завывание ветра, и тусклый утренний свет пробился сквозь шторы. Нужно вставать, что-то делать, куда-то идти, но ничего не хочется.

Алексей Иванович поднялся, прошёл на кухню, сварил кофе. Он, как всегда, пил по утрам кофе и курил, курить он так и не бросил. Беречь здоровье было ни к чему, впереди была вечность, и при этой мысли его охватывала неудержимая тоска. Он оделся и вышел на улицу. Вот и автобус, идущий в сторону вокзала. Алексей Иванович вошёл, сел на свободное сидение, и когда на следующей остановке вошла старушка, он и не подумал уступить ей место, сколько бы ей ни было лет, он был намного старше. Со всех сторон послышалось недовольное ворчание пассажиров о том, что молодежь совсем обнаглела, и не уважает стариков. Это он-то молодежь?! Алексей Иванович усмехнулся и всё-таки уступил место престарелой dame. Пассажиры расценили его усмешку по-своему, и возмущение новой волной прокатилось по автобусу. Алексей Иванович не отвечал, ему было всё равно, что думают о нём пассажиры.

Он вышел у вокзала и сел в электричку. Доехав до знакомой станции, вышел и уверенной походкой направился в село. Та самая дорога, то самое село, ничего не изменилось. Вот и дом старого волхва, и очередь людей, как и прежде ожидающих приёма.

– Вы к Радомиру? – спросил он.

На него посмотрели недоумённо, явно не понимая вопроса, наконец, один старик ответил:

– Радомир давно умер. Здесь принимает его внук, Волховарн.

Подошла очередь Алексея Ивановича, и он вошёл в хату. Этот молодой знахарь был похож на своего деда: такая же окладистая борода, такая же расшитая славянскими узорами рубаха, такая же лента-оберег, стягивающая волосы. Казалось, и Волховарн узнал его, узнал, хотя ни разу не видел.

– Я знал, что когда-нибудь Вы придёте, я ждал Вас.

– Вы знаете, кто я? – спросил Алексей Иванович удивлённо.

– Да, знаю. Мой дед Радомир дал Вам вечную молодость. Вы единственный человек, который согласился на это. Больше этого он никогда не делал. Боги запретили. Радомир не знал, если бы знал, он бы предупредил Вас. Но я знаю. Ничего не даётся даром, за всё надо платить. Бессмертие вашего тела оплачено дорогой ценой – бессмертием души. Ваше тело не умрёт никогда, но душа Ваша умирает. Я знаю, это приносит Вам невыносимые муки, но скоро это пройдёт. Ваша душа умрёт, и Вы не будете страдать.

– Моя душа умрёт? Умрёт при живом теле?

– Да, за всё надо платить. Не могут быть одновременно бессмертны и тело и душа, что-то должно умереть.

– Неужели ничего нельзя сделать?

– Ничего.

Алексей Иванович вышел на улицу и медленно, не торопясь, побрёл в сторону станции. Позади, далеко позади осталась жизнь, а впереди была только вечность, вечность тела, но без души.

ВАСИЛИЙ КИСИЛЬ

МОЙ САКРАЛЬНЫЙ ПРОВАНС философическое эссе

*Есть места, где умирает дух и рождается истина
как его прямое отрицание.*

*Аурмафен. Первый вечер после стольких лет.
Первая звезда над Любероном, мёртвая тишина,
трепещущая вершина кипариса и моя беспредельная
усталость. Край торжественный и суровый – несмотря
на свою потрясающую красоту.*

Альбер Камю

Двигаясь на автомашине с севера на юг по отменной французской дороге и рассеянно провожая глазами мелькающий на обочине пейзаж, я обратил внимание, как он вдруг резко изменился. Водитель, заметив моё недоумение, торжественно возвестил: «Мы в Провансе».

«Свершилось!» – подумалось мне.

Ощувив тонкий аромат Прованса, я испытал неизъяснимую радость, словно пёс-ищейка, верно взявший след. Проехав «маленький Рим» – Арль, мы свернули с магистральной дороги.

Прованс – это входная дверь, ведущая к самому себе через постижение глубинной красоты мироздания. Здесь не испытываешь чувства отрезанности от остального мира – ощущение такое, как будто находишься в центре мирового круга.

Прованс ни в чём не убеждает – он потрясает. Здесь реальность нагая, все одежды с бытия сброшены. Перед нашими глазами простирается обезбоженное царство. Бог – это абстракция. Прованс – это бытие конкретного: камней, ущелий, виноградников, оливковых деревьев, лавандовых кустов. Повсюду ощущается присутствие Демнурга-садовника. Здесь не чувствуется жестокости Бога, здесь мирно поют птицы и торжествует язычество на фоне сонных католических монастырей. По Провансу незримо прошла рука Мастера и исправила своё изначальное, лишённое логики творение. Всякая попытка заглянуть за горизонт нещадно пресекается конкретикой провансальского бытия.

Сюда хочется привести всё дурное и навечно приковать к этим семью камням, на которых за давностью времён уже не видны следы пыток.

Индустриальный произвол коснулся в Провансе только кустов лаванды, которая своим таинственным отблеском окрашивает всё в божественный лиловый цвет: склоны холмов, деревья, стены зданий. Кажется, что из запаха лаванды вырастают величественные камни, так похожие на один из тех, который вкатывал на вершину горы восставший против богов Сизиф. Камни неравномерно рассеяны по Провансу, и они здесь особенные: «чем тяжелее, тем легче». Открытое пространство камней напоминает изящный природный японский садик, в котором испытываешь единственное напряжение – борьбу со временем. Камни кажутся разноцветными, и едва ли можно увидеть два камня одинакового цвета. Складывается впечатление, что цветы растут прямо на камнях.

Вдыхаешь успокаивающий лавандовый аромат и ощущаешь, как по сосудам растекаются блаженная нега и радость. Приятная истома охватывает тело, и кажется, что постиг тайну бытия. Но стоит взбодриться,

и иллюзорное знание этой тайны мгновенно улетучивается. Однако во всём нужно соблюдать меру: если долго вдыхать аромат лаванды, то он начинает напоминать запах сушёных белых грибов: одновременно и притягивает, и отталкивает.

Стройные чёрные кипарисы, как таинственные молчаливые стражи, следят за соблюдением величественной красоты Прованса. Созерцать их – всё равно что глядеть на окружающих тебя ослепительных стройных красавиц: не знаешь, какой из них отдать предпочтение.

Посещение Прованса – это «увольнение на берег» с галеры своего времени: пропадает желание читать газеты, смотреть фильмы, слушать музыку. Происходит спонтанное отторжение от смуты времени и безумия мира. Нежно ступая по бархатной земле Прованса, начинаешь ненавидеть человечество за его кровавые дела. Здесь хочется стать чище, лучше, проникновеннее, и в этом неизъяснимом порыве поневоле стряхиваешь с себя всё обывательское, мещанское, тупое. Сюда нужно направлять, как в психиатрическую лечебницу, изуродованный социализмом народ.

Бродя по тесным улочкам провансальских городков, всюду замечаешь символическое выражение таинственного духа Прованса – красные цветы и серые камни.

Здесь своеобразно проявляется «французский парадокс»: у странника напрочь исчезает желание пить вино, хотя местные жители не мыслят жизни без него. Этим, видимо, и объясняется ещё один «парадокс»: не отсюда ли в провансальском департаменте Воклюз довольно высокий процент самоубийств?

На грешной земле есть места силы и места сакральные. Первые – творение природы, вторые – человека.

Весь Прованс – сплошное место силы, где тайная мощь природы исторгается из недр земли в виде причудливых камней. Стоит нежно прикоснуться к тёплому камню, разогретому лучами неистощимого солнца, как по пальцам рук пробегает лёгкое покалывание – так магнетическая сила даёт о себе знать. Ощущение такое, как будто вокруг разлита энергия бессмертия. Люди в большинстве своём мало придают значения местам силы, в которых невротик вырывается из плена своих ощущений. Другое дело – сакральные места. Они освящены многовековой традицией и всегда переполнены ожидающими чуда паломниками.

В месте силы возрастает энергия тела, в сакральном – активизируется дух.

Для религиозных людей одной и той же конфессии сакральное место едино, у каждого нерелигиозного человека своё личное сакральное место. Одного привлекает гора Сент-Виктуар, прославленная одноимённой картиной Поля Сезанна, другого – городок Сен-Реми-де-Прованс, в котором родился Мишель Нострадамус, третьего – «мельница Доде».

Моё сакральное место в Провансе – не увенчанный крестом и «небесным венцом» скромный могильный холмик французского философа Альбера Камю на тихом кладбище городка Лурмарен. Кладбище, сливающееся с небом, покрыто флёром умиротворённости. Своими иглоподобными верхушками кипарисы неустанно указывают на звёзды. Печаль, окутывающая могилу, потонула в цветах. Однако уныние всё же касается моих плеч.

В своём сакральном месте ощущение такое, как на исповеди в ладье Харона. Всё исчерпано. Вверху – молчаливые небеса, внизу – пронизанная кропотливым трудом земная красота.

Городок (village) Лурмарен разместился у южного подножья горного массива Люберон. На первый взгляд кажется, что он довольствуется своим покоем и забыты времена, когда чума пожинала здесь свои плоды.

Ренессансный замок в виде таинственного корабля-призрака рассекает волны воздушного океана. Странное и непонятное внутреннее наполнение этого замка: среди кухонной утвари хранится русский самовар XIX века, в зале церемоний – камин, украшенный коринфскими колоннами и барельефными изображениями античных амфор, которые, в свою очередь, увенчаны головами американских индейцев. Ничто в подлунном мире не вечно: каменный замок сохранился, но исчезли мулы – услужливые животные эпохи Ренессанса; на каменных плитах высохла кровь отступников, устремлявших потухшие взгляды вдалеку в последние минуты жизни.

К городку примыкает протестантский храм, похожий на сурового сфинкса. Над крышами домов возвышается часовая башня, построенная в XVIII веке на развалинах средневекового замка, напоминающая о бренности бытия.

Городок окружён виноградниками и оливковыми деревьями. Вдали заметна покрытая зарослями чёрной сосны вершина горы Мурр-Негр (Чёрное лицо), откуда видно местное «божество» – Средиземное море. Извилистые очертания гор охватывают городок в виде «ленты Мёбиуса» – кажется, что в отдельных местах возвышенное небо касается земли, а некоторые далёкие звёзды можно потрогать рукой. Родается тайная надежда узреть «свою звезду» и распространить её о личной судьбе.



За этими невысокими нежными горами, подёрнутыми знойной дымкой, угадывается «царство возвышенной красоты».

В кафе, приоткрывшихся на волнистых улицах городка, посетители, восклицая *o la la*, неторопливо вкушают божественный лавандовый мёд с *le gibassie* (выпечка на основе оливкового масла с добавлением аниса, апельсиновой цедры и апельсиновой воды). Среди вездесущих туристов, прибывающих шумными толпами на автобусах из Авиньона и Эксан-Прованса, малозаметен коренной люд, создавший этот удивительный колорит *art de vivre* (искусства жить), полный спокойствия и безмятежности. В таком городке радость жизни опьяняет и исчезает потребность искать лестницу в небо.

В этих местах в конце XV века стремились найти спокойную жизнь под небесами бежавшие из Лиона протестанты (вальденсы) – последователи Пьера Вальдо, который призывал жить в простоте и бедности. Лурмарен приютил их, но ненадолго – спустя некоторое время еретический городок был разрушен, а плодородная земля, так хорошо рожавшая картофель, спаржу и виноград за счёт уникальных песчаных грунтов, была обильно залита кровью религиозных бунтарей.

После массового убийства протестантов городок возродился только в начале XVIII века.

Во второй половине XX века новую жизнь в эти края вдохнули хиппи, решившие вернуться к простоте жизни.

В Лурмарене в надежде «отстраниться от всего» провёл последние годы жизни Альбер Камю, купив в 1958 году на Нобелевскую премию дом, на задворках которого росли розы, розмарины и фиолетовые ирисы. Отсюда спустя два года его проводили в вечность.

Прованс разнообразен не только историческим временем, но и текущим повседневным: днём звонко трещат цикады, к вечеру умолают, и заводят свою стрекочущую песнь сверчки.

Под этим высоким южным небом щедро разлит безразличие красоты. Немые камни сеют равнодушие. Лучи заходящего солнца золотят верхушки тёмных кипарисов. Множественный наплыв ароматов и божественных лиловых красок порождает желание взяться за кисть и написать картину «Красота и меланхолия».

В этот тихий сумеречный час вспоминаются молодые годы. Судно – на якорной стоянке индийского порта Бомбей в ожидании прибытия лоцмана. Наконец лоцман в широких синих шортах из грубой ткани и в белых шерстяных гольфах поднялся по штормтрапу на борт. Взойдя на мостик, он объявил капитану: «Надо немного подождать: аварийная ситуация в шлюзе». Чтобы скоротать нудно тянувшееся время моей вахты, я стал беседовать с лоцманом о том о сём. На вопрос, что можно кушать по дешёвке в городе, он ответил: «Только книги». Эти слова меня несказанно обрадовали: как раз книги меня и интересовали.

Однажды я где-то вычитал фразу, которая как навязчивая идея засела в моей голове: «И вот Сизиф, постигнув абсурдность жизни, возвысился над ней. Так пишет Альбер Камю в своей книге». Эту таинственную книгу Камю я хотел непременно прочесть. Перевода на русский язык не существовало.

Оказавшись на выжженных солнцем улицах Бомбея, я устремился в поисках вожделенной книги. Долго искать не пришлось: она обнаружилась в первом попавшемся на глаза книжном магазине. Продавец подал мне небольшую книжонку – на белой обложке был изображён сюрреалистический лабиринт, и чётко выделялось заглавие на английском: Albert Camus. THE MYTH OF SISYPHUS.

В свободное от вахты время я увлечённо приступил к чтению сочинения Камю «Миф о Сизифе». Меня поразило, что мировоззрение автора почти полностью совпадало с моим. В те годы мою мятущую душу пронизывало острое чувство абсурдности человеческого бытия. Абсурд в этом произведении определялся как отправная точка – важнее было выявить следствия. Сам по себе мир неразумен, но в его случайные расщелины проникают семена разума, противостоящие тёмной каменной массе. Разум, отделяющий человека от мира, порождает абсурдное мироощущение – оно возникает между человеком, требующим ясности, и молчаливым Творцом, что неумолимо ведёт к протесту. Однажды столкнувшись с чувством абсурда, пропитываешься им, как запахом провансальской лаванды, на всю жизнь.

Эту книгу Камю завершил фигурой счастливого Сизифа с камнем у подножия горы, преисполненного презрения к богам, которые обрекли его на бесплодный и бессмысленный труд. В этом произведении, на мой взгляд, были исчерпывающе высказаны «последние истины»; здесь нечего было ни убавить, ни прибавить.

«Миф о Сизифе» в какой-то мере уменьшил тяжесть камня собственной судьбы и растопил холод «космического» одиночества.

Во время следующего посещения Бомбея я приобрёл ещё одну книгу Камю на английском языке – Albert Camus. THE REBEL. Чтение «Бунтующего человека» уже не было таким захватывающим и впечатляющим.

В заключительной части этого произведения философ дал образ бунтующего героя, отвергнувшего несправедливую историю человечества и пустившего в свободный полёт стрелу, чтобы «разделить в битве общую судьбу людей» во имя справедливости.

Философ указывал на затёртую временем медаль, на аверсе и реверсе которой виднелись две отчеканенные историей формулы: «Я бунтую, следовательно, мы существуем» и «Я бунтую, следовательно, мы одиноки».

Находясь в цитадели марксизма, я отчётливо видел, что история совершила подлог: в первой формуле «мы существуем» было преобразовано в «мы будем существовать», и таким образом ныне живущий человек приносился в жертву человеку будущему; вторая формула и вовсе была заменена порождающим тотальное насилие лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Складывалось понимание, что любое единение людей неизбежно приводит к стадному чувству, нивелирующему человеческую личность – коллективные страсти начинают довлеть над индивидуальными. Мне трудно было представить сообщество людей, объединённых борьбой против вселенского абсурда. Больше привлекала идея всеобщего сострадания перед лицом абсурда – человек непременно устаёт от перманентного бунта, и наступает отчаянное смирение.

Мой бунт против абсурдности мира обрёл индивидуалистическую форму. Я воспринял его как промежуточную ступень между абсурдом и противостоящими ему ценностями. Мучительно шёл поиск этих ценностей. Бунт творить – единственное, что я мог принять. Творческой переработке подлежала собственная судьба.

Очаровавший меня философ начал с «Мифа о Сизифе» (абсурд), затем перешёл к «Мифу о Прометее» (бунт) и намеревался завершить своё творчество «Мифом о Немесиде» (справедливость). Однако и поныне абсурд пронизывает бунтующий мир, а справедливость так и не утверждена – вместо неё мы видим беззаконие и насилие. Может быть, под справедливостью следует понимать «опыт судьбы»?

Терзаемый сомнениями, я завершил эту цепочку размышлений философа «Мифом об Асклепии». Чтобы облегчить тяжесть «камня Сизифа», я ухватился за «посох Асклепия», хотя это и не был радикальный выбор между крыльями и цепями. Рассуждал так: «Если я продолжаю сознательно жить, несмотря на признание существования абсурдным, не лишаю себя этого бытия, то какое действие может оправдать моё положение в этом мире, лишённом ясности и надежды? Ответ виделся только один: то, которое поддерживает мою витальность». И вот на долгие годы я погрузился в изучение холистических медицинских систем: Аюрведы, китайской и тибетской медицины, гомеопатии и др.

Врачевание представлялось как бунт против Творца (богоборчество) и как результативное средство борьбы против абсурда. Удавалось облегчать страдания как себе, так и другим. Но одиночные усилия не приносили морального удовлетворения: меня окружал враждебный мир, который с неистовым рвением производил бомбы вместо лекарств.

Овладение искусством Асклепия чуть-чуть приглушило метафизическую горечь, однако она время от времени напоминала о себе и испепеляла душу. Понимал, что ничто не может окончательно устранить экзистенциальную тревогу: ни созерцание картин в стиле «ню», ни отшельничество в горах, ни отдых под пальмами на островах, затерянных в океане.

Одновременно пытался найти ответы на сжигавшие меня вопросы в близких моему умонастроению древних философских системах. Увлечение античной философией не принесло желаемого утешения: «античный дух» было невозможно оживить в наше время; восточная философия (индийская йога и даосская алхимия) оказалась «отвлечённо-холодной» и не смогла согреть душу. Изучение медицинского аспекта Агни-йоги Рерихов на какое-то время воодушевило и стало «выбором из трёх вариантов», вытекающим из парадокса Монти Холла. Конечно, и Восток и Греция, и Рерихи не канули в лету и до сих пор очаровывают меня.

В результате паломничества в этот занимательный мир абсурдное мироощущение на длительное время сгладилось, но я понял, что совершил «метафизический прыжок» в сторону – забыл о камне.

И вот на склоне лет пришло понимание ограниченности моих усилий по преодолению абсурда: они ничтожны, хотя и достойны похвалы.

С горечью осознал, что мне как философу досталось неблагоприятное занятие – толкование иррационального мира.

...Взор застывает на брошенном Сизифом камне – осознаёшь, что отныне он твой.

Я представляю собой «живую точку», затерянную в мироздании, на которую со всех сторон воздействует множество сил Вселенной. Это суммарное воздействие и определяет жизненную возможность этой точки. Требование ясности своего положения и иллюзия свободы исходят изнутри; реальная картина



существования «живой точки» определяется извне. Вспыхивает ошеломляющая мысль: Вселенная сосредоточила все свои глубинные силы на поддержании жизнедеятельности именно этой «точки», которая, в свою очередь, манифестирует вселенский разум, выдавая его за свой.

Такая ситуация неумолимо порождает установку: жить надо так, чтобы ничего не утверждать, а только хладнокровно реагировать на сущее. Однако такой образ жизни в «чистом» виде вряд ли возможен в силу жуткой зависимости от своих природных качеств и от окружающих тебя людей, не разделяющих твоих устремлений.

Состояние мира в новом тысячелетии настолько драматично изменилось, что специально открывать глаза на абсурдное жизненное положение «венца творения» просто нет нужды – это мироощущение вошло в плоть и кровь западного человека. Не только абсурдное мироощущение, но и беспросветное отчаяние овладело нашими современниками. Вместо того, чтобы прилагать усилия к преодолению абсурда, люди упиваются им – крепнет нигилизм, уничтожающий всё и вся. Помимо «метафизического» абсурда как сорняк укореняется в повседневной жизни и мрачно давит на нас «социальный абсурдизм»: на каждом шагу – неопределённость, порождаемая террористической угрозой, не говоря уже о банальных формах этого вида абсурдизма: надписи «Курение убивает» на пачках сигарет; «кенотафь» вдоль дорог в местах гибели людей; превращение в домашние реликвии осколков снарядов, унёсших на войне жизни глав семейств; женщины с сигаретами в зубах и бритыми лобками; целующиеся взасос мужчины; «шизофреническое раздвоение» в речах политиков; запрещение свадеб и похорон за неделю до великого партийного съезда и на время проведения онога в стране, с муравьиным упорством строящей «светлое будущее».

Мы помним ведическую мысль: о чём мы думаем, тем и становимся. Давайте поразмышляем: что сегодня входит в сознание надломленного гомосапиенса? Основное его содержание – картинки телевидения. Так приятно их созерцать – не нужно напрягаться и самому рассуждать, всё доступно «разъяснено». Наша речь стала однообразной и состоит из фраз, почерпнутых из фильмов и различных шоу. Эта «телевизионная нирвана» настолько завладела душой человека, что люди перестали читать книги.

Мы так стремительно перемещаемся в пространстве, что не имеем возможности поднять головы, чтобы увидеть звёзды. Нам уже не дороги «клейкие распускающиеся весной листочки»: они вне нашего поля зрения. В лучшем случае мы помним о «клейких листочках – стикерах».

В сумеречном свете постмодерна, который стремительно на наших глазах перевоплощается в стиль «эксплозив» (взрывчатость), когда абсурд становится образом жизни, душа мучительно взывает к транс-абсурдизму – установке, способной вывести нас из этого мрачного лабиринта. На что ещё мы можем опереться, кроме «посоха Асклепия»? Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, помимо искусства Асклепия значимым противопоставлением абсурду может служить «цветок розы» – любовь приносит забвение ужасной трагедии мира, однако роза расцветает и увядает не по человеческому желанию, а по высшему произволу. В последние годы как из рога изобилия сыплются исследования по реинкарнации – не придёт ли из этого загадочного закулисья спасительная весть? А может быть, для отпора абсурду бытия достаточно научиться просто радоваться самому факту существования, как это делают испокон веков жители Прованса?

Среди лавандовых полей, отдающих божественно-лиловым цветом, и равнодушных сизых камней, хранящих неведомую тайну, постигаешь простую истину: ответ предстоит искать среди этого великолепия природы, рассеянного вокруг. Начинаешь понимать, что ответ можно выразить только символически.

Вспоминается, как на экзамене по философии одна моя студентка, отвечая на вопрос «В чём сущность постмодерна?», в свою очередь спросила: «А можно я представлю свой ответ в виде символа?». Я согласился. Она уверенно начертила символ (*см. рисунок*). Я застыл в изумлении. Собравшись с мыслями, спросил: «А одним словом Вы могли бы объяснить суть символа?». Студентка тихо произнесла: «Безысходность». Это был лучший ответ, который я когда-либо слышал на экзамене за многие годы преподавательской работы.

В отличие от проницательной студентки, даже насытившись лавандовым ароматом, который, по словам Гиппократы, «согревает мозг, уставший от прожитых лет», я не могу предложить какой-либо оригинальный символ, чтобы так лаконично и ёмко выразить суть необходимости своего бытия среди безучастной лавандовой природы. Буйство солнца и запахов не проясняет сознание – не помогает даже пьянящий запах розмарина. Мысли скользят, как тени, в смутном и бледном их хороводе осмысливаешь, что образ – это всегда ясность и простота, заключённые в одной скорлупе. Ведь сказано философом: «Мыслить можно только образами».

Отчётливо вижу лишь один, простой до предела символ: камень, который в не мной определённое земное время я взвалил на свои плечи. Отныне я осознаю, что все метафизические отвлечения позади, как и голубое небо, синее море и нежная улыбка женщины.

Взор застывает чётко осязаемая реальность: тяжёлый, отполированный множеством рук камень. Я получил его как скорбный дар предков, которые уже покинули этот мир, поэтому должен ценить его как талисман. Ничего нового нет под луной – так было и так будет до скончания века. И никого не минует участь сия.

В это предзакатное время глаз Демпурга обесмысливает залитые солнцем долины. Среди этих вековых немых камней Прованса острее ощущаешь свою немочь – признаёшь, что всецело пребываешь во власти сущего и не можешь им повелевать.

Спонтанный поток мыслей срывает с головы лавровый венок философа – всякая логика терпит крах. В смятённом состоянии сознания этот чарующий пейзаж превращается в сюрреалистическую картину – в душе зреет бунт против Творения.

Время плавится на этих жарких камнях, превращаясь в блинообразный циферблат, как на картинах Сальвадора Дали. Разливаясь по телу праздность замедляет ход вечных часов, и кажется, что все желания уже сбылись. Но стоит приковать внимание к мгновению времени, как становишься его вековечным пленником: время застывает, когда на него обращают внимание, и оживает, когда о нём забывают.

Ловишь себя на мысли, что среди этой нестерпимой красоты чего-то не хватает. Даже беломраморные статуи не внесли бы сюда ясности: скульптура не отражает движения души. Хочется слияния с миром, но это единение не возникает. Созерцание красоты рождает чувство отчаяния: осознаешь, что это состояние может длиться только мгновение на фоне холодной вечности. Становится непонятно, почему этот немилосердный пантеизм вызывал у Джордано Бруно «героический энтузиазм». Тщетно пытаешься уловить лучезарную улыбку неба.

Ответ приходит от чернеющих вдали кипарисов: в этом мире мертвенно-каменной красоты, застывшей в вечности, должна присутствовать чарующая улыбка стройной юной девушки – среди этих безмолвных холмов не хватает нежности, единственного качества, способного заполнить человеческое сердце. Исчезает желание искать истину – хочется только состояния вечной влюблённости. Видимо, не случайно здесь, в окружении трепещущих кипарисов и алых маков, провансальские трубадуры впервые в европейской истории стали воспевать возвышенную любовь.

Безмятежная тишина природы Прованса – это жестокий противовес истории, исторгающей панический вопль раздавленного человека. Здесь не живут «боги истории», здесь примиряется с бытием измученное этими богами сердце человека. Безумствующие диктаторы и шагающие в касках солдаты чужды этой местности.

Человек – странное существо: радуется бесчеловечной истории и впадает в истерику перед чистым листом природы. Неразумное человечество не способно обрести солидарность в борьбе со своей трагической участью. Испытываешь горькое одиночество оттого, что остаёшься наедине с платонической тенью высшего мира.

Посреди этого западного ландшафта уясняешь, что ничего нового значительного уже невозможно создать – остаётся только молчаливое созерцание. Это лавандовое великолепие принимает жизнь такой, какова она есть. Рождается парадоксальное чувство: великое смирение, преисполненное непокорства судьбе.

Жалкими останками разума порываешься осмыслить бесконечность. Здесь она уходит не вдаль, а вглубь. В солнечных бликах, отражённых от камней, судорожно порываешься узреть «живой лик» Бога. И вдруг рождается мысль: если есть высший разум, то он какой-то странный, нечеловеческий. В этом отрешённом состоянии, навеянном молчанием лазурного неба, всё же возникает смутное желание постичь его. Однако эти усилия напоминают стремление зафиксировать тёмную точку в глазу – стоит устремить на неё пристальный взгляд, как она внезапно ускользает от него.

Но ночная прохлада рассеивает все сомнения. Понятие «высший смысл» теряет свои очертания и принимает другое значение – «тайный смысл». Но тайное никогда не становится явным (евангельские апостолы утверждали обратное). Созерцая неумолимую простоту камней и вычурную сложность лавандовых полей, приходишь к выводу: даже если высший смысл существует, то он иррационален, и вести себя нужно так, словно его вовсе нет. Между тем трудно окончательно избавиться от иллюзорной надежды, что это пленительное «царство от мира сего» вдруг выдаст тайну бытия.

Покидая Прованс, начинаешь осознавать, что и жил-то полноценно в этом мире лишь то время, которое провёл в здешних краях. Ослепительный вид чарующей природы устранил ностальгию по прошлому и



тревогу о будущем, приковал к настоящему времени – абсурдность человеческой жизни обнажилась до болезненной самоочевидности, но вместе с тем обострилось и чувство, вызывающее к борьбе с трагическим уделом человеческим.

Пришло понимание, что находился в «лечебнице души», где созерцание провансальской природы даёт ощущение вечного покоя. Если принять во внимание мысль философа, что изначально душа как законченная сущность не существует – она лишь формируется в течение всей жизни, то опыт Прованса оказывается бесценным в этом отношении. Неожиданно возникает странная идея: эти шуршащие листвою деревья и молчаливые камни исчезнут через тысячи лет, а твоё чувство, запечатлевшее их, навсегда сохранится в твоей душе, сформированной земным бытием и улетевшей в вечность.

Пропитавшись запахом лаванды, всё же понимаешь, что открывшее истину мгновение жизни больше нельзя повторить. Прованс нельзя посещать дважды – так пленительно красивые женщины при втором свидании поражают меньше. Повторное его посещение можно совершить лишь тогда, когда начнёшь слышать музыку божественной свободы Моцарта и твои глухие шаги по замшелым камням, которые не отбрасывают теней, будут последними.

Лурмарен – это моё Астапово, где станционные часы показывают одно и то же время. Уходить в вечность с чувством паскалевского «мыслящего тростника» нужно именно в этом сакральном месте.

Написал. Поставил точку. Подумал. Вспомнил слова Бернара Ле Бовье де Фонтенеля: «Мы ничего не совершили бы в этом мире, не будь мы движимы ложными идеями». Фонтенель дожил до ста лет и своё долголетие объяснял употреблением клубники.

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

«ПРОНЕСИ, ГОСПОДИ!»

Сочи в феврале

1

Рискнули – с okazjiей. На сей раз «изменив» Крыму и пожертвовав беговыми лыжами у себя, в зимнем Измайлове... не говоря уж о купаниях (моих) в проруби...

У Сочи – свой запах. Сочный.

Ощущаем по прилёту. В полную грудь мне, правда, не удалось им насладиться из-за сломанного накануне ребра.

По пути из аэропорта дивимся на развязки и череду эстакад, из хитросплетения которых восстаёт многоглавый храм – Нерукотворного Образа... на спортсменов – снующие по магистралям стайки велосипедистов в «обтекалках», одним видом своим приобщающих к спорту.

Минуем реку Мзымту (вот название!.. *бешеная* – с черкесского) – и оказываемся на окраине Адлера, в *Олимпийском парке*, четыре года назад – к зимней Олимпиаде – выросшем на Имеретинском болоте.

Прибыли. Разбросанные по обширной низменности корпуса отелей: дюжина восьмиэтажек, полукружием обступивших пунктир обихоженных стариц (теперь – прудов с перекинутыми через них мостиками), – встречают нас стройным ансамблем, чтоб приютить...

Ну а из отеля первым делом, конечно ж, – на море, встретившее нас, на первый взгляд без какой-либо торжественности, по-домашнему спокойно.

К нему, бескрайнему, – через галечный пляж – прочь от набережной, надоедливых зазывал – «на прослушивание» рокота у гравийной гряды – отстраниться...

Осваиваемся. На остановке автобусной стоит, прельщая непорочной красотой, сочинка. Надменная, с губами яркими. Источая аромат юности, «записала» на две экскурсии.

Ещё сагитировала съездить в Сочи. (О, понстине лишь Бог ведает об *узнаваниях* нами встречных... о наших *влечениях*... о том, что на нас *находит* при этом, какие токи пронзают!..) Посадила на рейсовый – как по заказу – автобус, в котором для нас с женой нашлись два местечка.

И вот меньше, чем через час выходим на площади Искусств... где, не раздумывая, заходим в один из дворцов – *Художественную галерею*.

За залом зал... С полотен к нам сошёл – как живой – в шинели Пушкин... кружит балерина Семёнова... распахиваются во всю ширь с холста фантазмагорические пейзажи Богаевского, весьма актуальные ввиду близости моря...

На выходе из дворца-музея – на поражение воображения – фантастические из стекла высотки-отели... вид на гавань (предлинный мол), открытый – под старину – амфитеатр... Веселит февральское солнце...

И всё это надо б запечатлеть на флэшку... А не лучше ли – в самую душу?

Для души, пожалуйста, – открыта дверь в храм: *собор святого Михаила Архангела*. Как подгадали – к началу службы (пробили и колокола). В самый раз – мне, болезному, накануне сломавшему «под мышкой» ребро («бес – в ребро»): страдания, оказывается, так приближают к Богу!..

Снопь закатного, ворвавшегося, как откровение, в оконца божеского света, плеснулись на своды церкви, позолотили лики святых... И – в взорвавшуюся душу грянуло ангельское пенье: кайся!..

К *Красной Поляне* вела нас долина «бешеной» – с ходу родной (поток!) – Мзымты-реки.

Неподалёку от урочища Медвежий угол (забрались же!) – минеральный, вроде «Нарзана», источник



«Чвижепсе», с «водой, дающей радость»... Именно здесь в середине XIX века (кажется – вчера!) появилось первое русское поселение.

Миновав буковые и пихтовые леса, в десяти километрах севернее Адлера замечаем пещеру, известную как стоянка первобытного человека: *Ахитыфское ущелье*... Далее, на полпути, – «шрам на лице Кавказа» – *ущелье Ахчу* глубиной, как нам было сказано, до восьмисот метров.

Шоссе с разгона уходит в туннель. Над ним – свод из известняковых пластов. Там же – старая (конца XIX века), ныне покинутая, дорога в скале над пропастью, называемая «*Пронеси, господи!*».

Теперь – на смену ей – безукоризненная магистраль, тоннели, мосты, один из которых – вантовый – издали напоминает арфу... Ещё и железная дорога (вот невидаль!) – для электропоезда «Ласточка»... А высоко над дорогой – развлекательный *скайпарк* с перекинутым над долиной на высоте двести метров шатком 440-метровым мостом, с которого – мы видели – смельчаки прыгают (будто бы без риска для жизни)...

Беснующаяся река Мзымта, к которой у меня – тайное благоговение, на всё это смотрит с недоумением: до недавнего времени, говорят, заходили в неё на нерест лососёвые рыбы весом до полутора пуда...

Полсотни вёрст вихрем от побережья – и вот уж мы в суперсовременном (возведённом за считанные годы) городе. Посреди гор: до заснеженных гребней – рукой подать.

Взмываем по канатке на высоту 2200 метров – к горе *Чёрная Пирамида* в хребте Аибга. И – ощущаем себя великанами: взираем сверху на примостившийся к реке этакий муравейник – Горки-город...

Какие виды! А воздух!.. Ещё полтора столетия назад жил в этих местах доблестный и звучноязыкий, но растворившийся в небытие народ *убыхи*, чьи женщины пользовались славой красивейших в султанском гареме (ещё бы: природа наложила свой отпечаток!), а теперь перед нами – «странная» публика: в ветровках, экипированная лыжами и сноубордами... может быть (не берусь сравнивать), не менее привлекательная и отважная – достаточно хоть раз взглянуть, как лихо они скользят по заснеженным отрогам Кавказа...

На следующий день после завтрака в шумной (разноголосой) столовой вознамерились мы дойти до *устья Мзымты-реки*, русло которой, как мы уже знали, ведёт к созвездию городков с общим названием *Красная Поляна*.

И эта прогулка вдоль моря – туда и обратно по обустроенной набережной мимо цветущих пышно мимоз, оказалось, – одно удовольствие. Хотя, если б не дельфины, демонстрирующие в море «шоу»... не утки, клин за клином убывающие в сторону Сухуми... не творящие в небе «вью» стаи чаек... и не широченный распах горизонта, – море, на мой взгляд, «казало» себя уж больно кротко: свинцово-серое и почти неподвижное «не дотягивало» оно по духу до привычного нам крымского.

Зато мы не только *дотянули* до устья Мзымты, но и перешли *за*: по пешеходному мосту – через «рукавистую» реку в *парк*, вернее – сквер, заложенный более ста лет назад, в 1910 году, жителями Адлера в честь... декабриста *Бестужева*.

Здесь, у мыса Адлер, как я выяснил, он погиб в схватке с черкесами. Случилось это 7 июня 1837-го при высадке десанта с фрегата «Анна». А в начале XX века на месте гибели 39-летнего Александра Бестужева (литературный псевдоним – Марлинский) были посажены платаны, кипарисы, магнолии, тун, разбиты аллеи и установлен бюст героя.

На обратном пути занемогло. Только-только успели мы дождя. А вечером, невзирая на ливень, отважились – в Олимпийский парк: хотелось взглянуть на шоу «*Поющий фонтан*».

Там, где во время Зимних игр – 2014 горел Олимпийский огонь, в такт музыкальных произведений били-пели струи (цветные!) и ноги сами просились «на танец».

Мы обошли фонтан. Не все зрители, как мы, были с зонтами, зато – со светящимися – и освещающими в сумраке лица – смартфонами, фотографирующими фонтанное чудо, – все! (Картина, немислимая, мистическая даже – для постороннего наблюдателя лет десять назад!)

Накрапывал дождь, пульсирующие струи переливались в сотнях смартфонов всеми цветами радуги...

Видео на века... Но ради чего? Будто запечатлеть в душу – мало. Будто, что б не показывали нам, – «для галочки»: схватил, не схватил – дальше... «Запасть», очароваться (ну, как я – той, на автобусной остановке, – непорочной, доступной взгляду красой) – некогда: время...

А мне б – «хоть мгновение ещё на краю»: зрелищно!

Только не дерево ведь, чтобы вырасти тут!.. Натанцевавшись, вымокшие – назад, в отель, – на трёхко-

лёсной «карете» – в объезде арен и аттракционов – построенного с олимпийским размахом парка.

До границы с Абхазией дошли мы неожиданно быстро. Той же, обустроенной не так давно набережной, но в другую сторону.

Несмотря на ненастье, я решился-таки зайти в море. И – *сроднился*. проникся... Оно, вовсе не холодное для февраля, качнуло туда-сюда – и отдало суше *причастным*...

После чего, как от наркоза, ушла куда-то, отпустила ноющая от сломанного ребра боль («под мышкой»... а то даже чихнуть – ни-ни: на разрыв груди). Надломленный было, с огнём на лету бегущий, похоже, обрёл себя...

Не только я: перед тем *одна*, искупавшаяся на виду у всех, что мне улыbnулась...

И почему так: с некоторыми во взгляде *шаг – до реальной любви* (чтоб было ясно, я тут – не о податливости и не о покладистости вовсе – о близости душ)?..

В свой «приют», найдявшись, – в сумерках уж... радуясь, что – не тесно: простором дышат современные корпуса.

В Парк-отеле, где – мы, фонари на «перешейке» отражаются в двух параллельных прудах. Поодаль «горит», то и дело меняя подсветку, «средневековый», «из сказки привнесённый» сюда отель-замок «Богатырь». Настраивают «на мистику» и похожая на «тарелку» пришельцев «разомкнутая» арена «Фипт», и переливающиеся всеми цветами корпуса Центра для одарённых детей «Сириус», принимавшие не так давно – летом – моего внука-танцора Юрия...

Размах! У кафе, где завтракаем по утрам, – музыка: не заскучаешь. Иных здесь же, на площади, «бросает» в танец...

Впечатление – живём в фантастическом завтра. А ведь какие-то полтора века назад герой своего времени Александр Бестужев в письмах друзьям жаловался: «места эти болотистые, гиблые»...

2

Экскурсия в Абхазию начинается с таможни: паспортный контроль... Тридцать лет назад, когда мне довелось быть здесь, в Гагре, с маленьким сыном, думал ли я о границе? Как и ещё раньше, когда дядя мой по отцу Лёва в тридцатые годы (прошлого века) служил главврачом здесь, в одном из курортов Гагры?..

А так ли всё это давно? Недавно! Мне вон уж, страшно сказать, – под семьдесят... А в 1967-м, когда был я в первой своей геологической экспедиции (на другое море – Каспийское), помню, приходилось мне общаться с людьми *моложе себя сегодняшнего* – ровесниками века, участвующими в Октябрьской революции!..

Так что и границы государств, и возраст, представляется, – дела преходящие...

Однако, едва мы пересекли границу, проходящую по красивейшей реке Псоу (один из переводов звучит как *изменчивая*), в глаза бросилось запустение. (Экскурсовод: мол, не дошли руки после войны, с 1990-х...).

И где! В Гагре, жемчужине причерноморского Кавказа!

Неухоженный Зимний театр, замусоренный пляж... Но неужели так уж некому убраться? Понятно, не царское это дело... Но почему-то позапрошлой зимой лично мне гордость не помешала очистить от мусора Царский пляж в Новом Свете.

Разительный контраст – после ухоженной, позавчера увиденной нами расстроившейся (не по средствам) Красной Поляны и блистающего роскошью Олимпийского парка.

Вот и природа, «представленная» нам, не меньше отличается от сочинской.

Да всё другое! Горы едва ль не вплотную – не то, что в Сочи – подступают к морю. И изобилуют субтропическая флора – пальмы, бесстыдницы-эвкалипты, рослые кипарисы, диковинная мушмула...

Дорога, идущая вдоль моря, взмывает вверх. Слева – над крутой лестницей в обрамлении пальм – «терем» с часами на фасаде – *ресторан «Агриппи»*... в 1902 году перевезённый принцем Александром Ольденбургским из Скандинавии (!).

Тем самым принцем (он же – русский генерал и сенатор, правнук императора Павла I), который в 1882-м женился (по любви) на грузинке – красавице Агриппине, отбив её у потомственного грузинского князя Тариэла Дадиани... Да что там – 31-летний принц в 1881-м *потерял голову* от 26-летней княгини – и подстроил всё так, что однажды Тариэл, муж Агриппины, проигравшись в карты, сказал ей: «А ведь я тебя продал!» На что та... влепила князю пощёчину – и ушла к принцу, с которым в счастье и согласии прожила четверть века.



Замок в стиле модерн, построенный Александром для своей Агриппины, до сих пор красуется около Гагриппи, на склоне курорта Гагры... Как и послевоенная (1956 года) постройка неподалёку – Гагрская колоннада Победы, называемая ещё Вратами Абхазии, – ажурное полукружие из трёх восьмиарочных аркад с башнями.

По дороге к озеру Рица – у въезда в ущелье – проезжаем одну за другой старинные (им более тысячи лет) крепости.

Катим, вторя руслу, долиною Бзыбь (один из вариантов перевода звучит как *ущелистая*) – реки, к которой у меня – благоговение... На 13-м километре – КПП, пропускной пункт в заповедник, и... провал среди скал – *Голубое озеро*.

Небольшой (около 50 метров в периметре) водоём карстового происхождения, напоминает мне «жертвенный» сенот: их я рассмотрел в Мексике... Яркоголубого цвета (считается, благодаря лазуриту, якобы слагающему дно озера), он не блекнет в ненастье и не замерзает круглый год, сохраняя температуру воды около 9 (\pm 2) градусов.

Озеро «бездонно» (на самом деле глубина его по разным оценкам – от 24 до 76 метров) и... безжизненно... Поверхность же вод спокойна, несмотря на то, что в его чашу валывается поток, берущий начало на горе Ахцых. Считается – воды его *омолаживают* – достаточно лишь умыться...

И вот смотрю в Голубой «сенот», как в чьи-то глаза, – и до меня доходит: не в состоянии мы *на всю глубину* запечатлеть чудо... до дна «испить» прелести, дразнящие взор...

Что толку – сетую – что со всех ракурсов наводим мы на «объект» объектив фотоаппарата, – не передать, как ни крути, притягательной силы красот!.. (Если б – в самую душу?)

На всём 60-километровом пути к озеру Рица – пасеки. Лес разнообразен: хвойные, дуб, граб, клён, тис, бук... Встречаются даже земляничное дерево, самшит и гималайские кедры!

Всё выше... Из Бзыбского ущелья дорога устремляется в долину другой реки – Гегы. Задрвав голову, любуемся Гегским 70-метровым водопадом... И – ещё двумя: Мужскими (мощным) и Девичьими (многоструйным) Слезами, что по пути низвергаются, сочатся с отвесных известняковых скал...

И вот уж смыкаются над нами горы: знаменитый *Юшарский каньон*. Где теряешься под полукилометровыми обрывами. Где «чумазы» скалы источают влагу, а деревья – будто плюшевые: во мхах... Чудо, которое едва ль где ещё увидишь... Разве что – не так выразительно – в далёкой Атлантике: высоко в горах на одном из Канарских островов – Гомеро («ведьмином» островке), где тоже растёт «плачущий лес»...

Ну а здесь – того «чище»: ветви у деревьев – как *лапы* – в тёмно-зелёных мохнатых «муфтах»... И такой дух!

Гулко. Кажется, здесь переключаются Прошлое с Будущим. Кое-где по сторонам угадываются штрихи старых дорог – следы торговых путей, издревле идущих вглубь Кавказа через перевалы... И стоит лишь подстегнуть воображение – *оживёт многовековая история*...

Одеваю ненавязчиво предложенную мне молодым горцем («для примерки») бурку, папаху – и уж ощущаю себя джигитом, вах!..

Автобус, кажется, хочет взлететь: дорога взмывает на головокружительный серпантин, к краю ущелья (место называется «Прощай Родина»: вниз лучше не смотреть)... и далее – в щель «Каменного мешка», к *Юшарским воротам*, на высоту (над уровнем моря) тысяча метров, откуда открывается вид на заснеженные сопки и на высокогорное голубовато-синее озеро, сверкающее, как изумруд.

Невероятно! Экая красота, скрытая для «посторонних глаз», в сердце гор!

Выходим. Гулко. Негромкая музыка. Спокойствие, воздух-кристалл... Эйфория...

Забрались же! Укромное место. Озеро Рица, которое я столько раз видел на открытках, на самом деле – не такое уж большое: в периметре – не более 3,5 км. Густой лес, кажется, «выходит» из его пучины по склонам. Чувствуется глубина (за сто метров).

Высота окружающих, со снежными шапками, гор – от 2200 до 3200... Здесь непроворот живности: в воде – форель, в лесах – медведи, кабаны, шакалы, а в горах – туры, косули, серны, кавказский олень...

Огибая озеро, едем «стрёмными» – над пропастями – дорогами.

Ответвление на пути: с виду заброшенная (со следами «мошениа») «грунтовка» ведёт в горы, *на Аваху* – к источникам, до которых 18 километров... к перевалам, за которыми (не близко: по ту сторону

границы) – родные нам с женой с домбайского нашего лета горы, среди которых – высочайшая вершина Абхазии – четырёхтысячник Домбай-Ульген (*подобралась*)...

Однако нам – по трассе, проложенной *для одного человека* – «вождя всех народов», ведущей к одноэтажной даче товарища Сталина (построенной на месте охотничьего домика в 1947 году)... даче, рядом с которой в 1961-м не «побрезговал» сделать себе пристройку и другой вождь – Никита Хрущев... а мой тёзка Леонид Брежнев во время своего правления оба эти в одном стиле (деревянные, окрашенные под цвет окружающей зелени) строения соединил галереей.

Наш экскурсовод Нестор рассказывает, что Сталин, «сбегая сюда от всех», никого не хотел видеть (по инструкции, никто не должен был попадаться ему на глаза)... любил, пыхтя трубкой, подолгу смотреть в воды озера – и один Бог знает, о чём думал...

О чём, в самом деле? О красе мира? О неизбежных «людских издержках»? Или о том, что зря со товарищами заварил он ту кашу?..

Как бы ни было, страна лежала у его ног: такая уж ему, низкорослому (156 сантиметров) и некрасивому (рыбому – вместо того, чтоб красавцу), выпала доля – *быть над всеми!*

И вот мы с трепетом – словно в то время – заходим внутрь.

В самом помещении дачи, невзирая на камин (давно не топлённый) при входе, – мрачно и холодно... Неизбынно: чей-то неистребимый дух бродит в шинели... Аж дрожь берёт...

Перед фасадом – парк: берёзки, секвойи... И вид на заснеженные две вершины, одна из которых как бритвой срезана под косым углом...

Со служителями музея в камуфляжной форме исподволь завожу разговор о Сталине: призрак Иосифа, мол, не является ли?

– А как же! – один из них готов к беседе (и, может, – даже угостить вином... я-то, успев вжиться... – чем не «величина»?!), рассказать, словно он – очевидец, о прошлом сих мест: о боях с отрядами «Эдельвейс» и недавней абхазско-грузинской войне...

Но меня уж зовут в микроавтобус. И жаль покидать места, где чувствую себя если не богом (не по Сталински, ясное дело, а – благодаря красоте природы – легко), то великаном.

Вновь, обогнув озеро, проезжаем над «пляжем Аллилуевой» – песчаной, со снежными наносами отмелью... и – к морю...

Но прежде проезжаем сворот к ещё одной даче (ну, все эпохи!) – Горбачёва, на которой «недолгий» президент СССР так и не успел пожить: неожиданно для него всё развалилось...

3

Мы – дальше. На очереди у нас – дегустация вин, мёда... прогулка по эвкалиптовой аллее в Приморском парке, подкормка уток и кошек у Лебединого озера... После чего – *Новый Афон*, расположенный в восьмидесяти километрах от российской границы, – заветная наша цель.

Город, ранее (с III века) известный под названием Анакопия как крупный торговый пункт, бурно развивался. В V-VIII веках здесь, на Иверской горе, были построена крепость и два храма; в XI-XIV веках – башни, сохранившиеся и поныне; в конце XIX века монашеской братией проложена вверх дорога, а в 1961 году на горе была открыта многозальная Новоафонская пещера.

Но не это привлекает сюда паломников: у подножья горы в ущелье Псырцца в отвесной скале есть *грот*, где, как полагают верующие, в течение двух лет, начиная с 53 года, находилась келья *Симона Кананита (Зилота)*, одного из двенадцати ближайших апостолов Иисуса Христа.

Ныне в сакраментальную грот-келью ведёт высеченная в скале лестница, берущая начало от места, где, по преданиям, в 55 году апостол принял смерть от рук римских легионеров.

Известный с древности, грот сей с приходом русских монахов из Греции – с горы Афон – был освящён и превращён в часовню с мозаичными иконами...

Случилось это в 1874 году, когда по поручению афонских старцев сюда прибыли монахи, за 13 лет построившие *Симона-Канонитский мужской монастырь*. (Они же переименовали город Анакопию в Новый Афон.)

В обители – шесть храмов, из которых наиболее величественный – сорокометровый (крупнейший в Абхазии) пятикупольный *Пантелеимоновский собор*, на рубеже XIX и XX веков возведённый в неовизантийском стиле и расписанный изнутри мастерами из села Палех, московскими художниками. (*Успели* – до Первой мировой и Октябрьской революции!)



Заходим – и благоговеем! Как к лицу собору сказочная палеховская роспись (ничего подобного больше нигде не видел!) и «раковинные» своды – «паруса» на потолках! Вот где поистине ощущается Бог!

Но в голове не уместается: в 1992 – 1993 годах по этим святыням, со слов абхазов, была грузинская артиллерия!..

Наш экскурсовод Нестор сетует – «непризнанная» его республика до сих пор *не отошла* от того шока...

– Несмотря ни на что, мы **отстояли** свою землю! – говорит. Рассказывает о 97,7% проголосовавших за независимость Абхазии в октябре 1999-го...

Всё так. Но, справедливости ради: пострадало и немало грузин, вынужденных, бросив всё, покинуть родные места...

– Зато маленький по численности народ избежал участи убыхов... – словно оправдывается Нестор.

Спрашиваем: «А с кем дальше?»

– Абхазы, – отвечает, – ратуют за свой путь. Во всём, даже в мелочах...

На вопрос туристов, не отрываясь глядящих в окно, как работают у них работники ГБДД, Нестор смеётся:

– ГБДД?! Но нам нет нужды коверкать язык, попугайничать. Инспекторов на дорогах мы, как и прежде зовём ГАИшниками, и они, уверяю вас, не придираются без нужды... Милицию мы также не переименовывали. Зачем? Звучит мило... За «прогресс» надо браться не с того...

Тему «прогресса» кто-то из туристов переносит на авиаперевозки:

– В самолёте нам, супругам, летящим кампанией-разлучницей «Победа», места – из вредности – дают *порознь*... Зато летящим бизнес-классом...

– Из-за сомнительного «прогресса» в той же Москве властям ничего не стоит сломать открытый, только что отремонтированный бассейн в Лужниках, чтобы в результате долгостроя построить уже не народный, а дорогой закрытый аквапарк, – ропщу я (больное место).

– Привилегии ни к чему хорошему не приводят, – соглашается экскурсовод. – К примеру, пляжи у нас, в отличие от ваших, нигде – по всему побережью – не отгорожены...

Не хочу уподобляться людям старой формации, не упускающим случая проявить недовольство (хотя и новому поколению, случается, добродушия – занимать... возраст же, на мой взгляд, не даёт преимуществ): отношу себя к разряду *довольных*, а посему перевожу разговор на красоты Абхазии.

Природа. Да можно ли иначе, чем *любовно*, смотреть на **такое?**..

И всё ж трудно поверить, что 25 лет назад здесь шли бои...

Те, кто затевает войны, видно, не читали мудрую сказку Саши Чёрного «Мирная война» – о том, как простой солдат «уладил дело» с помощью каната: взял и предотвратил войну, начавшуюся с глупых амбиций...

А ведь какой бы злодей наглым взором не осквернял природу, она... остаётся девственной.

Любуйтесь! Если ж на вас – скверна, что ж, смойте её!..

Мы как раз подъезжаем к очередному чуду природы, бьющему из недр земли на окраине Гудауты, – целебному сероводородному источнику «Цкуара».

Благовонный, на мой взгляд, запах (дух!) ощущается задолго до цели... Кстати, эмоциональную составляющую многих – не низкого происхождения – запахов (если есть желание присвоить им знак «плюс»), полагаю, каждый в состоянии корректировать сам, в согласии со своими симпатиями. (Что, убеждён, верно и в отношении восприятия того или иного человека...)

Заходим, переодеваемся... Лечебницу, гостеприимно встретившую нас, – по благоустройству – конечно, не сравнить с итальянскими термами (скажем, на озере Гарди или в Калабрии – Термо-Луиджиане): бассейн едва рассчитан на дюжину «страдающих». Зато и мужчины, и женщины в купальных костюмах – довольные – *все вместе!*

Приятное непосредственное общение в благоуханной – и тёплой такой! – проточной ванне...

Напоследок – прогулка вдоль моря уже *за* Мзымтой-рекой, на виду у разволновавшегося моря и просветлённого у горизонта неба.

Время от времени проглядывает весеннее солнце; благоухая, цветут раскидистые мимозы; клин за клином летят вдоль пляжей утки и гуси; вихрятся в отдалении чайки...

Что ж, эти берега мы «отсняли» в самую душу...

А чуть свет, над головой – луна, – отъезд. Несмотря на ранний час, нас провожают на магистрали двурядные стайки велосипедистов...

Самолёт переносит нас одним махом из весны в двадцатиградусный московский мороз, к заждавшейся проруби... Оставляя нам лишь воспоминания об обольстительной, *ко времени* совершённой поездке...

НЕЛЛИ КОПЕЙКИНА

ДЕВЧОНКИ

рассказ

Татьяна Львовна сидела в глубоком кресле напротив телевизора и делала вид, что смотрит новости. В действительности же она обдумывала, как оденется завтра на работу. Завтра ей предстояло выступать на методическом совете. Один наряд ей казался слишком ярким, не вяжущимся с завтрашним выступлением, другой – слишком будничным, третий по каким-то причинам тоже отпадал.

В кресле рядом сидел муж Татьяны Львовны – Фёдор Дмитриевич, который тоже делал вид, что смотрит новости, в действительности же он обдумывал, что бы такое подарить Светочке, в субботу её день рождения. Фёдору Дмитриевичу хотелось подарить ей что-нибудь памятное, стоящее, но всё это было одновременно и дорогим, а деньгами он располагал небольшими. Его зарплата была невелика, а, главное, хорошо известна жене. Та сумма, которой он располагал на подарок любовнице, досталась ему ценой экономии на обедах и ценой душевных волнений, вызванных страхом встречи с контролёром в городском транспорте.

В соседней комнате дочь их Люся спешно куда-то собиралась. Она натянула на своё полногрудое тело короткое немнущееся платьице, надела сверху джинсы и свитер, бросила в сумку туфли, косметичку и средства гигиены. Перед родителями Люся предстала в том виде, в каком обыкновенно ходила в институт, разве что косметики на ней было больше.

– Куда это? – спросила мать тоном полувопроса, то есть вопрос её прозвучал так, что на него совсем не требовался ответ. Мимика матери тоже не выражала вопроса. Зато отец насторожился и ждал, что же ответит дочь.

– Пойду, погуляю.

– Не долго, – отозвалась мать, и, похоже, больше её дочь не интересовала. Но отец таким ответом дочери не удовлетворился.

– Так поздно? – спросил он с нотками скрытой тревоги в голосе.

– Па! Ну где же поздно? Девять часов всего.

– А что днём тебе не гулялось?

– Папочка, миленький, я ведь днём учусь.

Дочь кокетливо придвинулась к отцу и чмокнула его в щеку.

За углом дома Люсю поджидали. В красном лимузине сидели две девушки и двое молодых мужчин. С появлением её мужчины, сидевший рядом с водителем, обернулся к девушкам и устало спросил:

– Всё в порядке?

– Всё, – ответила за всех короткостриженная брюнетка. Мотор завёлся, и машина мягко тронулась в сторону центра.

– Что, сегодня едем в центр? – поинтересовалась блондинка с узким личиком.

– А тебе куда хочется? – спросил, не оборачиваясь, водитель.

– Я думала, мы поедем на дачу к Серёге.

– Что, понравилось?

Девушка не ответила.

– Сегодня тоже неплохо развлечёмся, – пообещал водитель, быстро бросив на узколицию взгляд.

– Не отвлекайся, Стас, – попросила брюнетка, – смотри на дорогу.

– А что, боишься умереть? – всё с той же весёлостью в голосе отозвался водитель. – Похороним тебя с почестями.

Водитель побалагурил ещё, но девушки реагировали вяло, а мужчина рядом так вовсе цыкнул:

– Смотри вперёд!

Дальше ехали молча. Въехав в арку большого серого дома, машина остановилась.

– Входите в форму здесь, – обернулся к девушкам мужчина, сидевший рядом с водителем, – а то через парадное не пустят.

Девушки немного замешкались.

– Как это здесь? Да я здесь даже ноги не вытяну, – возмутилась Люся.

– Стас поможет, – всё с той же усталостью в голосе ответил мужчина и отвернулся, что должно было означать – оставить рассуждения. Девушки, хорошо знавшие усталого, больше возражать не стали и принялись к делу. Они стягивали с себя лишнюю одежду, одевали недостающую, переобувались, подкрашивались. Усталый сидел неподвижно спиной к ним, водитель же, обернувшись, бесцеремонно рассматривал девушек и лыбился. Минут через семь усталый скомандовал:

– Закругляйтесь.

– Лёш, – умоляющим тоном попросила узколицая девушка, мне ещё надо ресницы подкрасить.

– Ещё минута, – ответил мужчина.

Через минуту машина тронулась, проехала по двору и остановилась возле неприметного подъезда.

За неприметными дверьми оказался неожиданно просторный чистый и уютный холл. Из-за прозрачной перегородки, которая была почти неразличима, на вошедших непроницаемым взглядом смотрел элегантный молодой мужчина.

– Мы к Закиру, – сказал Алексей. Теперь в его голосе не было ноток усталости. Элегантный еле заметно кивнул, сделал несколько движений. По движению его губ было понятно, что он с кем-то говорит, но голоса его слышно не было, потом повернулся к вошедшим и уже слышно пригласил:

– Входите, вас ждут.

При этом лицо его ничего не выражало. Алексей двинулся в сторону перегородки, девушки и Стас – неуверенно за ним. Перегородка мягко бесшумно поехала в сторону, образуя проход. Поднялись по лестнице, и снова перегородка, но на этот раз без элегантного. Элегантный, тоже с непроницаемым лицом, встретил их в зале, пригласил всех сесть, а Алексея увёл с собой.

– Здорово! – озираясь вокруг, полушёпотом заговорила узколицая девушка.

– Угу – отозвалась Люся.

– Да, умеют люди жить, – мечтательно протянул Стас. Брюнетка оставалась к репликам, да и к самой обстановке безучастна. Она сидела на диване в мягкой, но в то же время элегантной позе с видом человека, вынужденного коротать время в ожидании.

– Лен, – обратилась Люся к узколицей девушке, – как ты думаешь, мы тут надолго?

– А что, отец опять возникал?

– Ну да, утром обязательно проверит, дома ли я.

– Хорошо ещё, что ночью не ждёт.

– Да нет, ночью, он, слава богу, спит.

– А мать?

– Ааа, той наплевать. Я, главное, ей пообещала, что рожать в ближайшей пятилетке не собираюсь, ну она и не пристаёт. Это отец...

– А ты и ему пообещай, – перебил Люсю Стас.

– Да ты что, я с ним даже говорить на эту тему не могу, я для него всё ещё девочка с косичками.

Появился элегантный, пригласил всех пройти за ним.

В баре, сидя на высоких вращающихся стульях, обитых красной кожей, девушки, похоже, стали чувствовать себя увереннее, но на их лицах всё ещё угадывалось ожидание. Оживление в обстановку внёс брюнет, неожиданно появившийся откуда-то сбоку.

– Что, девушки, скучаем? – подошёл он сзади к ним и приобнял двух крайних девушек – узколицую Лену и брюнетку Любу. Люсю же, сидевшую посередине, он коснулся своей щекой. Лена кокетливо улыбнулась брюнету, Люба повела плечом, как бы сбрасывая его руку, Люся расцвела в приветливой улыбке. Болтали ни о чём. На вопросы девушек, кто хозяин квартиры, мужчина отвечал уклончиво, сам же, представившись им просто Эдуардом, узнал, как зовут их, чем они занимаются в свободное от отдыха время, какое они любят вино, какие смотрят фильмы, имеют ли увлечения и всякую другую чушь. Стас, уловив жест отрицания со стороны брюнета, в разговоре не участвовал, хотя, делая вид, что увлётся фильмом, который шёл по устроенному в стене телевизору, прислушивался к их разговорам. Минут через тридцать в бар влетел Алексей и, не обращая внимания на брюнета, обратился к девушкам:



– Девочки, готовьтесь к выходу!

В его голосе и жестах читались возбуждение и суетливость, которые передались и Лене с Люсей. Люба же к словам Алексея отнеслась спокойно. Пока девушки готовились в туалетной комнате к выходу, брюнэт подошёл к Алексею и безапелляционным тоном сказал:

– Первой пустишь Любу!

– Не понял? – В вопросе Алексея читался протест, но слабый, так как в голосе брюнэта он уловил нотки, не допускающие возражений.

– Любу! – властно повторил брюнэт. – Второй – Лену, Люсю – последней.

– Но Люба у меня на закуску, Люся – первая, – неуверенно пытался возразить Алексей.

– Сделаешь, как сказал! – С этими словами брюнэт развернулся и удалился в боковую неприметную дверь.

Люся сидела в ожидании вызова и волновалась. Люба, оттанцевав, не возвращалась. Обычно девушки после танцев с раздеваниями возвращались в туалетную комнату одеться, и уж потом, в зависимости от обстоятельств, приглашались в зал, либо гуляли в каком-то отдельном помещении, но вот уже вызвали Лену, а Люба не вернулась. Минут сорок Люся оставалась одна, даже Стас куда-то пропал. Ей уже стало казаться, что она забыта всеми, ей хотелось встать и идти искать своих подруг, Лёху, Стаса, или ещё кого-нибудь, но она опасалась, что как только она уйдёт с этого дивана, где ей велели ждать вызова, за ней придут, тогда получится, что она сорвала представление, а этого Алексей не прощал.

Наконец, появился Алексей.

– Пошли.

– А где девчонки? – спросила, вскакивая с дивана Люся.

– Пошли, пошли, все там.

Первое, что заметила Люся, выйдя на маленькую ярко освещённую сцену, это отсутствие, а точнее сказать, очень малое количество зрителей. Люся привыкла выступать на публике, в гомоне, где она хоть и была объектом общего внимания, но второстепенным. Все занимались выпивкой, разговорами, игрой, а она своим выступлением лишь разнообразила отдых присутствующих. Здесь же едва насчитывалось человек десять, и все они смотрели на неё. Уловив ритм музыки, Люся стала пластично двигаться по сцене. Время от времени она бросала взгляд в зал, но никакой реакции зала не было, все молча безотрывно смотрели на неё. Люся бросила взгляд за кулисы на Алексея, ища его поддержки, и вдруг увидела, что он сигналил ей уже раздевание. Люся не поверила, сразу раздеваться, такого ещё не бывало, она снова бросила взгляд на Алексея, он повторил сигнал. Люся, тонко чувствующая музыку, и, имеющая прекрасную пластику, делала всё изящно, многократно отрепетированными движениями, но ей не хватало поощряющих возгласов. Она хотела потянуть с раздеванием, провести его по программе три, но Алексей просигналил – один, что означало, что ей надо раздеться быстро. Так она и поступила, но даже тогда, когда она осталась совсем нагой, никаких возгласов не последовало. В зале по-прежнему была немая тишина. Люся, танцую, косилась на Алексея, ожидая, когда он просигналил её отбой, но вместо этого он просигналил ей спуск, что означало, что она должна немедленно спуститься в зал. Люся снова не поверила, подумала, что он ошибся, обычно спуск делался, когда девушка была хотя бы в трусиках, но чтоб спускаться в зал нагой, такого не бывало. Алексей вторично просигналил спуск, причём, немедленный. Люся, пряча в глазах испуг, обвела взглядом сидящих, прикидывая, к кому бы подвалить, и тут она увидела Эдуарда. В глазах его, в отличие от других, читались дружелюбие и приветливость. Пританцовывая, Люся подошла к столику, за которым был Эдуард. Он встал, галантно поцеловал её руку и преподнёс ей бокал вина. Люся выпила и сразу же почувствовала какое-то головокружение и лёгкий дурман. Что это, наркотик, яд? – успела подумать Люся, а дальше что-либо думать она не могла. Сквозь мутную завесу, как будто издалека, до её слуха дошли слова Эдуарда. Он говорил что-то на английском языке.

– Господа, позвольте представить, это Люся. Она приняла ноль двухмиллилитровую дозу препарата РК-3, – говорил он, обращаясь к сидящим в зале.

Ростислав Моисеевич с детства верил в свою необыкновенность. Ещё его покойная бабушка, Клавдия Егоровна, женщина властная и эгоистичная, всегда твердила, – Талант, незаурядные способности, мастерство – всё это ничто без умения властвовать чужими душами. Учись, Ростик, властвовать чужими душами, и тогда тебе откроются все дороги. Учись познавать чужие души, входить в них, а своей души никому не раскрывай.

Живя с бабушкой, так как та не могла позволить воспитание ребёнка «какому-то еврею, вечно зарывшемуся в формуль», и своей дочери, «которая сама-то ещё была ребёнком», маленький Ростик быстро

освоил науку бабушки: он умел вызвать людей на откровенность, умел найти подход к людям, и, главное, умел обойти разговор о себе. Вскоре он почувствовал и плоды своего умения, но главная его победа заключалась в том, что он сумел вызвать на откровенность своего учителя и наставника – бабушку – Клавдию Семёновну. В седьмом классе, разговарив в качестве эксперимента своих соседешек, не чаявших в нём души, Ростик нарвался на вопрос, – А дедушка-то вам пишет? Ростислав думал, что дедушка погиб во время войны, так говорила бабушка, но, услышав вопрос о письмах деда, он сумел скрыть своё удивление и беспечно ответил, – Не знаю, бабушка получала от кого-то письма, может, от него. Дальше он сумел разговорить соседешек ещё и узнал, что дед его был репрессирован. Два года обдумывал Ростислав, как бы ему разговаривать бабушку, и, наконец-то, уже в девятом классе он сумел это сделать. Он узнал, что Клавдия Семёновна, дочь видного деятеля литературы, в семнадцать лет влюбилась в своего соседа, забойщика-стахановца, вышла за него замуж, родила дочь, а потом вдруг поняла, что забойщик не соответствует её «высоким эстетическим запросам». Шёл тысяча девятьсот тридцать седьмой год, и Клава нашла самый простой и самый верный способ освободить себя от забойщика.

Одержав эту победу, Ростислав понял, что он же и проиграл. С той поры у него в душе зародилась злоба на бабушку, он понял, что живёт под одной крышей со сволочью. Много раз он пытался оправдать бабушкин проступок молодостью, но это ему не удавалось. Бабушка, представшая перед ним в образе сволочи, всё больше утверждалась в нём. Ростислав понял, что, отняв его у родителей, Клавдия Семёновна лишила его радости общения с ними, и обездетила их. Нелюбовь Клавдии Семёновны к Моисею Исааковичу, отцу Ростислава, породила в юноше интерес, а позже и привязанность к отцу. Ростислав понял, что его отец – большой учёный, нейрохирург. Из уважения и интереса к отцу, Ростислав стал читать его статьи, изучать его работы и увлёкся. Так он пошёл по стопам отца, закончил институт, и пришёл работать на кафедру отца. В двадцать четыре года Ростислав защитил кандидатскую диссертацию, через два года – докторскую. Его труды вызвали большой интерес в научных кругах многих стран. Желание властвовать над душами, внушённое бабушкой Ростиславу с детства, с годами не ослабевало, а усиливалось. Ростислав понял, что нейрохирургия и психиатрия раскрывают перед ним реальные возможности воздействовать на людей, управлять ими. Заручившись материальной поддержкой крупной фармацевтической зарубежной фирмы, Ростислав Моисеевич приступил к разработке препаратов, воздействующих на мозг и центральную нервную систему человека.

На сцену выкатили Любу и Лену, сидящих в широких креслах. В такое же кресло рядом усадили и Люсю. Все девушки были наги. Люба сидела с ровной спиной с властным гордым видом. В её глазах был нездоровый блеск. В глазах Лены, сидящей в вялой позе, читались усталость и отрешённость. По лицу Люси блуждала глупая улыбка.

– Препарат, – продолжал свой доклад на английском языке Ростислав Моисеевич, – совершенно не вызывает аллергических явлений. У девушек нет ни удушья, ни насморка, ни слезливости, и как вы видите, чиста их кожа. Ростислав Моисеевич взглянул на часы – через три минуты действие препарата у первой девушки вступит в активную фазу. По моим подсчётам это продлится минут тридцать-тридцать пять, в зависимости от психологических особенностей пациентки. – Ростислав Моисеевич говорил, а сверху на Любу опускался колпак из прозрачного материала, внутри которого по стенкам были оборудованы снаряды типа гимнастических.

– Вы сказали, – обратился к докладчику старичок с аккуратной седой бородкой, – что действие препарата зависит и от психических особенностей человека, что вы имели в виду?

– Действие препарата усиливается, если человек по природе сам агрессивен.

– А эту девушку Вы находите агрессивной?

– Нет. Я плохо, а точнее, я не знаю этих девушек, но, судя по роду её занятий, она работает воспитателем в детском садике, ну и вот, – он кивнул на сцену, – танцует, Люба не должна быть агрессивной. Вся агрессия, которую сейчас проявит девушка, вызвана действием препарата.

Желая задать вопрос, встал молодой полный мужчина, но вопрос остался не заданным. Мужчина, глядя на Любу, так и опустился в своё кресло с открытым ртом.

Люба являла собой страшное зрелище: её лицо было искажено злобой, ненавистью и безумием. Она вскочила с кресла и кинулась в сторону зала, но встретила сопротивление прозрачной стены. Наверное, она сильно ушиблась, но никаких видимых признаков того не было. Ни один мускул не дрогнул на её лице, по-прежнему лицо девушки оставалось обезображенным гримасой злобы и ярости. Люба быстро пробежалась вдоль стен колпака, хватаясь то за один, то за другой снаряд, и, убедившись, что находится в замкнутом пространстве, начала тянуть на себя какой-то брус. Было видно, что она прикладывает



большие усилия. Брус не подавался. Она схватилась за другой – то же. Люба стала пытаться раскачивать его, но в действительности раскачивалась сама. Стала плечом толкать в стену купола, невероятно высоко подпрыгнула до потолочной стенки купола, ухватилась за кольцо, повисла на одной руке, пытаясь второй пробить купол, спрыгнула, яростно окинула взглядом окружающих и снова кинула все свои силы на то, чтоб высвободиться.

– Она видит нас? – спросил один из присутствующих.

– Думаю, да.

– Но она ни на кого конкретно не смотрит.

– Это потому, что ей ещё не назван конкретный враг. Господин Дэвид, это будете Вы, – неожиданно обратился Ростислав Моисеевич к блондину в очках.

– Я, – немного испуганно спросил господин Дэвид. – Почему?

– Мне показалось, у Вас крепкие нервы...

– Но я б не хотел...

– Хорошо! Я буду врагом, – решительно прервал блондина Ростислав.

Секунд пять спустя мужской голос на русском языке объявил:

– Люба, Эдуард – мужчина, который стоит – твой враг!

Люба, яростно пытающаяся трясти какой-то снаряд, оторвалась от своего занятия, метнула свирепый взгляд в зал, и, сразу обнаружив стоящего мужчину Эдуарда, вцепилась в него ненавидящим колючим взглядом. Ростислав, весело помахав Любе рукой, сел. Люба вновь кинулась на стену.

– Теперь, господа, вся её энергия будет направлена на уничтожение меня.

– А что-то может её отвлечь, ну, например, музыка или какой-то крик?

– Давайте проэкспериментируем.

Заиграла музыка. Люба, не обращая на неё внимания, билась о стенку, не отрывая взгляда от врага. Завыла сирена, на Любу полилась вода, вокруг колпака, под которым находилась Люба, вспыхнуло пламя, но Люба почти не обращала на это внимания.

– Она чувствует боль?

– Да.

– Если сейчас освободить её, опасна ли она для других кроме Вас?

– Да. Конечно, она сосредоточена на моём уничтожении, но если на её пути встретится кто-то, кто будет пусть даже косвенно мешать, она может навредить этому человеку.

Были ещё вопросы. Спрашивали о возможных вариантах поведения Любы, о действии препарата на внутренние органы, на органы зрения, слуха, обоняния. Проводили разные эксперименты: выключали свет, и «враг» перемещался, меняли «врага», объявляли «врага» другом. Ростислав Моисеевич комментировал поведение девушки, отвечал на вопросы, а сам всё время посматривал на часы. Постепенно пыл и ярость девушки стали угасать.

– Сейчас девушка заснёт, – объявил Ростислав Моисеевич. Её сон будет почти нормальным.

– Что Вы имеете в виду?

– Можно сказать даже нормальным, но сильно углублённым, беспробудным. Пока я ещё не нашёл более удобного способа выводить человека из трансового состояния. И ещё, во время сна проводится сеанс... Вы всё увидите сами... А сейчас, господа, обратите внимание на девушку, принявшую препарат РК-2. Она сидит с отсутствующим видом. Это прекрасный робот, который можно заставить заниматься любой самой грязной работой: чистка, уборка, сельскохозяйственные работы.

– Как это сделать? – спросил старичок.

– Что?

– Как заставить её?

– Приказом.

– Приказ слуховой?

– И не только. Сейчас я продемонстрирую вам слуховые приказы, но мной разрабатываются и другие виды воздействия, в частности, через Ростозвуковое излучение.

– Ростозвуковое? – выразили удивление присутствующие.

– Да! – энергично ответил Ростислав Моисеевич, и в его глазах предательски на доли секунд мелькнул восторг победителя, который Ростислав Моисеевич усилием воли быстро сумел потушить. Рано, ещё рано даже говорить об этом, но так хотелось похвастаться. Посыпались вопросы о новом виде излучения, но Ростислав Моисеевич обвёл присутствующих жёстким взглядом и категорически заявил:



– Господа, придёт время, и я ознакомлю вас с результатами моих исследований, и с действием этого явления, а сегодня вы приглашены для того, чтобы я на примере этих девушек с улицы продемонстрировал вам действие препарата РК. Отвлекаясь на Ростовизлучение, мы теряем драгоценное время. Действие препарата у Лены уже началось, и уже в активной фазе.

– Да, да, – виновато поспешили согласиться присутствующие.

Лену заставляли убирать осколки стекла с пола, гладить бельё, мыть грязную раму. Всё девушка делала с подчеркнутой аккуратностью. Она ни разу ни обожглась, ни укололась. При этом лицо её оставалось безучастным. Она даже не поднимала глаз, выполняя то или иное приказание. Вопросов было много. Присутствующих интересовало, что, если девушка совершенно не имеет того навыка, который требуется от неё для выполнения приказа, спрашивали о её самочувствии и о другом.

Неожиданно расхохоталась Люся.

– Господин Гутман, Вы ничего не говорили о том, что Ваш препарат вызывает смех, – ехидно улыбаясь, заметил яйцеголовый мужчина с козлиной бородкой. Глянув на него, Люся расхохоталась ещё сильнее, на её глазах даже проступили слёзы.

– Люся, не смейся, ты нам мешаешь, – скомандовал на русском языке Ростислав Моисеевич.

Люся тут же подавила в себе смех, но лицо её серьёзным не стало, оно вновь приняло глуповатое выражение с блуждающей улыбкой. В тишине, нарушаемой лишь лёгким скрипом салфетки о стекло, Ростислав Моисеевич ответил:

– Не думаю, что смех девушки вызван действием препарата. Ведь находясь в трансовом состоянии, она продолжает жить: видит, слышит, осязает, и, возможно, многое понимает.

– Многое из сказанного Вами?

– Нет, не совсем так. Безусловно, она слышит и меня, но вряд ли что-либо воспринимает осмысленно, тем более что девушка почти не знает языка. Говоря, что она многое понимает, я как раз имел в виду наоборот, она сейчас понимает много меньше того, что бы должна понимать в нормальном состоянии, но нельзя сказать, что она не понимает ничего напрочь. Её центральная нервная система...

Ростислав Моисеевич говорил много, уверенно, доказательно.

Люся сидела, смотрела на окружающих, и в её голове рождались недомысленные мысли, мысли – обрывки, додумать, домыслить, которые она не могла. «Я... Что я? Эдик говорит что-то... Что?.. Кто это? Какой смешной яйцеголовый... Похож на... На кого? Кто похож? Лена моет раму. Мама мыла раму. Мыла мылом... Что я тут...».

Потом в голове стала появляться мысль – «Я сделаю, я должна сделать». Эта мысль, мешаясь с другими, всё чаще и чаще, стала вырисовываться чётче, и, наконец, повисла в сознании Люси одна, вытеснив все другие. «Что мне сделать? Я сделаю! Я должна сделать!». Готовность исполнить желание, неважно чьё, читалась и на её лице, всё ещё не утратившем признаки дебилизма.

– Люся, ты готова исполнить мои желания? – спросил Ростислав Моисеевич.

– Да, – с нетерпеливой охотностью закивала головой девушка.

– Станцуй нам!

Люся не заставила себя ждать. Она стала танцевать под музыку, которая была слышна только ей одной, так как в действительности вовсе и не было никакой музыки.

– Сделай мостик!

Мостик получился на славу.

– Сядь на шпагат!

Шпагат не растянулся на сто восемьдесят градусов, но всё же.

– Этот мужчина, – Ростислав Моисеевич указал на ближнего мужчину, – хочет тебя.

Люся охотно пошла навстречу мужчине, игриво покачивая бёдрами.

– Нет, Люся, иди ко мне!

На слове «нет» Люся остановилась, повернулась к Ростиславу Моисеевичу и пошла к нему.

– А что, если кто-то другой будет давать ей команды?

– А может ли она одновременно выполнять команды разных людей?

– Как она поведёт себя если...

Вопросов было много. Ростислав Моисеевич отвечал на все, часто подтверждая ответы демонстрацией.

Люся выполняла пожелания мужчин, а в голове всё продолжала висеть та же мысль – «Что исполнить? Я исполню!». Минут через тридцать пять эта мысль стала мало-помалу увядать, размываться, тонуть в какой-то дали, и, наконец, наряду с ней в сознании девушки проскользнула новая мысль – «Хочу спать».



Проскользнула кратко, неуловимо, и за ней стали появляться обрывки других мыслей, всё более и более вытесняя мысль «Я исполнил!». Минуты через три снова возникла мысль «Хочу спать!». На этот раз она прозвучала чётко и выразительно, разметав на тысячи несобираемых брызг все другие мысли, роющиеся в её голове, и повисла в сознании, заполняя всё существо девушки.

Люся невидящими глазами смотрела на Ростислава Монсеевича, она видела его, слышала, но только сотые доли секунд, мозг не фиксировал ни увиденного, ни услышанного, не фиксировал никаких ощущений. Она жила, и не жила. Наконец, Люся услышала в свой адрес: «Иди в кресло, спи!».

Люсе снился сон, в котором она шла по лесной тропинке, и всё надеялась, что вот-вот появится опушка или что-то ещё, а лес всё продолжался, кругом было мрачно, сыро, прохладно.

Проснувшись Люся от толчков и крика матери. Не сразу она поняла, где находится, а, поняв, не могла вспомнить, как она оказалась дома, ведь она уехала на выезд, или это приснилось? Из оцепенения Люсю вывел вопрос матери.

– А что ты в институт-то не пошла? Прогуливаешь что ли?

– Нет, – по привычке рефлексивно стала сочинять Люся. – У нас сегодня коллоквиум в четыре...

– Так ведь уже шесть часов! Ты ж проспала. Это всё твои гулянки.

– Мам, а какое сегодня число? – почему-то неожиданно для себя спросила Люся.

– Не знаю... То есть шестнадцатое, у нас же сегодня был методсовет. Знаешь, всем очень понравилось моё выступление, а Нелли Львовна даже попросила меня подготовиться к выступлению в районе на тему «Воспитание в подростке...». Но Люся больше не слушала мать. Шестнадцатое, шестнадцатое, а вчера, пятнадцатого, у них был выезд. Они же куда-то ездили, а вот куда? А деньги целы? Как только мать вышла из комнаты, Люся кинулась к комоду, вынула сумочку из-под груды белья, куда она её прятала от родителей, открыла нервными движениями и успокоилась, деньги – триста долларов, как и договаривались с Лёшой, были на месте.

Но успокоение от наличия денег вновь вытеснилось тревогой, тревожило то, что она совершенно не помнила, как провела вечер и ночь с пятнадцатого на шестнадцатое, как добралась домой, как..., словом, ничего не помнила с того места, как отъехали от дома. Ехали не к Серёге, это точно, Стас ещё посмеялся над Ленкой, а вот куда? Люся встала и стала звонить подругам. Номер Лены не отвечал, Люба отозвалась сразу.

– Я тоже ничего не помню, – с каким-то трагизмом в голосе ответила Люба. Часа через три звонила Лена, которая, оказывается, только что проснулась, она тоже ничего не помнила. Узнать что-либо у ребят тоже не удалось, так как их уже не было в живых. Прошлой ночью они разбились.

На этом бизнес стриптизёрш закончился, и не только потому, что они потеряли сутенёров, но ещё и потому, что и сами очень изменились. Все считали, что потеря друзей очень сказалась на их психике. Все трое стали какими-то странными.

Люба, дочь престарелой матери, стала плохо спать, мучиться кошмарами, подолгу замыкаться в себе, и уже получила на работе два выговора.

Лена, дочь богатых родителей, связалась с парнем сомнительной репутации по кличке Блик, и, говорят, стала употреблять наркотики.

Люся бросила институт, так как учёба ей вдруг стала не под силу, и собирается выйти замуж за бывшего одноклассника.

ВЛАДИМИР СЕРЕБРО

ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ МИКРОИСТОРИИ

эссе

Наша семья имеет глубокие одесские корни. А её «дом», квартира в центре города и дача на Французском бульваре, соответствовал понятию «открытый дом» в сугубо российском культурном смысле. Понятие это включает все тонкости нравственного и душевного состояния людей, в нём живших: их ум, образование, профессиональную деятельность, широту культурных интересов и любовь или даже страсть к людскому общению. Двери дома – в городской квартире и на даче – всегда были широко раскрыты для многих, не только одесситов, но и гостей из больших и малых городов, разбросанных по всей территории государства. Гости бывали часто, были они людьми различных возрастов, профессий, знаний, званий и квалификаций и даже вероисповеданий. Существовала ли между ними некоторая общность? Несомненно. Я бы её назвал – истинная интеллигентность (таковая, по моему мнению, меньше всего зависит от образования). Имена многих побывавших в нашем открытом доме были в своё время известны не только одесситам, но, пожалуй, и всей стране. Некоторые из этих имён достигали признания государственного уровня. Общение со многими было многолетним, не только личным, но и эпистолярным. Могу с уверенностью сказать, что гости любили наш дом. Им приятно было находиться в сердечной атмосфере, которая создавалась родителями моей жены Лили: отца – профессора медицины Моисея Самойловича Беленького и матери – доцента-психолога Лидии Яковлевны Ландесман-Беленькой. Были они людьми незаурядными и дореволюционного воспитания. Обстановка в их доме была уютной: старинная мебель, масса книг, картины и фотографии на стенах и немного предметов антиквариата. Более подробные сведения о доме читатель может найти в моих мемуарах, опубликованных в 2005-2015 годах. Здесь же я вынужден кратко повториться только для того, чтобы читатель понял, в каких условиях архив рождался и почему он мог оказаться (и оказался!) внушительным. И чтобы подчеркнуть, что в нём отразились все особенности быта семьи и её психологического климата.

При наших с женой сборах в эмиграцию, а было это после смерти её родителей, сохранность архива и, естественно, его перевозка в другую страну оказались довольно сложной проблемой. К счастью, её решением оказался багаж, отправленный морем через Израиль. Когда пишутся эти строки, архив сосредоточен в квартире, где протекала наша, а теперь, после смерти жены, только моя одинокая, к моему несчастью, эмигрантская жизнь. Основная часть родительского бумажно-документального архива хранится в большом комод, одна из половин которого – это полки, другая – выдвижные ящики. Многие предметы архивного характера (документы поздних лет, книги, антикварные вещицы, картины) нашли приют в шкафах, на письменных столах и в них, на декоративных полках и на стенах.

Начну с комода. Документы и документов поколения дедушек-бабушек наиболее старые. Меня когда-то давно поразили врачебные дипломы Швейцарского и Дерптского университетов. Их существование объясняется просто: в царской России евреям трудно было получить медицинское образование. А поразили они меня размером и живописностью оформления. Современный человек может воспринять их как театральную афишу... Родительские же подобные документы – это скромные коричневые книжицы – свидетельства о высшем образовании, о научных степенях и званиях. Что касается аналогичных документов последующих поколений, то они, документы, пребывают пока в ящиках письменных столов и на книжных полках. Но, видимо когда-то, переместятся в комод...

Почётное место в комод занимают две большие коробки в основном с рукописями Лилиных родителей: одна – отца, другая – матери. Рукописи эти – мемуарные записки. Часть из них – те, которые относятся к периоду первой Мировой войны и первым послереволюционным годам, мне удалось опубликовать в начале нынешнего века. Отцовские тексты увидели свет под званием «Окаянные дни глазами доктора»



(М.С. Беленький), а материнские – «Дом на Черноморской» – (Л.Я. Ландесман-Беленькая). Тексты эти интересны не только историческими фактами, но и изящным литературным стилем. Здесь я должен объяснить. Название первому очерку я придумал под влиянием, конечно, «Окаянных дней» Бунина. Оба текста сближают время, место и чувства...

В моей книге «Истории одесского открытого дома» есть очерки о моих и Лилиных родителях. При написании двух последних – «Хозяин открытого дома» и «Хозяйка открытого дома» – точнее, их первых страниц (периода до моего рождения), я пользовался упомянутыми выше мемуарными рукописями. Если судьба будет ко мне милостива, постараюсь подготовить к печати новые разделы родительских мемуаров. Но более надеюсь на молодые поколения...

Коснувшись выше изящества литературных текстов, не могу не рассказать, что одна из папок архива – это номера литературно-художественного и научного рукописного альманаха, который братья Беленькие издавали в молодые годы. Кстати, у Моисея Самойловича было шесть братьев. Все они – люди незаурядные. Судьба троих из них оказалась трагической, но это – тема для отдельного и долгого разговора. Вернусь к альманаху. На одном номере стоит дата 1909 год, на другом – 1911 год, на третьем – 1912 год. В них стихи, проза и, действительно, научные статьи. Одна, например, называется так: «Об употреблении пневматических шин для аэроплановых колес системы ПАРСЕВАЛЬ». В ней приведены математические формулы и соответствующие вычисления. Все тексты альманахов написаны великолепным каллиграфическим почерком. Многие иллюстрированы рисунками, в некоторых заметно влияние модернизма и пуантилизма.

Один из ящичков «архивного» комода заполнен альбомами с рисунками Моисея Самойловича. Дело в том, что он, врач, прекрасно владел карандашом и пером. Его рисунки настолько хороши, что при подготовке к эмиграции пришлось съездить в столицу за разрешением министерства культуры на их вывоз за границу. В альбомах много зарисовок бытовых сцен, пейзажей и портретов, сделанных в Одессе, Берлине, Западной Украине, Ташкенте и на многих курортах, где он побывал, как консультант. Курортолог он был весьма известный. С некоторыми рисунками М.С. читатель может познакомиться по моим воспоминаниям. Здесь же я не могу удержаться от соблазна рассказать о судьбе одного из них – наброска рисунка И. Бабеля, сделанного в нашей одесской квартире в 1936 году. Его копию я переслал внуку писателя Андрею Малаеву-Бабелю. В ответ получил следующее:

«Спасибо Вам огромное за рисунок. Он очень живой, в нём хорошо схвачено “бабелевское”. Кроме того, со стороны Вашего тестя это был мужественный поступок – сохранить этот набросок».

Последняя фраза говорит об очень многом...

Значительное место в архивном коммоду занимают фотографии. Их великое множество. Они берут своё начало с конца XIX века, и охватывают времена пяти поколений. Кроме того много подаренных друзьями и гостями нашего дома. Фотографии хранятся в альбомах, многочисленных папках, пакетах и конвертах. Приведение их в порядок – это трудоёмкая и длительная работа. Но она необходима. Ведь наша фототека представляют не только семейный, но и историко-этнографический интерес. В фотографическом изобилии есть и один упорядоченный и красиво оформленный раздел – это история Лиленьки, дочери М.С., от рождения до полного взросления. Фотографии эти размещены в нескольких альбомах в строго хронологическом порядке. Под каждой – короткий текст или слово. Все они и их размещение в альбомах – дело рук отца, который увлёкся фотографическим искусством ещё в те стародавние времена, когда оно только зарождалось. И было непростым делом.

Но на одной фотографии из семейного архива остановлюсь особо. Сразу скажу почему. Это портретный большого формата снимок великой актрисы А.А. Яблочкиной. На паспарту она написала:

«Превосходному доктору и интереснейшему собеседнику, глубокоуважаемому Моисею Самойловичу Беленькому с большой сердечной признательности и сердечной благодарности и глубокой благодарности на память от его пациентки А. Яблочкиной».

С завалом фотографий нашего архива соперничает множество писем. Это результаты многолетней переписки с родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми, учителями и учениками. Некоторые из них написаны красивым почерком, но многие – трудно читаемыми буквами и сползающими строчками. Это письма людей в возрасте: Е.П. Пешковой, Т.В. Ивановой, А.Я. Бруштейн, Т.В. Шипмаревой, И.Л. Андроникова и другие. На некоторых известных авторах писем, как и на героях фотографий, я ещё остановлюсь. Здесь же назову только одного из них – это Патриарх всея Руси Алексей I. Писем несколько. Из них видно, что отношения между пациентом и врачом были сердечные. Удивляться нечему: оба участвовали в первой Мировой войне в офицерских званиях, оба в своё время получили соответствующее образование и воспитание. Оба охотно, даже с удовольствием погружались в исторические и культурные события. При общении нередко переходили на французский и немецкий языки.

Все разговоры о хранении фотографий и писем имеют смысл, если они выражают мысли и чувства людей родных и не родных, но более или менее значительных и, конечно же, известных. Первые, понятно, вне конкуренции. А вот остальные... Поимённо называть всех не буду. Вот некоторые: актёры Московского Малого театра 30-х годов (А. Яблочкина, чета Рыжовых, В.В. Массалитинова, В.Н. Пашенная и др.), 2-го МХАТа (И.Н. Берсенева, С.В. Гиацинтова, С.Г. Бирман и др.), К.В. Пугачёва, гуманитарии (А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, акад. В.М. Жирмунский, семья Всеволода Иванова, А.Я. Бруштейн, Н.Я. Мандельштам, С.И. Липкин, С.Я. Боровой и др.), врачи (акад. В.П. Филатов, А.М. Сигал, Б.Е. Франкенберг, Р.О. Файтельберг), технари (член-корр. А.Н. Вейник, Б.А. Минкус, В.М. Шестопап), крупный военачальник и государственный деятель С.А. Ковпак. Список этот хочу завершить банальным утверждением: людская память не безупречна, особенно в преклонном возрасте...

В этом месте я решил перейти на скользкую тропу и включить в семейный архив и домашнюю библиотеку, и даже некоторые вещицы, мелкие по размерам, но оказавшие на многих членов семьи значительное психологическое и даже творческое влияние. Много раз приходилось слышать, книги в семьях хранят тепло рук предков. Но дело не только в этом. Наша домашняя библиотека хранит знания, вкусы, квалификацию, стили поведения и даже авторитет членов семьи. Если угодно, и её историю. В одних книгах упоминаются родные имена, в других – наших друзей и знакомых, в третьих события, оказавшие на семью заметное влияние. На книжных страницах я часто встречаюсь с людьми разной степени близости – от шапочной до родственной. На наших книжных полках много ценных книг и альбомов по искусству. Один из них называется «Дрезденская галерея». Этот альбом – мой свадебный подарок жене, который я преподнёс 6 марта 1955 года, в день нашего бракосочетания. Разве он не предмет для семейного архива? А книги и отписки статей, написанных родственниками ушедших поколений? Как относиться к книгам, на которых авторские дарственные надписи. К архивной ценности я бы отнёс и около полутора десятков книжных публикаций, в которых фигурируют и члены нашей семьи. В качестве примера приведу описание Паустовским санатория доктора Ландесмана. А как поступить с более чем четырьмя десятками моих статей сугубо мемуарного характера? Ещё дальше отступлю от порога скромности: что делать с моими научными публикациями – пятью книгами и двумя сотнями научных статей (читива для последующих поколений, конечно, скучного, но всё-таки...)?

Овдовев, я начал запойно читать и перечитывать книги из домашней библиотеки. Это мой способ борьбы с тоской. Во многих из них я встречал на страничных полях карандашные пометки, замечания, уточнения, сделанные Лиленькой. Нередко я натыкался и на вставленные между страницами рукописные листочки с её же развернутыми мыслями о прочитанном. Вид родного почерка и глубина её погружения в тексты меня потрясали и потрясают. Сохранились также толстые тетради и блокноты с её объёмными текстами о книгах и с планами по ознакомлению с новыми. Разве все это не важная часть (возможно, и самая важная часть!) семейного архива?

К жемчужинам семейного архива я бы причислил и шкаф, заполненный старинными книгами. Их библиографическая ценность несомненна. В качестве подтверждения приведу примеры. «Сто басен на английском, французском и немецком языках», с иллюстрациями ручной раскраски. Книга издана в Берлине, судя по её бумаге, в конце XVIII – начале XIX века. На книге есть владетельская подпись 1842 года. Издания «Театр Коцебу», язык немецкий, шрифт готический, шесть томов, годы изданий 1801 – 1815. Книга «Прогулки художника по Рейну», язык французский, издана в Париже, иллюстрации Тернера и Стенфилда. Книга «Чувственное путешествие Стерна во Францию» с посвящением Державину, опубликована в Москве в 1803 году. Из более поздних изданий можно назвать полное собрание сочинений Пушкина в 10-ти томах издательства Брокгауза и Ефрона (1911 год), Лермонтова в одном томе издательства Ф. Павленкова (1910 год) и Гоголя в одном томе объёмом 976 страниц издательства товарищества М.О. Вольф. Такие книги в руках – это прикосновение к самой культурной истории.

Теперь о том, что выше я назвал вещицами. В качестве соответствующих примеров назову старинные серебряные чернильные приборы и мелкую пластику из бронзы и чугуна, стоявшие на письменных столах в нашей одесской квартире. Среди этих вещей две бронзовые фигурки – рыцаря и мушкетёра – особенно примечательные. По воспоминаниям М.С., они были изготовлены то ли одесским ювелиром Рухумовским, то ли его учениками. Да, да, это именно тот Рухумовский, который изготовил золотую фантастически красивую копию короны скифского царя. Плод труда этого замечательного мастера выглядел столь великолепно, что тира была продана Лувру как оригинал и, естественно, за большие деньги. В своё время это событие было мировой сенсацией. Что же касается вещей из чугуна, то они – произведения известного Каслинского завода. В список памятных «вещиц» я бы добавил и трость Е.П. Блаватской, се-



ребряный подстаканник И.А. Рыжова, картину Р.Д. Нейдинг «Букет сирени», гравюры Т.В. Шишмаревой, К.К. Ковтурмана и А.Б. Постеля, ну и, конечно же, графику самого М.С. – портреты, пейзажи и бытовые сценки. И список этот можно продолжать и продолжать... Итак, семейный архив – это не только старые документы, письма и фотографии, но и многое другое, что хранит и передаёт семейный климат, что провоцирует душевный отклик. Он ствол, к которому прививалась побеги людского развития. Он, конечно, не хранитель тайн мироздания, но крупница человеческого опыта и морали.

Проблема семейного архива не столько материальная, сколько моральная и даже духовная. Её решение облегчает или даже открывает путь к родным и любимым душам, парящим над нашим миром. Семейный архив – нравственный фундамент наследства. О, как бы хотелось, чтобы уважение к такому архиву стало нормой человеческого бытия. Очень надеюсь... Я оптимист, к тому же доверчивый. Отталкиваясь от известной русской фигуры речи, могу сказать: чем больше того, за что я ратую, тем меньше людей, не помнящих родства. И чем крепче семейные традиции, тем долговечнее и устойчивее семьи.

Ну а что же касается качественных тонкостей, то они связаны с вкусовыми оценками... Многообразие таковых неисчерпаемо.

В течение двух лет после смерти супруги я не мог заставить себя заняться разбором содержимого её письменного стола. Наконец, победил себя. Не перестаю удивляться и даже поражаться тому, что увидел впервые.

Начну с записок жены об Анне Андреевне Ахматовой, её объёмных воспоминаний о Лидии Чуковской и многочисленных вырезок-публикаций из журналов и газет. В записках Лиленьки об эвакуации в Ташкент (во время войны с фашистской Германией) я нашёл список, который называется «Кого я знаю (знала) из указанных имён». Вот он:

- Хамид Алимджан – узбекский поэт, публицист, критик*
Андронников П.А. – литератор
Бать Л.Г. – литератор, жена писателя А. П. Дейча
Брик Л.Ю. – муза Маяковского
Дейч А.П. – писатель
Жирмунский В.М. – филолог, академик
Журавская С.А. – педагог, жена Наркома просвещения Узб.ССР
Пванов Вячеслав (Кома) Всеволодович – филолог, позднее академик
Липскеров К.А. – писатель, переводчик, художник
Мандельштам Н.Я. – жена поэта Мандельштама
Нечкина М.В. – историк, академик
Пешкова Е.П. – жена А.М. Горького, общественный деятель
Пешкова Н.А. (Гимоша) – невестка А.М. Горького, художник-любитель
Пугачева К.В. – актриса
Струве В.В. – востоковед, академик
Тихонов – Серебров А.Н.
Толстая Л.П. – жена А.Н. Толстого, общественный деятель
Цявловский М.А. – пушкинист, доктор филологии
Шишмарёва Т.В. – художница

В этом списке забыта почему-то Анна Андреевна Ахматова – центральная фигура конспектов. И забыт ещё Валентин Берестов, известный детский поэт, и актёр С.М. Михоэлс.

О Вячеславе Иванове (Коме) и Вале Берестове в Ташкенте Лиленька вспоминала очень часто и много мне о них рассказывала. В те далёкие военные годы они были юношами, старше Лиленьки всего на 2-3 года. В её письменном столе в нью-йоркской квартире я нашёл два письма Комы и тоненькую записную книжицу Вали. Одно письмо адресовано будущим академиком Лилиным родителям и помечено 24 сентября 1944 года. В нём четыре его, Комы, стихотворения. А второе, судя по тексту, адресовано Лиле. Даты на нём нет, но текст и приложение к письму поражают. Приведу выдержку (сохранена авторская пунктуация).

«Роман Бориса Леонидовича (Пастернака – В.С.) носит подзаголовок “Картины полувекового обихода”. Он должен состоять из двух книг, охватывающих всю первую половину нашего столетия. Пока написана первая книга, включающая описание революции 1905 года и мировой войны. Вторую книгу он пишет



сейчас. Манера, в которой он написан, весьма своеобразна – в нашей семье (*Всеволода Иванова. – В.С.*) никому, кроме меня, не понравился. Описываются разные люди – мальчики, потом вырастающие и принимающие участие в войне, рабочие – железнодорожники, девушка из бедной семьи, которую соблазняет богач – адвокат. Эти люди не связаны между собой никакими сюжетными линиями – и вообще в романе главное – не события, а впечатления и философские рассуждения героев. Есть некоторые описания природы и переживаний героев, по-моему, замечательные, хотя Люшеньке (*Люша – домашнее имя Елены Чуковской, дочери Л.К. Чуковской и внучки Корнея Чуковского. – В.С.*) они совсем не нравятся – она говорит, что роман малооригинален и неинтересен. Мы долго спорили по поводу романа – в пользу романа говорит уже то, что он даёт богатую почву для споров. Прилагаю один стишок – их пишет один из героев романа, и они будут приложены ко второй книге).

Две первые строчки этого стихотворения звучат так:

«В московские особняки

Врывается весна нахрапом».

Надо ли после них говорить, что в письме речь идёт о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»?

Письмо заканчивается словами: «Пиши! Как одесская жизнь? Приезжай! Мы по тебе скучаем и тоскуем. Целую! Кома». Так как упоминается одесская жизнь, то письмо было написано после возвращения Лилиной семьи в Одессу из эвакуации, то есть в 1944 году.

Любовь к поэзии проснулась в Лиленьке ещё в раннем детстве, и это чувство она пронесла через всю жизнь. В числе её любимых авторов был и Б. Пастернак. Его она видела и слышала, когда бывала в Переделкино в гостях в семье Всеволода Иванова. Стихи в «Докторе Живаго» её волновали особенно. Многие из них она читала наизусть.

Теперь что касается записной книжечки В. Берестова. На её обложке написана дата – 1943, а перед первым стихотворением – 1942. В ней мелким и ещё детским почерком записаны 15 стихотворений. Приведу из двух по четверостишию.

*«В моих стихах находят подражанье
Творениям поэтов дней былых.
Да, для меня их стройное звучанье
Дороже детских опытов моих».*

Замечу, ему было тогда 14 лет. А вот из другого:

*«Люблю вставать я утренней порою,
Прервавши снов запутанную нить,
И, окатясь холодною водою,
На раннюю прогулку выходить».*

Тема общения людей, нашедшая своё отражение в семейном архиве, меня продолжает занимать и, если угодно, даже вдохновлять. Вот почему я ей посвятил одно из своих стихотворений:

*Порою хочется познать
всех биографий закоулки
людей, кому пришлось бывать
в семейном нашем переулке.
О, как приятно подержать
альбомы старых фотографий
и писем ворох полистать,
ведь там – детали биографий.*

*Меня ж особенно влекут
руками писанные тексты.
Они картинно подают
творения богини Весты!*



*В них мысли, чувства, имена
людей возвышенных деяний,
чья жизнь была посвящена
развитию наук и знаний.*

*С тех пор прошло немного лет,
но имена их позабыты.
Как хочется сказать им в след:
«Пройдут года, все будут квиты.
Дела же ваши вдруг всплывут
то в одиночку, а то скопом.
Им применение найдут
и вас припомнят ненароком».*

«ОКОЁМ»

От редакции: В третий раз в рубрике «Окоём» наш журнал представляет поэтический конкурс «Пятая стихия» Международной литературной премии им. Игоря Царёва. В №1 за 2014 год мы, как соучредители премии, освещали итоги первого сезона «Пятой стихии» (2013-2014 гг.), в №4 за 2016 г. – итоги третьего сезона, а теперь мы рады познакомить читателя с победителями и финалистами четвёртого сезона конкурса: Гран-при – Ольга Флярковская, финалисты: Акимов Геннадий, Алисов Александр, Ника Батхен, Евгения Босина, Никита Брагин, Сергей Дьяков, Евгений Пваницкий Любовь Колесник, Сергей Кривонос, Владимир Литвишко, Олег Сешко, Виктор Скоробогат, Александр Соболев и Клавдия Смирягина. Редакция поздравляет победителей и благодарит организаторов конкурса и Ирину Царёву за подготовленный материал.

«ПЯТАЯ СТИХИЯ» ИГОРЯ ЦАРЁВА

11 ноября 2017 года для участников и гостей Церемонии вручения наград лауреатам Четвёртого литературного конкурса «Пятая стихия» распахнул свои двери бизнес-центр «Александр хаус» на Якиманке...

Сама идея учреждения ежегодной Международной литературной премии имени Игоря Царёва была предложена заслуженным работником культуры РФ, поэтом и общественным деятелем **Игорем Евгеньевичем Витюком** на Вечере памяти Игоря Царёва, организованной в мае 2013 года порталом «ИЗБА-Читальня» после трагического ухода поэта из жизни (4 апреля 2013 года).

С 11 ноября 2013 года в память о поэте Царёве, для сохранения и популяризации его литературного наследия была учреждена ежегодная Международная литературная премия его имени. В число учредителей Премии вошли: **Ирина Борисовна Царёва** – жена Игоря Царёва, член СП России, писатель; **Вадим Петрович Могила** – отец Игоря Царёва, профессор; **Марк Григорьевич Розовский** – драматург, режиссёр театра «У Никитских ворот»; **Людмила Николаевна Мережко** – заслуженный работник культуры РФ, директор Московского литфонда; Международный поэтический альманах **«45-я параллель»**; Международный литературный журнал **«Зарубежные задворки»** (Германия); проект **«Русское безрубежье»** (США); **Южнорусский Союз Писателей** (Украина); Литературно-общественное объединение **«ИЗБА-Читальня»**.

Пять лет существования Премии имени Игоря Царёва показали широкий интерес к её деятельности. За это время участниками поэтического и музыкального конкурсов стали более полутора тысяч авторов. География участников Международных литературных конкурсов Премии имени Игоря Царёва за четыре сезона их проведения включила в себя все регионы России и ещё 42 страны ближнего и дальнего зарубежья. Были открыты новые и подняты на достойную высоту малоизвестные имена талантливых поэтов и музыкантов.

Информационные партнеры «Пятой стихии» публикуют стихи участников конкурсов. Москвичам и авторам, прибывающим на Церемонию вручения наград из других городов и стран, предоставляются площадки для выступления. А завершаются ежегодные конкурсы изданием сборников стихов и музыкальных дисков лауреатов Премии.



В 2017 году был проведён четвёртый по счёту этап ежегодной Премии «Пятой стихии». В финал вышли 15 стихотворений. Рейтинг финалистов распределился в следующей последовательности: **Флярковская Ольга** (Москва), **Брагин Никита** (Москва), **Батхан Вероника** (псевдоним – Ника Батхен, Крым), **Акимов Геннадий** (Курск), **Колесник Любовь** (Тверь), **Скоробогат Виктор** (Москва), **Смирягина Клавдия** (Санкт-Петербург), **Кривонос Сергей** (Украина), **Сешко Олег** (Беларусь), **Босина Евгения** (Израиль), **Соболев Александр** (Ростов-на-Дону), **Литвишко Владимир** (Ессентуки), **Алисов Александр** (Москва), **Иваницкий Евгений** (Фрязино Московской области), **Дьяков Сергей** (Кемерово).

Конкурсная комиссия отметила высокий уровень всех представленных в финале работ независимо от распределения мест в рейтинговой таблице. Все присутствовавшие на Церемонии финалисты были награждены памятными медалями и книгами.

«Что касается общего уровня этого сезона, он был в высшей степени достойным», – отметил литературный обозреватель **Владимир Гутковский** (Киев).

Имя победителя **Ольги Флярковской** (Москва) было названо только 11 ноября на Церемонии вручения наград. Ей был вручен главный приз – «Большой Бронзовый колокол» и премия в размере 30 тысяч рублей. Своё ответное слово Ольга Флярковская завершила тем, что посвятила эту премию своей маленькой внучке, подарив ей половину премиальной суммы, а вторую половину суммы передала на развитие недавно созданного Литературно-музыкального клуба имени Игоря Царёва «Пятая стихия».

Победителем номинации «Музыкальные произведения» стал москвич **Владимир Поляков**. Ему был вручен «Бронзовый колокол» и премия в размере 10 тысяч рублей. Следуя примеру Флярковской, он отказался от денежной премии и передал её на издание сборника стихов Игоря Царёва.

Всем финалистам и, прежде всего, приехавшим на Церемонию из других городов и стран, была предоставлена площадка в литературном кафе «Лист» для чтения подборок своих стихов.

Церемония вручения наград лауреатам «Пятой стихии» 2017 года прошла в рамках Международной конференции «Поэзия Игоря Царёва в продвижении русского языка в ближнем и дальнем зарубежье». За круглым столом обсуждались вопросы продвижения лучших образцов русскоязычной поэзии, поддержка талантливых авторов, сохранение и популяризация их творческого наследия, выступали представители литературной общественности, бизнесмены, руководители структур гуманитарной направленности.

Большой интерес вызвал доклад приехавшей из Хабаровска **Елены Крадожен-Мазуровой**, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского и иностранных языков РАНХиГС, о работе по включению творчества Игоря Царёва в школьную программу. Она сообщила участникам конференции о полученной ею «Большой Золотой медали» на Международном конкурсе педагогических идей за подготовленную по этой теме программу обучения, которая уже начала реализовываться в школах Дальнего Востока. Также она рассказала о своей переписке с французским профессором Анатолием Ливри и о проведенном им в Университете Ниццы курсе лекций по современной русской поэзии, в который было включено творчество Игоря Царёва.

За большой вклад в выполнение уставных задач Международной литературной Премии Елене Крадожен-Мазуровой был вручен благодарственный диплом «Пятой стихии» и памятный именной приз от президента Евразийского Инвестиционного Союза **Сергея Викторовича Латышева**.

Основной вывод прошедшей конференции может быть озвучен таким образом: нашей общей задачей является не только сохранение русского языка, его мыслеобразующей роли и противостояние клиповому мышлению не только на примерах произведений золотого века нашей литературы, но и путём популяризации лучших произведений наших современников конца XX – начала XXI века.

В настоящее время проходит Пятый сезон Премии имени Игоря Царёва. Уже завершён первый тур... Имя победителя «Пятой стихии» 2018 года станет известно на Церемонии вручения наград, которая по традиции будет проведена в день рождения Игоря Царёва в ноябре 2018 года.

Фоторепортаж и видеозапись Церемонии вручения наград 2017 года смотрите по ссылке:

<http://igor-tsarev.ru/competitions/1448/>

ОЛЬГА ФЛЯРКОВСКАЯ

Москва

ЛЕТОМ 16-ГО

Зной отпылал, и так прозрачен
 Подсохший августовский сад.
 Виднее стали стены дачи,
 Окна решётчатый оклад,
 Качели с узкою дорожкой,
 Забор, смородины кусты,
 Державный взгляд соседской кошки
 С чердачной пыльной высоты,
 Мои зачитанные книги,
 Слегка продавленный диван...
 Все тектонические сдвиги,
 Экономический обман,
 Теракты, войны, гарь бомбёжки
 И чей-то пасмурный вердикт,
 Что ветер нынешней делёжки
 Раздует бурю впереди.
 Угрозы тайной постоянство
 В соседстве цифр календаря,
 Столетней распри окаянство
 Вокруг последнего царя.
 Виднее плод в утробе века –
 Иона в чреве у кита,
 Вся беззащитность человека,
 Всё одиночество Христа...
 Мои неловкие попытки
 Найти в душе покой, уют...
 Непрочные живые нитки,
 Которыми надежды шьют.
 Стеклярус призрачных иллюзий,
 Стаккато бусин дождевых...
 Весь этот летний *ол инклюзив* –
 Миф для сегодняшних живых.
 Кривые петли у калитки,
 Неровность плитки у крыльца,
 Немая музыка в избытке –
 Шкаф партитурный у отца...
 Неопенимость передышки,
 Блаженства летнего волна –
 Его недолгие излишки
 Уже освоены сполна.
 Ах, эта летняя приватность
 Простого дачного житья!..
 Неповторимость, невозвратность,
 Незащищённость бытия.



Алле Шараповой

Звезда моя цикорий¹ –
 Платочек голубой.
 Октябрь на Чёрном море.
 Приморский день рябой.
 Отброшена подушка,
 Исписана тетрадь.
 Остаток чая в кружке
 Нет силы допивать,
 Да голубь по перилам
 Гули-гули-гули...
 Да брызги, как бериллы,
 Да в море корабли.
 И синенький цветочек –
 Святая простота.
 И сызмальства у дочки
 Горчинка возле рта.
 Виной всему окраска
 Неяркого цветка,
 Да съёмная терраска,
 Да взрослая тоска.
 И год идёт за годом,
 И всё не рвётся нить,
 И чтобы быть с народом –
 Народом надо быть.
 И ночи на терраске,
 Где мухи и мячи,
 И верно для остратки
 Ночной гудок звучит.
 И синенький цикорий
 Подмешан в лунный свет.
 А море... море... море...
 Шумит – и горя нет.

¹ «Звезда моя цикорий» – слова из стихотворения А.В. Шараповой «Длинная командировка».

ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА¹

Они поднялись вожжой²,
 до здешних полей охочи,
 над первой седой межой,
 над Вьюлкой, Сестрой и Хотчей.
 Растягом в широкий клин,
 смешались с огромной стаей –
 аминь, журавли, аминь!
 Навеки ли мы расстались?..
 В холодный поток ветров
 влетая тела и клёкот,
 летят вожак на зов
 египетских роц далёких.

Летят... и разлуки грусть
оскоминой сводит сердце...
Родные, счастливый путь!
Глядеть бы, не наглядеться...

Зато как ударит рань
лучом по низине топкой,
как выпустит цвет герань
в горшке на оконной полке –
как – вздохом одним! – весна
попятит снега к оврагам –
чу, звуков дрожит волна,
чу, в небе гонцов ватага!
Живём, журавли, живём
и что-то на свете можем!
Пусть горло слезами жжёт
и бродит озноб по коже –
такая сквозь душу синь
капелью стекает в вечер...
Аминь, журавли, аминь!
И – талой воды – за встречу!

¹ В Талдомском районе находится заказник «Журавлиная Родина» – единственное место в центре Европейской России, где на осеннем перелёте собираются серые журавли, редчайшие птицы Подмосковья. Это имя дал краю М.М. Пришвин.

² Лететь вожжой (о журавлях) – лететь цепочкой (народное выражение).

СМОРОДИНКА

Когда приплющит непогодина
и ветры душу украдут,
заветной баночкой смородины
развею зимний уют.
Намажу с горкой ломтик хлебушка,
в метельный гляну окоём!
А помнишь, как-то парнем с девушкой
зашли в смородину вдвоём?..
Тутие чёрные жемчужины
(что сны июльские, сладки!)
не в чашки скатывались к суженым –
а мимо прыгали с руки.
Ах, время быстро с горки катится,
Декабрь клюкой колотит в дверь.
Где ты, в разводах синих, платице?
Где та смородинка теперь?

Где вчерашняя роскошь кичилась собою,
Преграждая сугробами к берегу путь,
Приглашают стволы подивиться резьбою,
И смолистою сыростью полнитесь грудь.
Над раздетой рекой к этим вербам и клёнам
Соскользнула по льдистому небу звезда,
И окрасилась даль еле видимым зелёным
В тех местах, где как будто застыли года.



Не прошу ни удачи, ни праздничной доли,
 Что начертано свыше – спокойно приму.
 Только сердце зажгу от вечерней юдоли,
 Только к дому дорогу найду своему.
 Протянулись по серому чёрные руки,
 От берёзы к берёзе меня повели.
 И скатился за шиворот холод разлуки,
 И затеплились окна – светильни земли...

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

*Если вы не можете заснуть,
 значит, кто-то видит вас во сне...
 Японская поговорка*

Не спится... опять не спится.
 Быть может, кому-то снюсь?..
 Советовали молиться.
 Я пробовала: молюсь.
 Прошу в тишине у Бога
 Моё изменить нутро,
 И ангела на дорогу,
 И воли творить добро,
 И мира на сердце...
 Боже,
 Пошли мне живые сны!
 О поле с густою рожью
 Под круглым зрачком луны,
 О лесе, стеною синей
 Закрывшем меня от зла,
 О милой моей России,
 Что духом и в тьме светла.
 О доме... родимом доме,
 О маме и об отце,
 О низеньком и укромном
 Вишнёвом моём крыльце...
 О всех, кто обижен мною,
 О всех, кто прощён давно...
 (Прощён ли, раз сердце ноет
 Не понятой мной виной?..)
 Во мгле хороводит ветер.
 Деревья во льду звенят.
 Особо молюсь о детях...
 Поймут ли меня, простят
 В тот день, как на зорьке ранней
 Кукушка сочтёт грехи,
 А в мире, как в тихом храме,
 Останутся жить стихи?..

ОТЧЕГО ТЫ ПЛАЧЕШЬ?

С.А. Золотцеву

Господи, помилуй и спаси
 Терпеливых жителей Руси!
 Тех, кто с детства ранен на века
 Тем, как в дымку прячется река,
 Как шагают аисты в росе,
 Как на землю льётся тихий свет.
 Сердцу свет откликнуться велит
 На вечерний колокол вдали,
 Где темнеют псковские леса,
 Где собор крылится в небеса,
 Где погоста замерли кресты,
 Где люпины дикие густы...
 Там чиста становится душа,
 Там покосы песнями шуршат.
 Всё в сравненье с этим – миражи!
 – Отчего же плачешь ты, скажи?..

ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК

Тверь

Я БУДУ СНОВА

Я буду снова. Как-нибудь потом.
 Я буду. Завтра или послезавтра,
 родившись снегом, деревом, котом,
 весенним ветром, заревом, базальтом –
 я буду, но ни слова не скажу,
 не напишу и буквы все забуду.
 Я семечко, летящее в межу,
 смиренно покорившееся чуду.
 Я то, что не записано в тетрадь,
 не издано, не проклято, не стерто.
 (Не существует – незачем стирать.)
 Я тонкая трепещущая хорда,
 протянутая с неба до земли, –
 я и была такой, но кто б заметил...
 Смотрите, в расцветающей дали
 я снова есть.
 Я облако.
 Я ветер.



ГЕННАДИЙ АКИМОВ

Курск

НАПЕВЫ ЛЯ МИНОР

Речь состоит из горечи и хрипа,
а пение – из громкой пустоты;
нам в клюве принесли немного гриппа,
тельца свернулись, жалобы просты.
Казалось, мы почти её достигли –
земли, где рай цветёт в урочный час,
но чудница в тени ветвистых библий
на подступах вылавливают нас,
как ребянтню, затеявшую прятки
в бедламе постоялого двора:
ку-ку мадам, у вас гнездо на шляпке,
там кто-то снёс три пушечных ядра,
а вы, месье, шутили столь неловко,
что пополам сломались на ходу...
«Бог справедлив, умна боеголовка» –
изрёк один учёный какаду.
Философы, художники, поэты,
ночной дудук скорбит, и потому
рисуйте нам красивые портреты
эпохи, захлебнувшейся в дыму,
скудельный мир – комок слюны и грязи,
где скорпионы выползли из нор,
где прочно сплетены арабской вязью
песчаные напевы ля минор.
Мы, сорок лет жующие в пустыне,
поющие в терновом словаре,
колючей безголосицей простыли
и до земли, и соль земли, и ре,
и реквиемы чёрных незнакомцев,
заполонив немеющий ландшафт
водою мёртвой взорванных колодцев,
угробят слух и зрения лишат.

ЕВГЕНИЯ БОСИНА

Нагария, Израиль

Когда придут большие холода,
А мы, конечно, будем не готовы,
Что нас спасёт от холода тогда?
Какое нас тогда согреет слово?

Когда метели выстудят наш дом,
Ничьим дыханьем больше не согретый,
На чей огонь во тьме мы побредём?
Кто нам с крыльца фонариком посветит?
Когда придёт Великая Зима,
Да так придёт, чтоб навсегда остаться,
Я разбираться буду с ней сама –
Не всё же ей со мною разбираться!
Накину плед, на пальцы подышу,
В который раз скажу себе: «Не бойся!»
И, если сил достанет, опишу
Великой стужи признаки и свойства,
Чтоб понял всяк, достигнутый Зимой,
Какое ей, Зиме, уютно слово,
Чтоб в холода идущий вслед за мной
Не так страшился холода большого.
Но кто же тот, кто в сумерках густых
Встречает – на крыльце ли, у колодца?
Не знаю... Разглядеть его черты
Мне из-за слёз никак не удаётся.

СЕРГЕЙ КРИВОНОС

Сватово Луганской области

Васильковое поле. Тропинка. И ветер шершавый.
Паутинка сединки тревожно дрожит на виске.
И ползёт муравей по своей муравьиной державе,
А потом по моей утомленной работой руке.

Отчего ж ты, храбрец-муравей, так беспечно рискуешь,
Вот укусишь меня, и прихлопну тебя сгоряча.
И никто не заметит такую потерю простую,
Нам ли, людям большим, меньших муравьев замечать?

Вот укусишь, и сразу окончится век твой недолгий.
Страшный зверь – человек, но тебе, видно, страх не знаком,
И толкает вперед вечный зов муравьиного долга,
Без которого не был бы ты никогда муравьём.

Люди тоже чуть-чуть муравьи на огромной планете –
Мы вгрызаемся в мир, в суете бесконечной живём.
Посреди васильков, посреди скоротечного лета,
Понимаешь, что жизнь – изначальное счастье твоё.

Вот пополз и второй муравей, презирая опасность,
По уставшей руке. И подумалось грустно сейчас,
Что среди муравьев есть какое-то крепкое братство,
Но не встретишь подобного братства, увы, среди нас.



Каждый сам по себе посредине занудного быта,
Каждый сам по себе, оттого и на сердце тоска.
Есть среди муравьев единящие накрепко нити,
Ну, а нам единящие нити – веками искать.

Поле. Небо. Заря. Запах скошенных трав освежает.
Золотится простор. Снова щёлкнул вдали соловей.
И ползёт муравей по своей муравьиной державе,
И не знает, что он – лишь частичка державы моей.

ОЛЕГ СЕШКО

Витебск

ЛЁТЧИЦА

Тесно собаке в комнате, в старом промозглом хосписе.
Голуби в лунном омуте песни поют о космосе,
Мухи влезают в форточку: «Хай» тебе от поклонников!»
Ангелы чешут мордочки, сидя на подоконниках.
Смотрит на всех растеряно, зависть во взгляде вышита.
Кажется – не растение, а не взлетишь повыше-то!
В ухе свербит высотами, хочется в небо коршуном.
Пчёлкой жужжать над сотами тоже ей не положено.
«Кто он великий выдумщик, «Главный над эскадрильями?»
В хоспис его бы вытащить, вдруг нарисует крылья мне.
Боль заберёт нечаянно (счастье когда-то было ведь).
Ноги вернёт хозяину, дело за малым – выловить!
Значит, прорваться к выходу, лапы в пути изнашивать.
Ангелы с жиру пыхают, вот бы хлебнули с нашего –
Толстыми стали, ленными! Эх, проморгали прошлое...
Нынче-то здесь, за стенами, служба им стоит дешёво.
Чёрт с вами, спите, толстые. Вам не поднять хозяина.
Помню, бежала вёрстами, в небо смеялась, лаяла...
Таял хозяин куполом, белой снежинкой ласковой;
В зиму летели кубарем, резали снег салазками,
Падали в реку буйную, шторм побеждали аховый,
Пели под шестиструнную, чай разбавляя сахаром.
Ангелам было весело, резвыми были, жаркими.
Двадцать второго вечером в пух разодрались ангелы,
Сгнули той же полночью. Не было двое суток их.
Скоро пять лет исполнится случаю с парашютами...
Спят, не летают год уже. Крылья примерить хочется.
В самую пору, то-то же! Станет собака лётчицей.
Тсс, погодите, что-то здесь... что-то не очень правильно...
Спите, не будьте жмотами. Ноги бы для хозяина».
Над перелеском, хатами, над одинокой хижиной
Выла стихи хвостатая, верная, тёмно-рыжая,
Жалась к больному, гордому, греда крылами пыльными.
Сказку слагал за городом «Главный над эскадрильями».

СЕРГЕЙ ДЪЯКОВ

Кемерово

ВСЕ ЧАЩЕ НЕ МОЛЮСЬ, А ВОРОЖУ

Из всех искусств я выберу одно –
Скрестив уток тоскливости весенней
С основой чувств и самоосмыслений, –
Словами ткать ночное полотно.
В котором зримо:
Почек скорлупа
В сплошной тиши расщёлкнется сверчками
И разожмутся листья кулачками
В густой воде,
Где плавают крупа
Икринок млечных, квантовых мальков.
И телескопы вертят звездоловы
В своих руках
В предчувствии улова.
И шевелятся перья облаков.
Заря царапнет матовый винил.
Обмажет ранку ранняя зелёнка
И, в воду кашнув,
Вытянется плёнкой
И разрастётся в загородный ил
На мачтах веток, днищах земляных,
В полях озимых, в трюмах парниковых.
И пенье рыб
Проникнет в сон суровый
И расцветёт в наличниках резных...
Когда тепло достигнет глубины,
То расцветёт над ней кристальный лотос.
И белый свет
На многослойный Логос
В нём распадется –
Станут дни длинны.
И сплетены опять в узле одном.
В быту сермяжном, в облачном эфире,
В полуденном или подлунном мире,
Который смотан звёздным полотном...

НИКА БАТХЕН

Феодосия

МИНУТА

Прячутся мальчики в старых книгах, в тусклых открытках «Восьмого ма...»
 В пультках свинцовых, монетках, нитках. Как незаметно пришла зима!
 Тащится туша пешком по лужам, палка о камни – скирлы-скирлы.
 Ужин не нужен, и дом не нужен, разве в кровати считать углы,
 Прятаться куклой под одеялом, гладить обои, скрести узор.
 Стал отработанным матерьялом, шлаком, отходом, позор, позор!
 Буки крадутся к забытой зыбке, серые волки падут на грудь.
 Мальчик, ты слышишь? Играй на скрипке, выйди из тени, останься, будь!
 Ты, шестилетний, с песком в кармане, видишь, твой мячик упал в Неву.
 Ежели Таня тебя поманит – прячься от Тани, сиди во рву.
 Вот тебе корка и сахар сладкий. Вот от отца полтора письма.
 Вот от бабули чулок с заплаткой. Мама исчезла восьмого ма...
 Ты уцелеешь. Забудешь голод. Вырастешь сильный и молодой.
 Чуешь – в тебя прорастает город, серым гранитом, густой водой.
 Скрипка останется в бывшей детской. Крошится жёлтая канифоль.
 Мальчик, уже никуда не деться – только по нотам, на страх и боль.
 Только минута и я не стану. Ты, шестилетний, живи пока –
 Струнным квартетом, зерном каштана.
 Камешком
 В клапане
 Рюкзака...

КЛАВДИЯ СМИРЯГИНА

Санкт-Петербург

О ВОДЕ

Когда покорно стонут провода
 в объятиях метели сизокрылой,
 молчит и крепнет стывшая вода,
 которая про речь и бег забыла.
 Довольно бы ладонного тепла,
 набухшей пухом почки краснотала –
 и вспомнится, как пела и плыла,
 зачем на эту землю с неба пала.
 Слоится блинной стопкой за окном
 густой желток февральского заката.
 Спит под стрехой капели метроном.
 А поздний вечер входит виновато,
 и ты опять растапливаешь печь,
 чей жар отогревал нас не однажды.
 А марту – быть, и талой влаге – течь,
 пока хоть в ком-то сохранилась жажда.

ВЛАДИМИР ЛИТВИШКО

Ессентуки

МОЖЕТ, ВСТРЕТЯТСЯ ГРИБЫ ПОУТРУ...

Опрокинулся небесный чертог. Над водой едва видны берега.
 Плещут волны о подгнивший порог. Чешут лося о деревья рога.
 Стылым камням холода нишчём. Не страшны им ни туман, ни мороз.
 Коль запасся к этим дням первачом, то не вешай в огорчении нос.
 Здесь до гор, как говорится – рукой! Хоть топи, хоть не топи, всё – в сквозняк.
 Дождь прошёл. Царит в округе покой. Даже лай не долетит от собак.
 Летом, в лодке порыбачить бы смог – жаль, нахохлившись застыла, мокра.
 Надоевший интернет, словно смог, – сброшен осенью в мои вечера.
 Чай согрел из подвернувшихся трав. Покурил на склоне дня табачок.
 Прав был в жизни, или в чём-то не прав? Ни к чему перебирать. Всё, молчок!
 Кот, свернувшись, спит – и морду прикрыл. Мышковать, видать, устал по ночам.
 Не поев, прилёт у печки, без сил. Только уши по привычке торчат.
 На заброшенном посту мы одни. Никого сюда «взашей» не пригнать.
 Уплывают односторонние дни. Им вослед течёт с небес благодать.
 Ни уехать, ни уйти никуда. Поезда и самолёт не про нас.
 Ломит зубы ледяная вода. Дарит музыку в приёмнике джаз.
 Стены елей, поздней ряски панно, для медведя приготовлен жакан.
 То грустишь, то беспричинно смешно. Чуть мерцает позабытый экран.
 Так и тянется заброшено год. Незатейливую цедишь игру.
 Может, смена через месяц, придёт... Может, встретятся грибы поутру...

НИКИТА БРАГИН

Москва

РОЖДЁННЫЙ ДВАЖДЫ

Всё время слышу, как вокруг твердят,
 что плохо всё, что жизнь не удалась,
 и некто, полувьбрит и поддат,
 клянёт погоду, родственников, власть, –
 всё, что припомнит, разве только Бога
 не упомянет (он же атеист!),
 и всё никак не вырулит к итогу,
 зануден, пустословен, голосист...
 Угадываю жадное желание
 иметь в запасе жизнь, а лучше две,
 прожить одну, а дальше – знать заранее
 все прикупы (и джокер в рукаве!).
 Желанье знать таблицу лотереи,
 листы вакансий, ценовой разброс,
 исчислить всё и разрешить скорее
 квартирный или половой вопрос.



Но, выслушав, я снова промолчу,
и свой секрет, как робкую свечу
ладонями от сквозняка закрою.
Не по плечу мне, да и не хочу
в распивочной разыгрывать героя.
Ты знаешь, я живу не в первый раз,
я мог бы целый год плести рассказ
о людях, знаменитых и не очень,
о городах, державах и эпохах,
включая всё, что льётся между строчек,
все капли, растворенные в потоках
прожитой жизни. Тот бесценный опыт,
казалось мне, способен уберечь
мои пути, дела и даже речь
от всех невзгод, пожаров и потопов...
Но отчего же, помня каждый шаг,
я повторяю прежние ошибки,
шагаю неуверенно и зыбко,
смотрю не там, и делаю не так?
Я вновь теряю дорогих друзей,
и в горькой ссоре расстаюсь с родными,
и, словно варвар, заплутавший в Риме,
иду в Макдоналдс, миновав музей...
Ступаю на знакомую тропинку,
и через миг – в неведомом краю...
Произнощу молитву без запинки,
а после – продаю и предаю...

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

Ростов-на-Дону

«Если не будете, как дети...»

Забыл о тусклых, его – запомнил.
Он был недлинный.
...Как будто – день, и на ум пришло мне
идти долиной.
По палой хвое, по мягким тропам,
не знавшим пала,
и по полянам с густым сиропом
нога ступала.
Мело пыльной над лесной округой,
беспечной силой
сияло небо и по заслугам
наградой было.
Горбатый корень, валежник влажный,
резные лозы –
всё отзывалось на эту жажду
мгновенной грёзой,

то муравьями, то муравую
 ступней касалось,
 плелось желанием и мечтою...
 Опять казалось,
 что спелым будущим день наполнен,
 как рот – малиной,
 и жизни полдень! Чуть-чуть за полдень
 перевалило,
 где сытно пахнет с корзинкой в рифму
 грибной мицелий,
 кораблик солнца минует рифы,
 чудесно целый,
 струится, светится напоследок
 спиральным светом,
 и хмель по вантам то так – то эдак,
 то там – то этам...
 Одушевлённый и каждой частью
 во мне продлённый,
 он знал, как лёгок, красив и счастлив
 полёт подёнки,
 он был любовным напитком лета
 и аналоем,
 он звал ребёнка, он ждал привета,
 он пах смолою,
 корой сосновой оттенка чая,
 лесным левкоем...
 Он жил единым своим звучаньем,
 своим покоем.
 Недолгий, он дорогого стоил.
 На белом свете
 мы были – целым, нас было – двое,
 и с нами – Третий.

ЕВГЕНИЙ ИВАНИЦКИЙ

Фрязино Московской области

ПОПЫТКА ОГЛЯНУТЬСЯ

Колеблется пламя, дрожит, угасая,
 Свеча затухает... Займётся ль другая?
 И что же запомнилось, что же осталось?
 Был шарик воздушный, надежда и жалость,
 Мишень паутины и тонкие струны
 Над пентаграммами пыльных петуний,
 Июнь первых ягод и дачного чая,
 Июнь, что сломался, как ветка сухая...
 Шатается память, ведь ей не по силам
 Обратный отсчёт, возвращенье к могилам,
 Тот запах лекарств и молчанье кукушек,
 Кардиограмма словых верхушек.



Слоняется память в толкучке больницы,
 Она не забыла угрюмые лица.
 Не тешься надеждой, не жалуйся другу:
 Несчастье – кругами, несчастье – по кругу...
 Так дайте мне время! Забуду о яме.
 Трава эту глину скрепляет корнями,
 Скрепляет – не может. Стою в чистом поле
 С душою озябшей, а глина глаголет...
 Но были не только несчастья, больница.
 Я видел другие, счастливые лица,
 Улыбку мальчишки на площади скучной,
 Взлетающий в небо шарик воздушный.
 Был в храме гудящем огонь нисходящий,
 Огонь нисходящий над жизнью пропащей.
 Дыхание Бога, дыханье любимой,
 Движение жизни неизъяснимой...

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ (ДЖОУ)

Москва

ПОЭТ ВНЕ ВРЕМЕНИ ЖИВЁТ...

Поэт вне времени живёт,
 Вне липкой темени.
 Поэта время жёстко бьёт
 Клюкой по темени.
 Наука эта тяжела,
 Не всякий выстоит,
 И он уйдёт, не помня зла,
 Тропой росистою.
 Ведь суть поэта ина –
 Дитя беспечное,
 С ним речь в ночи ведут луна
 И небо вечное.
 Он горстью пьёт из родника,
 Что за деревнею,
 И были слышит сквозь века,
 Напевы древние.
 По сердцу жить, не по уму,
 В тиши, в прорухе ли,
 И горше горького ему
 Слеза старухина,
 И нищета родной земли,
 И запустение,
 И храм всё видится вдали –
 Маяк спасения...

И не дано ему узнать
 Душою чуткой,
 Кому Господь дозволил стать
 Своего дудкой.

ВИКТОР СКОРОБОГАТ

Москва

ГУЛЛИВЕРЫ

Да поможет нам бог
в одиночку тащить корабли
по колена в воде,
без любви,
без надежды
и веры...
если мы до сих пор
удержать их канаты смогли –
это значит, что мы,
слава богу,
ещё гулливеры.
И куда б ни забросил
с тобою нас Джонатан Свифт,
и куда б он ни вёл,
наши судьбы вконец перепутав –
у него во дворце
постоянно курсирует лифт
из страны великанов
и до страны лилипутов...
Не читая роман,
мы попали с тобой в переплёт,
и казалось бы – чушь,
но закручен сюжет не на шутку –
мы с тобой гулливеры,
и кто же теперь нас поймёт:
я влюблён в великаншу,
а ты полюбил лилипутку!
И похоже, никак –
ни тебе и ни мне –
никому,
в вековую нетленку
вот так без согласия канув,
нам с тобой не обняться
в масштабе один к одному:
ты – в стране лилипутов,
а я – я в стране великанов...
Посему да поможет
Господь нам тащить корабли,
в одиночку тащить, без любви,
без надежды и веры...
Если мы до сих пор
удержать их канаты смогли –
это значит, что мы,
слава богу,
ещё гулливеры!

«СЕТЧАТКА»

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

В ЛАБОРАТОРИИ СВОБОДНОГО СЛОВА
(полемиические наброски и введение в новую дискуссию)

«...во всём мире (но не в России!) под понятием поэзия подразумевается именно верлибр. Это и есть поэзия»

Юрий Милорава, «О верлибре»¹

Настало ли в России время верлибра как философского взгляда на поэтику?.. Или это время уже прошло?.. Или упущено?.. Но к слову Время так и прилипают Вредность и Враньё (факт современной науки – мозг врёт сам себе в своих воспоминаниях), а к слову Вера примыкают Версификация и Верлибр... Верим ли мы в верлибр, в его свободу Логоса – ложную или истинную?.. Или хотя бы в то, что в обмене рифмами споров – ассонансными и диссонансными – полузапретными и окказиональными – выстроим хоть какую-то башенку-маяк, на который можно было бы ориентироваться будущим «лоцманам»?..

Время, Вера и Верлибр – одни из главных «корневых» рифм XX века. Аналогично – либертариански – Джаз и Жизнь – одна из главных диссонансных рифм XX века (ср. «All That Jazz» / «Вся Эта Суета»).

1

За 45 лет активных споров о «верлибре/свободном стихе» (в среде русских литераторов и примкнувших к ним филологов²) в понимании этого направления, этого феномена литературы произошло то, что мне хочется определить как «расшатывание жанра», вплоть до парадоксального «расслоения» верлибра и свободного стиха, – как можно было бы сказать, «злые языки развели»... Словосочетание «свободный стих» в русском языке для русского стихотворца как-то зазвучало, зазвенело, сладостно затрезвонило оттенками звуков и обертонов: от пафосно-колокольного до оксюморонного. Магическое слово «Свобода!..» – вот что слышали и продолжают слышать (только это) многие стихотворцы, они же участники разных групп, составители сборников и даже «антологий свободного стиха», то есть, Боже упаси, «не верлибра». Да-да, само собой разумеется, эти стихотворцы догадываются, что полной свободы нет ни в чём, что есть всего лишь свобода (воля!) накладывать те или иные ограничения (ср. «Свобода ограничения»³). Но даже если иметь в виду свободу именно такого «выбора» («...без выбора»), то тем более обнаруживаешь «шпатания», потому что каждый норовит выбрать исключительно «свои» ограничения, в спорах «вокруг да около» ревниво и до хрипоты отстаивая «правильность» этих ограничений и даже их обязательность для всех.

И вот такие разношёрстные ограничения смешиваются с противоположной тенденцией – с «разрешениями», иногда разовыми, окказиональными, а там недалеко и до тенденций... И упорядочить всё это в отдельной голове отдельно взятого стихотворца не представляется возможным... Если проиллюстрировать ситуацию простой аналогией, то такие «шпатания» и в стилистическом, и в стиховедческом, и в эстетическом планах подобны известной фразе из комедии «Джентльмены удачи»: «туда не ходи, сюда ходи, а то снег башка попадёт – совсем мёртвый будешь!». Аналогичные по смыслу фразы – с благород-

ной целью предупредить неправильный шаг – выкрикивает чуть ли не каждый стихотворец, да ещё и на свой лад. Кино да и только.

Ох уж «это сладкое слово – свобода»! История восприятия стихотворцами сладкой парочки «верлибр/ свободный стих» уже перешла «точку невозврата», когда стала даже заметна обратная тенденция: анархическое понимание сочетания «свободный стих» стало ассоциативно проецироваться и на само слово «верлибр»: «...верлибр?.. ах, ну да, это же и есть тот самый свободный стих, в котором разрешено всё!.. (а в голове домысливается) ... в том числе и ямб, и хорей, и рифма не помешает...». И уже мало кто помнит, что философия верлибра основана именно на противопоставлении себя укоренившемуся повсеместно тоническому стиху, в основном – на отказе от ограничений(!), связанных с основами силлабо-тонического стихосложения.

Феномен-оксюморон ещё и в том, что сочетание «свободный стих» во многих головах перестало быть (а в иных – никогда и не было) стиховедческим термином!.. Зачем лезть в словари и справочники, да и есть ли вообще там что-то интересное?.. тем более, там столько разночтений!.. – а тут так просто, понятно, приятно само по себе, без всяких пояснений, без всякой учёности – «свободный стих!» Что ещё нужно? Какие разъяснения?!

По всем этим причинам я уже давно избегаю не только говорить о «верлибре/свободном стихе», но даже самих этих слов стараюсь избегать, поскольку в головах литераторов (и не только их) «штатания» продолжают – аж до хрипоты почти пустых споров!.. Почему-таки «почти»?.. Хотя бы потому, что для меня эти споры – текстопорождающие, а такое «провоцирование» важно для любого автора.

Ну да, согласен, здесь и у меня противоречие: если «избегаю», то почему всё-таки говорю о них?.. Но, во-первых, «избегать» – не значить «избечь» вовсе, очень стараюсь, и лет 30 получалось... Во-вторых, «избегавшись», устаёшь, да и надо предлагать что-то другое, например, «интегральный стих» (мой термин), то есть «объединяющий», «объединительный», вбирающий в себя одновременно многие формальные и жанровые «оттенки», и об этом речь пойдёт ниже... Ну а в-третьих, книжки и книги с (под)заголовками «верлибрь» всё выходят и выходят, и с этим как-то «приходится работать»... И (не?) «мириться»... И вот одна из таких книг послужила решающим толчком к написанию всех этих заметок да и метафорой вошла в общее название...

2

«Верлибров лаборатория»⁴ – так названа небольшая, но в целом необычная, оригинальная книга сочинского поэта Александра Вепрёва; и встретил я эту книжку, как и положено, по обложке. В центре неё, в круге – портрет автора в пляжно-кичевой манере, зародившейся ещё на заре фотографии, когда портретируемый становится с обратной стороны фанерного фона и продевает голову в соответствующее овальное отверстие... Фон здесь – одежда джигита, причём довольно условная. Вместе с намеренно-наглаватой ухмылочкой автора всё это смотрится весьма иронично. В связи с костюмом и комедийным оттенком ситуации вспоминается Юрий Никулин в «Кавказской пленнице», особенно в сцене, где он говорит: «Бамбарбия!.. Киргуду!..».

Что ждёшь от книжки с такой обложкой? Вот этих самых «бамбарбий»: иронических и сатирических стихов, пародий, фельетонного духа!.. Цвета обложки (включая фото самого автора), построенные на чередовании красного и чёрного, с вкраплением жёлтого, – в определённой мере поддерживают псевдо-воинственное ироническое настроение. А тут вдруг – внизу под фамилией автора белым цветом набрано – «Верлибров лаборатория!» Сама по себе достаточно серьёзная заявка!.. О названии – отдельный разговор, но тут же возникает вопрос: может ли верлибр быть сатирическим, фельетонным?..

Обозначение книжной серии вверху обложки лишь дополняет общую оксюморонность – серия «Авангранды», то есть «гранды авангарда» – это в переводе с контаминационного на обычный язык (название серии придумал В.М. Климов, как видим из информации в выходных данных на с. 3). Вепрёв тут же как бы «вступает в диалог» с Климовым, предлагая в подзаголовке книги на той же странице свою остроумную контаминацию, которая подчёркивает сходство фамилии автора и формы, с которой он работает, – «вепрлибрь»!.. То есть это, видимо, некие «особые» верлибры, трактуемые автором по-своему... Что ж, это выяснится, когда перейдём собственно к текстам книги...

А пока мы видим на обложке даже не две противоположности, не два условных полюса, а целых три: авангард, верлибр (трактуемый иногда как «авангард», чего только на свете не бывает!), а между ними – автор, представивший себя визуально в несерьёзном виде... Вот и хочется, открыв книгу, поскорее по-



смотреть, как это может сочетаться между собой... Но если «поскорее», то и получится поверхностный взгляд, а разобраться в хитросплетениях такой авторской «лаборатории» было бы любопытно, поскольку этим словом автор даёт намёк на экспериментальность своих опытов, такая «заявка» служит в итоге и отчасти оправданием обложки, да и неким «мостиком», ведущим к элементам авангардности, тем более, что термин «авангардизм» достаточно неустойчив и «размыт» многочисленными определениями и пониманиями... Но, конечно, общую направленность, в связи со знаменитым на весь мир русским художественным авангардом 20-х годов XX века, каждый автор и каждый исследователь, несомненно, должен чувствовать всем «нутром» своим...

«Верлибров лаборатория» – такая инверсия, весьма удачная, выводя «верлибр» на первый план, интонационно возвышает название, рождая в такой метафоре с родительным падежом заявку на классичность и преемственность – ср., например, известную «жизни мышью беготню» у А.С. Пушкина. Однако тут и авангардисту-звукописцу есть что послушать-посмотреть: оба слова вепрёвского заголовка чрезвычайно подходят друг другу по звукобуквенному составу, по аллитерации: в каждом слове по одной «л» и «б», по две «р»... «...либро... / лабор...», тут слышится и «...оратор...». Анаграмматика, игра букв, вхождение в буквологическую лабораторию. Название звучное, которое должно привлечь читателя, причём, сразу какого-то «контаминационного»: и почитателя верлибра, и любителя эксперимента... Но оформление сводит на нет усилия звучного заголовка, затерявшегося в «подвале» обложки... Конечно, в нынешних издательских реалиях малотиражности это не так сильно влияет на «массовое сознание» и легко устранимо в переиздании.

Однако именно в названии – очень удачном по тексту как таковому, то есть вне контекста, – можно и нужно найти самодостаточное сочетание в духе минимализма и концептуальности. Вспомним лингвософское определение поэзии от самого поэта – от Федерико Гарсиа Лорки: «Что такое поэзия? А вот что: союз двух слов, о которых никто не подозревал, что они могут соединиться и что, соединившись, они будут выражать новую тайну всякий раз, как их произнесут». Вспомним и Марину Цветаеву: «А что есть чтение – как не разгадывание, извлечение тайного...». Что до «тайны», то, конечно, у Вепрёва контекст «Верлибров лаборатория» не столь пафосный, как у Лорки, однако достаточно того, что многое из «тайного» в процессе «лабораторной» работы становится «явным». Впрочем, аналогичная «лабораторная» работа, но аналитического свойства, производится здесь и мною тоже. Тем более, что в толковых словарях лаборатория – это место, согласно словарю С. Ожегова, «где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы».

Итак, полувековое «расшатывание» русского верлибра естественным образом приводит к заявке эксперимента над ним. «Верлибров лаборатория» имеет следующую расшифровку после двоеточия: «Верлибры в верлибрах, веприбры, афористические верлибры». По этим и другим поджанровым авторским определениям даются в книге соответствующие пояснения в примечаниях на сс. 3, 20, 36, 41, 44. Таким образом, автором создаётся особая система, в которую встраиваются по тем или иным признакам многочисленные верлибры, по сути – циклы стихов.

3

Проще начать с тех сочинений, где в их частях (строфах) фиксировано число строк. Показателен в этом отношении «Верлибр в шести верлибрах» под названием «Нарисовать этот мир» (с.18-19). На 3-й странице, в аналогичном случае с «пятью верлибрами», читаем в сноске: «*Верлибр в пяти верлибрах* (Верлибр в верлибрах, частичный верлибр) – (прим. автора) верлибр, состоящий из нескольких верлибров, частей, объединённых общей темой, единым замыслом, поэтическим настроением. Также любой из верлибров *Верлибра в верлибрах* может существовать отдельно». То, что все части многочастного сочинения должны быть объединены «общей темой, единым замыслом» и т.п., мы все знаем, но «верлибр в верлибрах» – всё-таки интересная авторская находка, отсылающая не только к таким концепциям, как венок сонетов, но и к философской концепции холизма, которая говорит о том, что целое представляет собой нечто большее, чем простая сумма частей, из которого это целое состоит. Это «организм», в состав которого должны «органично» встраиваться все системы, его составляющие, и не только просто встраиваться, но и работать на общее целое, на общую цель...

Каждая часть «Верлибра в шести верлибрах» представляет собой 3-стишие, то есть возникает регулярная строфика, не поощряющаяся собственно в верлибре, но стремиться закавычивать слово «верлибр» не будем, просто будем считать, что это определение от автора стихов. Вкупе с созерцательно-философской

интонацией текстов, цикл «Нарисовать этот мир» заставляет вспомнить 3-стишные хайку (хокку), в том числе циклы из хайку. Вспомним, кстати, что древние японцы часто именно «рисовали этот мир» и на рисунках иероглифами писали стихи... Но какая тут у Александра Вепрёва «лаборатория»? И в чём эксперимент?.. Первое 3-стишие гласит:

*Лист оторвался от ветки и улетел в небо,
но не оторвать его от этого мира,
как не оторвать волну от спокойного моря.*

Эксперимент, видимо, в том, что верлибр, оформившийся и набравший текстовой объём в XX веке и на Западе, «обращается» здесь – тематически, стилистически, интонационно – к давно минувшим векам и на Восток... Уверен, что каждую строку из этого 3-стишия и всё 3-стишие в целом, благодаря (или вопреки) его относительно подробному образному «наполнению», можно было бы, практически без ущемления интонации и мысли, «оформить» как компактное хайку, переведя, допустим, на тот же японский...

Понятно и естественно, что хайку, развиваясь на почве русского языка и традиций русской поэзии, приобрело вместе со своей нарастающей популярностью черты отдельного форможанра, однако, на мой взгляд, верлибр и хайку (а в его лице – и многие другие квази-японские формы на русском, включая силлабические варианты) – родственные жанры именно по части запретов или, мягче говоря, по части свободы выбора ограничений, а именно: и в верлибре, и в хайку не приветствуются рифмы, акцентированные созвучия, повторы метра, ограничиваются параллельные синтаксические конструкции, повторы слов... Более того, есть тенденции к умеренности и даже аскетичности по части явных тропов и фигур речи.

И вот наблюдаем параллелизмы в приводимом выше 3-стишии Вепрёва: «оторвался... от... / оторвать... от... / оторвать... от...» – все 3 слова, все 3 конструкции акцентированы – поставлены строго друг под другом во всех (!) 3-х строках; к тому же, слова, завершающие 2-ю и 3-ю строки – диссонансные рифмы «мира / моря», усиленные совпадающими аффиксами предыдущих слов («этого / спокойного»), то есть, формально говоря, две трети строк зарифмованы, что в верлибре не приветствуется. Более того, повтор слов и соответствующей конструкции распространён не на часть верлибра (что можно было бы как-то обосновать даже с точки зрения верлибра), а именно на весь верлибр (из трёх строк). К тому же, заметны регулярные интонационные цезуры в серединах всех трёх строк: соответственно, после слов «ветки...», «его...» и «волну...». А именно НЕрегулярность, НЕцикличность тех или иных элементов композиции на всех её уровнях – от фонемно-морфемной до метро-ритмической – это основа верлибра как такового, основа философии его формы.

По поводу акцентированных повторов слов в верлибре выскажу, видимо, непопулярную и радикальную точку зрения, но попытаюсь доказать свой тезис на простой аналогии. Очевидно, что рифма, которая не входит в обязательный набор инструментов верлибра, представляет собой повтор звуков. Философски и образно говоря, верлибр принципиально отказывается от «поводыря-рифмы» в поэтическом поиске. Известно, что есть рифмы с большим или меньшим совпадением звуков и/или звукобукв, а наиболее полный повтор звуков достигается в омонимических и тавтологических рифмах. Последние представляют собой просто повтор слова, словоформы, её звукового состава. Но если в верлибре не приветствуется рифма (в виде повтора звукобуквенного состава – вплоть до повтора всего слова), то почему должны приветствоваться повторы других слов?.. Не вижу логики и последовательности... А если приплюсовать сюда так называемые «внутренние» рифмы в серединах строк, то аналогия становится более очевидной...

Понятно, что такая постановка вопроса вступает в противоречие с одной из самых главных функций поэзии – функцией повтора, восходящей, в конце концов, к магической функции – как поэзии, так и собственно языка. Но верлибр (в лице своих истинных «рыцарей», конечно) противопоставляет себя и этому тоже. Огрубляя и упрощая мысль: философия верлибра – такого, каким он видится его «рыцарю», – призывает преодолеть давление «звука» и найти новую поэтику на просторах смыслов, без звуковых и подобных им «игр», не впадая, разумеется, и в другую крайность – невнятность, неудобочитаемость, неестественность речи (если, конечно, не иметь в виду специальное стремление к этому, которое должно тоже «читаться», например, в том же авангарде)...

И в финале этих локальных рассуждений мы логично приходим к пафосу Шиллеро-Бетховенской 9-й симфонии: «Обнимитесь, миллионы (поэтов), слейтесь в радости одной...», – радости от ощущения простоты поэтического перевода с верлибра на верлибр, с языка на язык. В таком пафосе верлибр возвышается до «чистой» поэзии – вне языков – этих рутинных «инструментов» познания и описания



поэтических ощущений человека... В части подобных случаев текст без ущерба для его содержания можно визуализировать, в конце концов, заменить на универсальный рисунок, даже на пиктограмму или композицию из пиктограмм... И тут возникает «смычка» с визуальной поэзией и тем же «авангардом» – на новой «спирали» развития...

Однако пора «спуститься на землю» и вернуться к «лабораторным опытам» Александра Вепрёва. И так, приходим к выводу, что первый из «Верлибров в шести верлибрах» цикла «Нарисовать этот мир», увы, не «нарисовался» как собственно верлибр. Да, слово «...лаборатория» в названии даёт автору определённое «оправдание» в подобных экспериментах, но следует ли называть экспериментом явное приближение верлибра практически к его противоположности – тоническому стиху?.. И это главная причина невозможности восприятия данного трёхстишия и всего цикла как «верлибра». Тем более, что автор в остальных трёхстишиях соблюдает как единство интонации, так и сопоставимые «длины» строк, а в целом весь вышеозначенный анализ может быть отнесён и к последнему трёхстишию цикла:

*II не оторвать мой взгляд от этого неба,
как не оторвать волну от спокойного моря
и увядший лист от этого мира...*

Здесь элементы комбинаторики («тасования» строк, их вариаций – по сравнению с начальным «верлибром») придают не столько «авангардность», сколько именно завершенность, «арочность» общей композиции, усиливая созерцательные мотивы пейзажной лирики, характерные, опять-таки, для хайку. Круг (цикл) замкнулся.

Если же рассматривать этот 6-частный цикл не столько «по форме», сколько «по содержанию», то академичность (читай – НЕэкспериментальность) одного невозможно оспорить: поэтика выдержана в духе старой доброй пейзажной лирики, вполне качественной, с завершающим 1-й «верлибр» сравнительным оборотом, настраивающим читателя на философский лад, а потом, в последнем трёхстишии цикла, точным повтором строки (и интонации), возвращающего читателя в начало...

Александр Вепрёв (Сочи)

Верлибр в шести верлибрах

*I
Лист оторвался от ветки и улетел в небо,
но не оторвать его от этого мира,
как не оторвать волну от спокойного моря...*

*II
Я хотел бы продлить свою жизнь,
которую ещё не прожил и пока не понял,
как будто можно понять и прожить то, что хочешь...*

*III
Знаю, что можно жизнь рисовать стихами
на бумаге ли, на холсте ли, на судьбе ли – не важно!
Знаю, но для чего мне это знание?*

*IV
Вряд ли жизнь заключается в вечных страданиях,
которые рисуют на холсте ли, на небе ли,
на судьбе ли... Или на море.*

*V
Потому ли я не знаю всей этой мирской правды,
всей тайны мирской, лишь оттого, что знаю,
что могу нарисовать этот мир лишь на бумаге.*

VI

*И не оторвать мой взгляд от этого неба,
как не оторвать волну от спокойного моря
и увядший лист от этого мира...*

Другой цикл из трёхстиший А.Вепрёва «Гостеприимство трёх строк» (с. 44) с подзаголовком «Четырёх-главый верлибр» пусть представит следующий характерный текст:

*Зло начинается с Добра.
Зло начинается с Жалости.
Зло начинается после Зла*

Повторы слов здесь переходят в общее единоначалие, что вкупе с тоническим характером стиха ещё дальше отдаляет этот текст от верлибра, нежели тексты цикла «Нарисовать этот мир». Парадоксальность, спорность и безапелляционность интонации лишь усиливают такое впечатление.

4

Здесь полезно будет немного отклониться и вспомнить, как Владимир Маяковский уже в первых своих опубликованных стихах стал делить какую-либо строку четверостишия на две и более строки (знаменитая «лесенка» появилась позже, речь не о ней). Даже если такое несложное «дробление» строки делал не сам поэт, а, допустим, его редактор, суть моей теоретической мысли не меняется ни в этом примере, ни во всех аналогичных других. Вот наиболее показательный опыт – одно из четверостиший стихотворения Маяковского «А всё-таки» (1914 год):

*Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожёванный крик.*

Конечно, можно рассматривать первую строку как 2-стопный амфибрахий, а вторую – как 3-стопный хорей, но нужно ли это делать в данном случае, когда очевидно прежде всего по звучанию, что это 4-иктовый акцентный стих?.. Вот и в верлибре подобный «уклон» в излишний «визуальный» формализм, на мой взгляд, лишь вредит восприятию теоретика и – особенно – критика, потому что визуальность – всего лишь одна из двух главных составляющих в восприятии верлибра, и довольно часто при «проверке на слух» так называемый верлибр становится дневниковой зарисовкой, афоризмом, прозаической миниатюрой и т.п.

Тут ещё важен другой аспект. Мы часто забываем, что в дописьменную эру поэзия рождалась и очень долго жила как устный «продукт» деятельности. Понятно, что вся современная поэзия – это во многом, что называется, «поэзия для глаза», а всеобщая грамотность и интернет только усиливают такую характеристику... Однако при чтении автором своего текста (что происходит, допустим, на литературных вечерах) выявляются многие нюансы авторских «намерений» и их «воплощений», в том числе, возможно, и многие деления на строки (если они вообще «слышатся»). В итоге (как бы) один и тот же текст может представлять собой два достаточно контрастных между собой текста, это уже два РАЗНЫХ сочинения (или варианта) – устный и письменный... И если учесть, что письмо – это «всего лишь» условная запись речи, то приходим к выводу, что наиболее естественным существованием как верлибра, так и поэзии в целом, является именно устная «жизнь» художественного текста. Особенно она естественна и правдива в те минуты, когда сам автор читает своё сочинение.

К тому же известно, что слушание авторского чтения, без возможности параллельно смотреть в напечатанный текст, – это прекрасная тренировка литературного слуха и вкуса, в том числе – жанрового. Так вот, на одном из недавних фестивалей верлибра некоторые хорошие прозаики фактически просто читали свои небольшие рассказы. А как уж там тексты этих рассказов были распределены по строкам, абсолютно не меняло их прозаической сути, аналогично тому, как распределение одной строки в приводимом выше четверостишии Маяковского не меняет сути его акцентного стиха и не делает этот стих ни хореем, ни амфибрахием!

Если всё-таки мои аргументы не убеждают, то готов предложить другой вариант: аналогично «удетерону» (иначе говоря, «ни то, ни другое», – давний термин Владимира Бурича применительно к одностопишию), попробовать подобрать особый термин к таким «ни тем, ни другим» «верлибрам», визуально – стихам, а на слух – практически не имеющим стиховой просодии.

Как писал поэт и филолог Сергей Бирюков, «...каждый новый термин (или его переосмысление) – это ещё одна гипотеза, ещё один шаг в постижении правил той затейной человеку игры, которая зовётся искусством».⁵

Поскольку мы с Александром Вепрёвым оказались коллегами по части словотворчества в области авторской терминологии, то предложу (или переосмыслю) один из своих давних терминов – *прозолибр*⁶. Термин, конечно, экспериментальный, тоже «лабораторный», связанный с категориями качества, субъективности, с неформальной оценкой содержания, с эстетикой «над» метроритмичкой, но всё-таки с элементами формализма: например, преобладанием либо отсутствием нарратива, наличием тропов и фигур речи, их количеством, насколько соответствуют они критериям поэтики и т.п. Так вот, цикл Александра Вепрёва «Мой взгляд не сгибается в локте» я отношу к прозолибру: если убрать всю «разбивку» на строки, то получится лирико-ироническая малая проза, конгениальная верлибру, из которого она была получена путём нашего эксперимента. Обобщённо говоря, если после подобного мысленного преобразования какого-то отдельно взятого верлибра вы приходите к подобным выводам (допустим, о той же малой прозе), то этот отдельно взятый верлибр относится к прозолибру (подвиду верлибра). «После процедур и лекарств я снова иду на работу по набережной мимо коротких юбок, а то и вообще мимо “купальников” на каблучках: цок-цок-цок... И мои глаза снова и снова, со страстью какого-нибудь капитана Флинта, глядят туда, даже несмотря на то, что мой взгляд не сгибается в локте, куда смотреть в моём возрасте просто необходимо и полезно для здоровья...» (А. Вепрёв).

И, соответственно, если в декларированном автором верлибре (при метроритмическом соответствии оному) ярко выражены элементы поэтики, то такой верлибр следовало бы назвать поэзолибром, то есть самым что ни на есть «настоящим» верлибром, конечно, в понимании того, кто утверждает, что «данный текст – поэзолибр»; тем более, что само слово «верлибр» претерпело некоторую «инфляцию» от частого употребления в разного рода контекстах и с разными коннотациями.

Итак, верлибр – это, в целом, переходная форма между стихом и прозой (поэзией и прозой?). Верлибр делится на прозолибр и поэзолибр. Согласно своим «именам», прозолибр тяготеет к прозе, поэзолибр – к поэзии. По количеству опубликованных текстов прозолибр явно преобладает над поэзолибром.

Каким бы острым слухом ни обладал слушатель, он не сможет при обычном устном прочтении слышать оригинальное «единоначалие» трёх частей в цикле А. Вепрёва «Мой взгляд не сгибается в локте» (с. 36-37 книги⁴). Каждая часть цикла, сама по себе состоящая из 15-20 длинных строк, начинается, тем не менее, одной очень короткой строкой из одного 2-сложного слова, и это слово «работает» почти как заголовок части.

I

Если

в салоне красоты или парикмахерской не тонируют,

я иду дальше, как прежде седым и стареющим

(...)

II

Если

начинают болеть печень или желудок,

щемит сердце или хромать нога, болеть поясница

(...)

III

После

*процедур и лекарств я снова иду на работу
по набережной мимо коротких юбок, а то и вообще
(...)*

При общем взгляде на этот 3-частный цикл заметна оригинальная по концепции диссонансная метарифма «если / после», несущая яркую композиционную функцию. Но, увы, это совершенно противоречит философии верлибра – такие композиционные приёмы в нём недопустимы.

Итак, с диссонансной рифмы «Если.../После...» начинается своеобразное «единоначалие» частей. А следствие замеченного факта диссонанса в сочетании I/II и III частей – это констатация тавтологической рифмы в первых строках I/II частей.

В первых же строках заметна рифма «...ТониРуЮТ, / ...сТаРеЮщим» (созвучные звукобуквы выделены крупно). Замечаем и более далёкое (по расположению), но уже созвучие с ассонансовым преобладанием «ЕСЛИ... / ...СтарЕющИм».

7

Что же делать с этими постоянно «выползающими» рифмами и созвучиями в верлибре или «верлибре»?.. Я предлагаю оставить в покое слово «верлибр» и на основе полиметрии и полиразмерности осознать другую – более обобщённую – форму, и раз уж она органически подвержена рифмовке, то и не препятствовать ей, не «надрыватьсья», а обозначить то свойство современной поэзии, которое делает её более пластичной, более универсальной, не подвластной мелкой дифференциации... Свойство это – Интегральность!

Да, «эпитет» *интегральный* уже применяется к йоге, психологии, феминизму и даже к политике... Но всё это, во-первых, не настолько известно для устойчивых аллюзий, а во-вторых, достаточно далеко от поэзии как таковой, тем более, с её перманентными формальными поисками. Близок к философии интегрального стиха «гетероморфный стих» Ю.Б. Орлицкого⁷, но этот термин тяжеловат фонически, да и не претендует интегральный стих вторгаться в страну стиха гетероморфного, особенно туда, где тот властвует коллажами (или «мозаиками») из силлаботоники...

В наиболее общем и кратком определении: интегральный стих – это стиль стихосложения, основанный на отказе от строгой цикличности на всех уровнях стиха и на объединении (интеграции) в одну форму нескольких техник и стратегий, без особого преобладания какой-то из них в конкретном сочинении (по формуле: не коллаж, но синтез).

А далее (предвижу) – пусть идиостиль каждого автора подсказывает и автору, и критику, в чём особенность «интегрального стиха (такого-то) поэта...», то есть предполагается, что приверженность Интегралу сохраняет (и охраняет) индивидуальность личности и её свободы, новую «дифференциацию». В такой постановке вопроса интегральный стих – это новый «оселок»: если личный стиль сохранён и даже «узнаваем», то этот путь только на пользу, если нет, то автору нужно искать другие пути... Если автор ищущий, конечно.

Тут будет кстати вспомнить, что классик теории и практики верлибра Владимир Бурич тоже призывал отказаться от термина «верлибр», но несколько по другим причинам... Ну и, конечно, причинам, очень далёким от тех, по которым отказываются от «верлибра» сектанты «свободного стиХА» (см. начало этих заметок).

Форма, которую я называю интегральным стихом, по факту не нова. Она пунктирно и эпизодически проходит по временам и авторам... Конечно, правильнее было бы обратиться к современной поэзии, которая ещё не застыла и живёт вместе с её авторами рядом с нами.

Лилия Газизова (Казань)

*Говоришь, не отпустишь меня.
Прельщаешь жизнью заморской.
А я смотрю в окно*



И вглядываюсь в манекены
 В магазине напротив.
 Они одеты в синие пальто
 И улыбаются неведомо кому.

Говоришь, без меня – никак.
 А я зршу по твоему умершему коту.
 Ты больше не произнесёшь:
 «Живу один с двумя котами
 На берегу...»
 И я преисполнена к тебе
 Жалости и нежности

Говоришь... Говори...
 Я заметила,
 Сумерки в России
 Самые безысходные.
 Но и они когда-нибудь
 Заканчиваются.

2017

(Фейсбук, авторская лента)

Кто-то назовёт эту форму «верлибром с окказиональными рифмами», но сколько их, этих рифм, будет достаточно для такой «окказиональности»? При котором их количестве окказиональность исчезает?.. Или – напротив – превращается в... превращается в... Некоторые в своих поисках дошли уже до оксюморона «рифмованный верлибр», но это же явное противоречие в терминах, и тут лучше Ю.М. Лотмана и А.М. Пятигорского не скажешь: это как «ложный текст – такое же противоречие в терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста»⁸. Так что нет смысла разрушать форму верлибра, надо оставить его адептам его. Но, спасая некую «репутацию» верлибра, не надевать на него тулупчики разного рода эпитетов, а обозначать, не упоминая верлибра всуе (ах, уже упомянул!), иные техники и стратегии, одной из которых может стать интегральный стих.

И если рассматривать стихотворение Лилии Газизовой с позиций интегрального стиха, но никаких претензий и уточнений уже приводить не надо. Отметим в первой же строфе разного рода рифмы от неочевидных и даже изысканных «МЕНя/МаНЕкЕНы» и «зАмОРской/нАпРОтив» до псевдобанального ассонанса «окнО/пальтО», подкреплённого чуть ниже другой подобной парой «котУ/на береГУ». А в предпоследней строке замечаем даже палиндромно-анаграмматический «фразеологизм» – «но и они...». В этом же широком диапазоне рифм на достаточно узком пространстве «работает» и компактная рифма-метаграмма «кому/коту».

Близкая по этой же буквологической комбинаторной структуре рифма-логогриф «шприц/шпиц» в начале соседних строк у Татьяны Бонч-Осмоловской поддерживается (подготавливается) – в том числе и в звуковом плане – анафорической парой на концах предыдущих строк (шерсть/шеллак). И первая строка стихотворения в своём «подсознании» говорит и об этом тоже, а именно – о выборе формы и форм, а также о степени их смешения или «замеса».

Татьяна Бонч-Осмоловская (Сидней)

если могу выбирать
 дай боже моя страшный из дней
 сверкающий позолотой
 суши бар
 асбестовый радужный рай

пузырьки караоке
 черпахи пустые глаза
 кроликов шерсть
 под чёрным шеллаком
 шприц лёгкий коктейль
 шниц на руках
 мамочка дорогая
 отведи меня в праздник
 покажи мне кино
 согласно купленному билету
 задраены локти приказ отдан
 выброшены ключи
 всё уже включено
 три д четыре пять д шесть д подсчитай
 объёмный звук на миру
 под заезженный видео ряд
 на экране летают бабочки лёгкий хлопок
 вспыхивает целлюло...
 сожжённым от дыма горлаом
 бьётся в нерушимую твердь
 вопит рвётся наружу жаром своих костей
 мамочка дорогая сердце твоё горячо
 как огонь притяжение твоё сильнее
 людской воли беги от любви твоей
 догонишь обнимешь сожмёшь
 карусель вертится
 пристёгнут ремень не сойдёшь
 растворишь орн на горке вниз верх
 прими в ладони души сгоревших
 детей и зверей гадов героев всех
 прижимай к алым губам
 к алым твоим слезам к алой крови
 кипящей во всепобеждающей плазме
 всепоглощающей неразличающей
 абсолютной твоей любви
 пепел стучится в сердце лёгкие кашляют ложь
 где ненависть где любовь где вечная смерть
 где краткая жизнь
 в чаду
 не разберёшь

2018

(Фейсбук, авторская лента)

В интегральном стихе могут сочетаться и варьироваться сами методы предъявления информации (здесь можно воспользоваться теорией Г.В. Лазутиной): больше констатации у Лилии Газизовой / больше реконструктивного описания у Татьяны Бонч-Осмоловской, однако лирико-философское завершение обоих стихотворений взаимно «мета-рифмуются» и... интегрируются в современный дискурс (к вопросу об интеграции «чистой» поэтики и публицистики в стихе).

Отличие от более созерцательной – хайкообразной – интонации Газизовой (интонацией описания), у Бонч-Осмоловской «тремучая смесь» эмоций, смыслов, пульса стихотворения сочетается с активными поисками «смесей» в формально-конструктивной сфере...

Комплекс четырёх радостных позитивных слов «РАДУЖНЫЙ РАЙ ПУЗЫРЬКИ КАРАОКЕ» опоясывают два холодных слова «АСБЕСТВЫЙ» и «ПУСТЫЕ», и эти два слова читатель (а тем более слушатель) не сразу и



распознает. Вот они – признаки интегральности – рифмические «качели» между близостью и дальностью, внутренностью и внешностью, концентрацией и «разбивкой», точностью и приблизительностью и т.д.

Инверсивный порядок слов в сочетаниях «черепахи глаза» и «кроликов шерсть» тут же сменяются на прямой порядок в следующих двух строках. Те же «качели»...

Явная рифма в соседних строках (сильней/твоей), полностью совпадающих по ритму, чередуется с нерифмованными и ритмически контрастными строками выше и ниже, и потом снова: сожмётся/сойдётся, верх/всех. И чуть дальше внутририфменная пара «героев/крови» уже ассоциативно смыкается со словом «любви», лишь по касательной, мягко напоминая пресловутую «кровь/любовь». Именно к концу стихотворения понимаешь снова истину, что все маленькие формальные «интегральчики» восходят к Интегралу, вбирающему в себя и сердце, и любовь, и жизнь, и смерть...

8

Свобода как осознанная необходимость... баланса... Не исключительно «то» или «то», но «и то, и то», и не просто «и нашим, и вашим», но с попыткой извлечения на этом «стыке» нового качества – качества интегральности – объёмов и пространств форм, смыслов, звучаний... «три д четыре пять д шесть д подсчитай»...

Конечно, многие такие тонкости возникают у авторов неосознанно, та же Татьяна Бонч-Осмоловская как-то признавалась, что она (пересказываю по-своему) «переключает» некий «гумблер» между сочинением («я поэт») и формальным анализом («я стиховед»).

Как видим из сравнения стихотворений Лианы Газизовой и Татьяны Бонч-Осмоловской, интегральность стиха не обязана быть тотальной. Тем более, что некоторые элементы в принципе «интегралу» неподвластны, они входят в некоторое противоречие с теми эстетическими традициями, которые в некоторых случаях ещё не настолько «распатаны» экспериментами в «лабораториях». Это касается, например, пунктуации, которой нет как в приведённом примере у Татьяны Бонч-Осмоловской, так и ниже у Валерия Земских, сохраняющего прописные буквы в началах строк, как это было принято в XIX веке, что вступает в оксюморонное сочетание с нестандартным строфическим подходом, при этом варьирование трёх таких разных строф позволяет говорить о строфическом элементе интегральности.

Валерий Земских (Санкт-Петербург)

*Сегодня у меня
 День пуст
 И я смотрю
 На суету
 Чужих
 Не добавляя
 Своей
 А мог бы
 Вступить на скользкую тропу
 Переустройства мира
 Но нет*

*Пусть всё идёт как будто
 Меня не существует
 Это близко к правде
 Хоть правды нет
 Есть пустота и воля*

*Того
 Кто кажется нам раздвоенный язык*

2018
 (Фейсбук, авторская лента)

Валерий Земских избирает здесь более короткую строку, которая может быть и псевдо-короткой, ибо ходит, допустим, полустипишем «в гости» к соседней строке: «И я смотрю На суету». Этот 4-стопный ямб подкрепляется чуть ниже в строках «Вступить на скользкую тропу / Переустройства мира». Смена длины строки сочетается со сменой интонации на иронически-пафосную, затем следует жёсткий обрыв: «Но нет». В подобных чередованиях и контрастах и есть элемент интегральности.

Возможно, автор и не планировал рифмовку, но её интегральные (колеблющиеся) элементы замечаются – ассонанс, диссонанс, разноударная рифма (ТрОпУ / бУдАГО / правде(?), существуЕТ / нЕТ).

В следующей строфе (впрочем, как и во всём стихотворении) мог бы быть чистый 3-стопный ямб (да простит автор пару моих слов в скобках): «Пусть всё идёт как будто / Меня не существует / (И) Это близко к правде / Хоть правды (вовсе) нет / Есть пустота и воля». В данном случае лишь два этих слова отделяют ямб от интегрального стиха, но насколько меняется интонация!.. Понятно, что в последних словах строфы аллюзии и на «покой и волю» от А.С. Пушкина, и на «Пустоту» от В. Пелевина, приводящие к развитию и завершению комплексного образа в завершающей строке стихотворения – интегральные ассоциации – проза-поэтические, разно-временные...

Далее – для контраста – мне хотелось бы привести совсем другую современную интонацию - мета-стиля размышлений о классической строфике и силлаботонике – в форме интегрального стиха – с обычными и анафорическими рифмами, с игрой смыслов и звуков, с метафоризацией терминов, впрочем, как и полагается автору – философу, филологу, поэту...

Константин Кедров (Москва)

ДЗЕН-НАЕЗДНИЦА

Ямбообразная Дзен-наездница

Октавия

я умоляю тебя

будь на октаву выше

голоса

голос –

это изнанка пороха

выворачивание

взрыв

поделил

друг на друга

поровну

пол-полуметровых

пол-полуживых

Господи

это молитва пороха

2 X 2 = 3

Дзен-наездница

Внутри голоса

Вну-три-три

Внутри три

3 внутри

А вот яркий пример стихотворения, под или над которым можно поставить или заострить риторический вопрос: «Если уже и это не интегральный стих, то что это тогда?»



Анатолий Кудрявицкий (Дублин)

ТРЕЩИНА В СТЕНЕ

Кону Махсуэллу

*сквозь неё –
в комнату – ветры Атлантики
жёлтые летние дожди
наружу – семейный уют
телевизионный туман*

*песчинки времени
мелькают чёрными стрижами
перед глазами
можно потерять себя в пространстве
даже само пространство*

*когда ты в пустоте бетонного куба
кто ты и откуда
и куда
и сколько ещё вопросов
без вопросовответов*

*не говоря уж о том
что твой дом –
надтреснутый дом*

(журнал «Дети Ра», № 6 (152), 2017)

Единственное, что оттеняет здесь интегральность, – это 5-стишия как таковые, в которых однако я не нашёл никакой объединяющей закономерности, никакой цикличности (кроме количества строк числом 5), и этим констатировал интегральность. Интересна мини-тенденция формального «отстрочия» – по аналогии с «отзвучием» – в строках, где рифмы «стрижами/глазами» и «куба/откуда», с разработкой – «и куда». Свободное дыхание интонации стиха, свободное чередование длинных и коротких строк, рифм, нерифм, тавторифм завершается каким-то далёким во времени итало-английским сонетным формальным «отзвуком»... Та же интегральность во времени...

9

Так что «сколько ещё вопросов» может быть? Ну вот разве что такой. Как определить формально следующий текст?

*...моя вефа в мир
была восстановлена,
мне уже больше не удалось
избавиться от ощущения,
что эта «жизнь» –
лишь некий фрагмент бытия,
специально для меня
определённый в трёхмерной,
словно наспех сколоченный ящик,
вселенной.*

Почему бы не состояться такой «разбивке» на стихи фрагмента книги Карла Густава Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления» (1961), в переводе В. Поликарпова (Минск, ООО «Харвест», 2003)². Традиция «found poetry» («найденной поэзии») позволяет извлечь интегральные стихи из любой книги, остальное – дело такта, вкуса, эстетики... Но главное, что подобное сочетание приёмов – весьма продуктивное и выгодное свойство интегрального стиха, позволяющее говорить о его «всепроникновенности», о его тотальности... Ну на то он и есть Интеграл.

Дополню это стихотворение Юнга другим фрагментом из той же книги, который расширяет смыслы вышесказанного Юнгом, но который, на мой скромный вкус, можно и нужно оставить в прозе: «Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной и всё происходящее в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве человеческой души». Хотя... в последних 8 слогах слышится явный 4-стопный хорей... Однако это ещё не повод, не правда ли?..

И вряд ли является поводом именно для интегрального стиха примерно такое же, но интонационно более очевидное преобразование А. Квятковским в своём «Поэтическом словаре» текста М. Лермонтова «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..» в стихотворные строки так называемого «метрического верлибра». Скорее следует обратиться к единственному в своём роде и более раннему по времени русскому тексту, никак не предназначенному не то что для стихотворения, но и для специального художественного высказывания, однако по факту полностью соответствующему и такому высказыванию, и... интегральному стиху! Тем более, что это изначально устный текст, которым... преподобный Серафим Саровский обращался к каждому:

*Радость моя,
молю тебя,
стяжи дух мирен,
и тогда вокруг тебя
спасутся тысячи...*

Надо ли анализировать этот текст, интегральный по форме, выстраданный и намоленный соборованием всех встретившихся преподобному Серафиму людей?..

10

Поэт Анатолий Афанасьев (Курск)⁹, которому я посвятил несколько своих осознанно интегральных стихотворений, нашёл ещё такой дополнительный нюанс в теории интегральности стиха: «Множество маленьких дисгармоний на протяжении стихотворного текста могут образовать гармонию к концу стихотворения» (из наших бесед, октябрь 2017 года). Да, вот из таких парадоксов тоже состоит интегральный стих. И, как говорилось в комедии А. Гайдая: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет». Нам часто мешают назвать верлибр верлибром, например, те же рифмы... Вот и выдумываются термины типа «верлибр с окказиональной рифмой». Возможно, и «интегральный стих» как термин помешает кому-то... Однако мне он только помогает в определении стихотворений с комплексным и свободным (то есть – не строго циклическим) применением любых формальных и смысловых «красок» и их сочетаний.

Другой курский автор – писатель и журналист Олег Качмарский прислал мне трёхчастное сочинение на стыке рецензии и эссе под названием «Интегральный Бубнов» и после расспросов признался, что определяет свою форму как «интегральное эссе»! То есть терминологическое «завоевание» Интегралом литературных и журналистских сфер происходит с разных сторон и независимо друг от друга. Возможно, это и есть, по А.С. Пушкину, «...и случай – Бог-изобретатель» (читай – Интеграл). И тут же – по принципам интегрального стиха, да и журналистики тоже – выслушаем и другую сторону – сторону... жителей Лузитании!

*Наш бог – Лебедь,
Кумир – интеграл.
Рамки жизни сузим,
Так приказал нам
Наш командор Лузин.*



Это подражание акцентному стиху Владимира Маяковского – фрагмент путочного «Гимна Лузитании», сочинённого участниками математической школы Н.Н. Лузина (1920-1930 гг., СССР; см. также «Интеграл Римана» и «Интеграл Лебега» – математические понятия). Игра заключается ещё и в том, что Лузитания – древнеримская провинция, а «Лузитания» – это британский трансатлантический пассажирский корабль, затонувший в мае 1915 года... А по поводу Маяковского... перечитайте его раннее «Утро» (1912) – не в нём ли зарождалось, но так и не была реализована «интегральность»?..

Акцентный стих, да и тонический стих вообще, впрочем, как и верлибр, интонационно близки интегральному стиху, и это очень любопытно в том плане, что первые два обычно строго рифмованы и очень заразительны для подражания (в русской поэзии достаточно вспомнить только два имени – В. Маяковский и И. Бродский). А вот избежать этой подражательной «попсы» как раз поможет интегральный стих, который не снисходит до автора в готовом шаблоне, но приглашает автора, надеюсь, к новым поискам, экспериментам, нестандартным ходам, возвышениям...

Как и у всякого, тем более, впервые описываемого явления, у интегрального стиха есть как достоинства, так и недостатки. Интегральные стихи практически лишены стабильной песенной плавности в её традиционном понимании, то есть, допустим, сочинять романсы на такие стихи довольно сложно, непривычно, неудобно. (Так они и не для того созданы, ведь так?) Другой недостаток связан со сложностью запоминания наизусть. Актёру, наверное, несложно было бы запомнить такого рода текст, однако самому автору чаще приходится читать по бумажке... Поэтому и детская литература останется, увы, где-то на периферии интегрального стиха... А может, и не «увь»... Не для этого он. Возможно, к интегральному стиху и подбираться надо постепенно, взрослея и собирая (интегрируя!) опыт, экспериментируя в лабораториях литературы и жизни...

В своей объединяющей задаче интегральный стих восходит к общефилософским вечным вопросам, один из которых можно сформулировать так: «Куда идти в своих исканиях современному автору, который находится под колоссальной нагрузкой предшествующих текстов?». И вот я представляю одну из VERSий ответа, избирая интегральный стих в качестве своей личной стратегии и предлагая его вам – просто для информации или для прямого использования в ваших личных «лабораториях».

Александр В. Бубнов (Курск / Москва)

ЭХ-МА!..

*нет сил
на силлаботонику,
носить её сети,
носиться с ней –
ведь она иногда бывает только
насилем
над эмоцией вольной
разговорной
просторной речи...*

*вспомним, как
на цирковых артистов
метафорически давно уже смотрят
ищущие литераторы
в этом смысле –*

*на эквилибристов,
на пресловутом узком канатике
находящихся гордо,
находившихся,
уставших от приседаний
и разного рода увёрток,*

чтобы с ритма
 не свалиться...
 а ещё напридумают
 всяких терминов
 в оправдание,
 измеря нервно
 стопы-ступни свои,
 любуясь собой,
 своєю поступью
 в зеркалах –
 в этих холодных отблесках
 стиха
 эха...

эх-ма!..
 маму надо бы вспомнить,
 маму
 всей сегодняшней поэтической речи,
 маму
 всех сравнений,
 саму по себе несравненную,
 свободно и жадно смотрящую,
 говорящую,
 не говорливую,
 красиво и ново о многом кричащую,
 причём
 всё замечающую,
 сравнивающую
 всё
 со
 всем...

Итак, интегральный стих объединяет (чередует, с разной степенью успеха/неуспеха) общую регулярность/нерегулярность компонентов форм (цикличность/нецикличность), длинные и короткие строки, звукопись/пренебрежение звуком, разную степень метризации/ритмизации, рифмы/безрифмие, акцент на тропах и фигурах речи/игнорирование оных, буквологику и комбинаторику/пренебрежение оными, нарратив/бессюжетность, при общем допуске интонационных «колебаний», лишь бы всё это было органично в контексте целей и задач данного текста. Степень баланса между компонентами форм, как и весь вышеперечисленный «набор» автор может использовать вполне интуитивно – ведь много примеров, когда природный дар позволяет поэту точно соблюдать форму, при неумении ориентироваться даже в классических стихотворных размерах (хотя их изучение входит в школьную программу). Перефразируя Булата Окуджаву, «вы пишите, вы пишите, вам зачтётся...», а уж «удалось/не удалось» – это предоставим критикам, филологам, философам...

Одна из философских проблем современной филологии, на мой взгляд, состоит в смягчении диссонанса непонимания между литератором и филологом, вплоть до отдельно взятой головы того, кто «ходит» и в литераторах, и в филологах. Я знаю тех из них (кто и там, и там, да и себя тоже), кто периодически вольно или невольно переключает какой-то «клапан» у себя, какую-то «задвижку» и прекрасно пребывает то в роли литератора, то в роли филолога... Ну и на здоровье! Лишь бы такая двойная жизнь (глав и голов) не превратилась в джекило-хайдковский режим!.. Но если вовсе не будет доброжелательного «движения» литератора и филолога друг к другу в поиске взаимопонимания, в осознании общих целей, то проблемы останутся, и всё чаще будет «невозможно найти удалённую страницу»... В частности, ещё В.П. Григорьев на одной из страниц своего известного труда «Поэтика слова» почти 40 лет назад призывал



к «смягчению педантизма»¹⁰ со стороны учёных, то есть, как я понимаю, к лучшему чувствованию чисто поэтических задач стихотворца – будь то следование академическим формам или бдение над опытами в «лабораториях». Удалось ли мне хоть в малой мере следовать завету уважаемого филолога-классика, судить вам, уважаемый читатель.

Примечания:

¹ Милорава Ю. О верлибре // Поэтоград. 2017. №1 (258).

² Бурич В. Отчего свободен свободный стих // Вопросы литературы. 1972. №2. С. 132-146.

³ Свобода ограничения: Антология современных текстов, основанных на жёстких формальных ограничениях / Сост. Т. Бонч-Осмоловская, В. Кислов; вступ. ст. Т. Бонч-Осмоловской. М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 216 с.

⁴ Вепрёв А.И. Верлибров лаборатория: Верлибры в верлибрах, вепрлибры, афористические верлибры. М.: Издательство Евгения Степанова, 2017.

⁵ Бирюков С. [реп.] Бубнов А.В. Типология палиндрома // Новое литературное обозрение. 1996. №19. С. 396.

⁶ Бубнов А. АХБАХАБХА: Прозолибр, или Свободные литерософические тезисы // Журнал ПОэтов: Альманах. Москва: Учебное пособие Академии Поэтов и Философов Университета Натальи Нестеровой, 2005. №7 (19). С. 16-17.

⁷ Орлицкий Ю. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // Новое литературное обозрение. 2005. № 73.

⁸ Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функция // III Летняя школа по вторичным моделирующим системам: Тезисы. Кязрику, 10-20 мая 1968 / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту: ТГУ, 1968. С. 78.

⁹ Возглавляет с 2005 года «Школу-студию стиха» при Курской областной библиотеке им. Н.Н. Асеева. В эту студию приносили первые свои поэтические опыты и осваивали азы поэтического мастерства многие из известных ныне авторов.

¹⁰ Григорьев В.П. Поэтика слова. На материале русской советской поэзии. М.: Наука, 1979 г. С. 291.

«ШШКАФ»

ЛЕВ АННИНСКИЙ

О КНИГЕ ЛЬВА ПОРТНОГО «ГРАФ РОСТОПЧИН»

(Лев Портной. Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы. – М., Бослен, 2017. – 432 с.)

Граф Федор Васильевич Ростопчин (1765-1826) – фигура, в русской истории нового времени настолько известная – значительная, противоречивая, а временами и загадочная, – что странно отсутствие его жизнеописаний в отечественной беллетристике.

Теперь такое жизнеописание есть.

Жизнь Ростопчина изучил и рассказал Лев Портной, известный автор приключенческих версий Наполеоновского нашествия.

Когда его книга о Ростопчине будет издана (а я уверен, что она должна быть издана), мы получим чтение увлекательное и полезное, и событие в нашей исторической публицистике неординарное.

Загадки биографии своего героя Лев Портной разгадывает – с самой первой. С фамилии.

Ростопчин – теперешнее ухо цепляет какой-то неумёмной расхристанностью. Поиски виновного в пожаре Москвы 1812 года запросто венчаются приговором: «Растопгать Ростопчина» (шуточка, кажется, ему же и принадлежащая). Между тем, загадка дана уже на первых страницах. Недалний предок получил профессиональную кличку: «Растопча», в переводе с древнерусского – истопник. Только и всего. Но достаточно, чтобы старинное, с татарского Крыма вынесенное родовое имя оказалось вытеснено и забыто.

По ходу взросления и возмужания всё новые переключки начинают оттачивать характер героя.

Путешествие за границу. Контакт с русскими станционными зрителями. Переключка с другим потомком крымских татар, ставших русскими, – с Карамзиным. Сравнение двух путевых дневников. Многое – в пользу Карамзина, – если ценить сентиментальный настрой, коим уже на-

чинает дышать тогдашняя проза. Но и в пользу Ростопчина – те случаи, когда в его стиле не сентиментальность проступает, а пронизательная язвительность.

«Город Цилиндиг мал, дурён и ничего не заключает примечания достойного; в нём, так как и во всех немецких маленьких городах, лучшие строения – ратуша, кирка и почтмейстеров дом». Эти слова Ростопчина и сегодня звучат современно. Лев Портной сравнивает их со словами Ильфа и Петрова. «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

Иногда реальность и сама язвит не хуже. Из-за какой-то служебной неувязки молоденькому придворному устраивают дуэль. Противники являються – кто со шпагой, кто без. Помирились, разбежались. Ростопчин резюмирует:

«Двое назначили мне встречу... Первый разделся, чтобы драться на шпагах, и не стал драться; другой хотел стреляться насмерть и не принёс пистолетов».

На смерть всесильного Потёмкина (в Яссах, куда молодой Ростопчин послан быть при финале очередной турецкой войны) следует такой его отклик: «Великий человек исчез, не унося с собою ничьих сожалений, кроме разочарования лиц, обманутых в своих надеждах, и слёз гренадеров его полка, которые, лишаясь его, теряли также и возможность воровать безнаказанно».

Безнаказанно такие остроты сходят с рук, если ты служишь подальше от трона. Молодой царедворец и хотел бы подальше, но ещё больше ему хочется быть



– поближе. Поближе он оказался в самом финале екатерининского века. Императрица прислушалась к его острогам и оценила: «Сумасшедший Федька».

Долго не отличала от него эта характеристика. Хотя сумасшедшим молодой царедворец вовсе не был. Очень хорошо чувствовал, где, с кем, как надо себя вести. Более, когда на престоле меняются хозяйева-самодержцы.

Особенно хитрой ситуация сделалась при Павле. Но и тут можно было терпеть, если знать характер сына Екатерины. Который в течение дня менял свои же приказы и наказания... то ли забывал их к вечеру, то ли остывал...

При Александре, внуке Екатерины Второй, легче не стало. Молодые либералы Ростопчина не принимали. Как и он их. Но служил честно.

Что существенно в его бытии: он служил очередному государю. Но глубже: он служил стране. Русской политике. Русской культуре. И конкретно – для души – поэзии, в которой тоже пробовал свои силы. И по-русски. И по-французски...

Рискну сказать, что в этом последнем случае Лев Портной несколько перестарался: он процитировал французские стихи своего героя. Я думаю, зря: этот десяток четверостиший наш читатель просто пролистнёт... Если уж блистать источниками (а Портной это умеет!), лучше уж упрятать в приложение... А тут... французская цитата несколько мешает поэтичному русскому тексту...

Поэтичность – держится в биографии Ростопчина на ощущении общей атмосферы...

И ещё: я думаю, что некоторыми эротическими подробностями из жизни тогдашних монархов тоже можно было бы пожертвовать. Потому что Ростопчин, с его «византийской изворотливостью», умело отстраняется от этих интриг. Поэтичность его души не на том строится... Он существует в атмосфере, где образно рифмовано всё: чаяния и поступки, тексты и помыслы, дневники и письма... Это мир, где всё откликается духу...

Отдаю должное Льву Портному: это заслуга. Ну, например... нам поведано, что среди друзей Ростопчина обретается Наталья Кирилловна, дочь Розума ставшего Разумовским, и проживает в Тамбове в доме своего мужа Николая Александровича Загряжского...

Зачем нам знать это?

А вот зачем:

«Здесь 27 августа 1812 года, на следующий день после Бородинского сражения родилась будущая жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Николаевна Гончарова».

Всё оправдано! Мир, которым окружён Фёдор Ростопчин (и которым он порождён), – пронизан

магией русской словесности. Чего ни коснись – звучит.

Повествование пронизано ещё одной негаснувшей мелодией. К каждой главе – строчка поэтического эпиграфа, как правило, отдалённо предсказывающая содержание главы. Автор – Софья де Сетгор. Популярнейшая детская поэтесса тех десятилетий! И лишь в финале мы узнаём, что это – дочка Фёдора Ростопчина, избравшая своим домом Францию...

Один из эпиграфов из поэтической безбрежности неожиданно падает в актуальное земное пламя: «Ты меня спрашиваешь о причинах пожара? Никто этого не знает».

Скоро узнаем – дойдём и до пожара...

А пока Бонапарт проделывает путь от Аркольского моста до парижского дворца, Ростопчин имеет возможность острить, что Первый Консул для России лучше, чем Восемнадцатый Людовик.

Наступает 1812 год. Людовика и след простыл (на время), а консул, примеривший корону Императора, входит в Москву как завоеватель; он дипломатично ждёт, когда же московский градоначальник явится к нему продемонстрировать верноподданность, а градоначальник не идёт.

Этот столичный градоначальник, он же командующий московским войском – наш Фёдор Ростопчин.

Главы его биографии, относящиеся к Наполеоновской агрессии, написаны плотно, а главное – с ощущением безысходного трагизма: Бонапарт – в Москве, Москва – горит...

Особенную остроту этой биографической странице придаёт то обстоятельство, что Ростопчин в качестве действующего лица попадает в роман Толстого – в «Войну и мир». Со всеми своими «афишками», описанными Толстым ненавидяще-насмешливо.

Как нам быть? Толстой выстраивает свою концепцию, весьма конфликтную – если учесть, что он и Бонапарта в неё упрятывает как ничтожного пассажира исторической кареты – так разумнее всего принять эти толстовские главы как они есть, – они давно и прочно легли в базисное самоощущение русского народа, и никогда из этого базиса не исчезнут.

Ни спорить с Толстым, ни повторять его нет смысла. Разумнее всего – в параллель с Толстым – дать хронику действий Фёдора Ростопчина в павшей на него роли. Что и делает Лев Портной.

Первый план он выкраивает из самых спорных и болезненных деталей ростопчинского градоначальственного туалета. Включая бессудную расправу над Верещагиным. И «Три Горки» мобилизованных, к которым Верещагин не выехал, сообразив, что необ-

ученные ополченцы против обученных французов будут обречены. И пожар московский, вопреки легенды...

Толстой тоже не дал ответа на вопрос, кто поджёт, сказал, что брошенный жителями деревянный город неизбежно загорается сам собой.

Вопрос так и повис в дыму: то ли подожгли сами москвичи, чтобы выкурить французских завоевателей; то ли ненавистники России – чтобы было ей побольнее... А если это сделали московские власти, в ожидании нашествия копившие зажигательные бомбы и воздушные шары – сжечь столицу, чтобы: «не досталась злодеям»?

Сам Ростовчин мучился, пытаясь определить свою ответственность. Был близок к тому, чтобы признать: Москву подожгли с его ведома, если не по его приказу. Потом, после событий, твёрдо на-

стаивал на своей непричастности к поджогу. Но это уже после событий.

Ещё полтора десятилетия после них отмерила ему судьба. И финал Наполеона в 1821 году застал. И заговор декабристов, когда дал волю своим чувствам сын Ивана Пестеля, когда-то оттеснённого Ростовичным от почтового ведомства (надо было самому корреспонденцию перлюстрировать). И финал декабристов, на выступление которых отреагировал блестящей формулой: «Обыкновенно сапожники делают революции, чтобы сделаться господами, а у нас господа захотели сделаться сапожниками»...

Сам он сидел, отставленный от должностей, ожидавший награды, которых так и не получил.

Умер в своей постели.

Тихая смерть увенчала бурную жизнь.

СЕРГЕЙ НЕЩЕРЕТОВ

ПРОТИВОШЕРСТНЫЙ ШЕРШЕНЕВИЧ

(Фраздков В.А. *Dum spiro spero: О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи, разыскания, публикации.* – М.: Водолей, 2014. – 800 с., 48 с. ил.)

Кто первый поразился бы выходу восьмисотстраничного суперсинописа с именем Вадима Шершеневича на титуле, так это он сам! Догорая от туберкулёза весной сорок второго в алтайской эвакуации, былой денди нисколько не рассчитывал на благосклонность своего посмертия. Не то что стихи собственные, опасные пищеварению советской критики (прощальный сборник – 1926), а и классические переводы ему приходилось от года к году проталкивать в печать с растущей натугой. Венец его переводческих трудов – полный аналог бодлеровских «Цветов Зла» – воссиял из архивного мрака лишь в идущем веке... А трагическая заботливость вдовы-актрисы капельно канула в океане отчуждения. Бойкотом попахивало всерьёз, притом не на ровном месте. Задиристый полуполяк (в стартовом разделе представляемого нами тома – прелюбопытное этнодосье на Шершеневича) обожал гладить тяжеловесных современников (что Брюсова, что Гумилёва, что Пастернака, что Мандельштама) против шерстки (и до «дружеских» драк доходило); те платили взаимностью. Во многом их каблуками его поэзия, могло показаться, навсегда втоптана в эпигонскую пыль. Кое-как устояла невнятная репутация, да и та – вся в репьях глужих недоумений.

Почему в разгар футуристского пира он пошёл не за Маяковским (тактически весьма соблазнительно), а ему наперерез? Почему не эмигрировал, хотя бы в обиду за то, что революция выгребла из его дворянских карманов всё до гроша (прежде его кормили проценты с завещанного отцом капитала), или хотя бы ради того, чтобы не оторваться от единственной дочки? Почему уцелел в тридцатых, имея за спиной арест 1919-го и уголовное – упразднённое при Ельцине! – дело о связях с анархотеррористами?..

Прикосновенная к стольким «людям и положениям», эта фигура, изрядно успев мумифицироваться, неизбежно понадобилась в пору коллективного осознания персональных рекордов и раздачи запоздалых призов. Силуэт её был вчерне намечен калифорнийцем Вл. Марковым («История русского футуризма», 1968; «Русский имажизм», 1980) и на Западе вообще (первая монография американского производства, 1981; объёмная журнальная ретроспектива по архиву бристольца Гордона Маквея, 1989), а позже и у нас (Барнаул, Саратов, Петербург, Пермь). Не нарушая капиллярную систему шаткого шершеневичеведения, дотошно и поступательно (от раздела к разделу), московский филолог Владимир



Дроздов вводит в ареалы долгого спора кровь пристрастности, плоть незнанных ранее сведений и фактов. От разгадки обстоятельств печатного дебюта поэта (который самолично напустил на них избыток тумана) – через свежее открытие и частично реабилитацию его центральных произведений («Carmina», «Крематорий», «Лошадь как лошадь», «И так итог») и совместительственных жанров (поэтология, либреттистика) – к многосерийному разбору дилеммы: Шершеневич в литературе – игра-изъян или игра-искусство. Подробнейше, с таблицами и схемами, освещены такие нюансы, как применение юным Шершеневичем тонизирующей сравнительно с синхронной стихопрактикой Маяковского и Константина Большакова. На наш общий взгляд, книгу Дроздова вызвало к жизни вызревшее у него за годы складывания профильной бумажной коллекции намерение – обозначить явное и тайное в соположении Шершеневича с теми, кто поудачливее, кому сильнее везло. И это не праздный интерес, а насущный.

Пишущему эту заметку довелось недавно гостить в Константиново и наблюдать, как у стендов-витрин с вехами имажинизма местные экскурсоводы мило тараторят буквально о том, как чуточку неразборчивый Гений спутался с ватажкой трудных подростков... Но, позвольте, есенинская имажиниада была и добровольна, и высочайше плодотворна. Недаром Есенину внутри и «на грани» имажинизма отданы три раздела (из восемнадцати) книги Дроздова. И с его же

любящей руки Шершеневич, переименователь основ и смыслотворец, одаряется правом встать подле Есенина и Маяковского, пусть и на мысках.

Своё коронное кредо спутник великих открыл в предисловии к «Цветам Зла»: «... перевод не имеет конца, не может быть совершенен и должен подвергаться исправлениям до конца жизни переводчика». Руслло этой аксиомы безусловно шире: любое творчество – континуум, и мера понимания этого соответствует мере причастности. Шершеневич, с его извечными афронтёрством и неуспокоенностью, может быть причисляем к отряду посвящённых, на фоне всех неустранимых оговорок.

Дроздов удерживает себя от похвалы своему герою и опускает простой вывод, напрашивающийся напрямую: *без Шершеневича* русская поэзия 1910-х и 1920-х заметна бы обесцветилась и обессочилась.

В новом томе Шершеневич – создатель текстов показан не только в избыточных цитатах и отсылках; дополнительно помещена целиком пара крупных вещей, в том числе незаслуженно незамеченная «Мещантика», поэма не менее «гладкая» и «понятная», чем её автор. Это почти уэллсовский репортаж из 2023 года: цивилизация насквозь проедена раком мещанства, а слово «Россия» напрочь стёрлось с географических карт... Вот и ещё одна его дерзость, сей раз брошенная уже в лицо потомкам, словно в доказательство того, что выдохнувший когда-то «Я минус все!» неисправим.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

СИНКОПА КИРЫ САПГИР

(*Кира Сапгир, Двор чудес. Серия «Современная проза русского зарубежья».* – М., Издательство «Э», 2017)

Двор чудес – очень «французская» по духу книга. И дело здесь вовсе не в авторской привязке к бандитскому парижскому подворью средних веков. Сам жанр перетекания сюжетов и мыслей из одной главы в другую очень напоминает мне «Опыт» Мишеля де Монтеня. «Во мне, а не в писаниях Монтеня находится всё то, что я в них вычитываю», – говорил Паскаль. Конечно же, и то, что я вычитал в томике Киры Сапгир – находится во мне. Я уже и позабыл кое-что из того, что знал, но, благодаря чудесной книге Сапгир, многое вспомнил. Перо писательницы дружит с глубокой мыслью. В процессе чтения у меня воз-

никает уверенность, что Кира проштудировала «запрещённую» книгу Флоренского «Мнимости в геометрии», из-за которой писателя-священника расстреляли в 37-м году. Но для этого нужно быть пространственно одарённым человеком. И математиком, и поэтом. Столь универсально одарённых людей на земле мало.

Книга Киры Сапгир наполняет меня внутренним ликованием. Это одна из самых «умных» книг, прочитанных мной за последнее время, а ведь я читаю и классиков тоже. Впервые я услышал о Кире Сапгир от поэта и философа Константина Кедрова как о выдающемся гиде по Парижу.

Друзья прожужжали мне все уши именем этого автора, вот я и купил в магазине её книгу. Когда ты недостаточно знаешь о каком-нибудь интересном человеке, это побуждает тебя действовать. Но, приобретя книгу, я положил её на полку и... забыл о ней. И тут неожиданно в Москву нагрянула сама Кира Сапфир. И я с чувством неловкости вдруг вспомнил, что так и не удосужился прочесть купленную именно с целью ознакомления книгу. А ведь если бы я её открыл, оторваться от чтения было бы крайне сложно. Подобная задержка была для меня своего рода «синкопой», усиливавшей звучание книги. Кира – словесный эквилибрист. Озорство и подвох. Полистилистика. Ноблесс облайж. Ум у неё одновременно и живой, и не чуждый метафизических тонкостей. В одной из своих прошлых жизней Кира всерьёз увлекалась оккультными науками. Люди с телескопическим кругозором встречаются не так уж часто. А ведь ещё Кира Сапфир – известный детский писатель, автор «Приключений Кубарика и Томатика» и «Мешка тру-ля-ля». В общем, мир ловил её, но пока не поймал.

Эта маленькая женщина – настоящий ступок жизни. Жизни странной, неканонической. Яркость – сестра её таланта. Многие стремятся быть яркими, но у них мало что получается. Либо яркость получается натужная и деланная. А вот Кира Сапфир – яркая изнутри, для неё это – способ жизни. Сюжеты рассказов, составивших сборник «Двор чудес» – необычны и причудливы. Читая, ты словно бы убираешь подальше первую букву «д» – и невольно становишься «вор чудес». В Средние века «двором чудес» называли в Париже знаменитое воровское подворье. Так что рифма двор – вор выскочила у меня совсем не случайно.

Я познакомился с Кирой Сапфир на одном из художественно-поэтических вечеров в Москве: меня представил ей Станислав Айдинян. Затем я прочёл «Двор чудес», от корки до корки. Затем, словно бы продолжая чудесную цепь событий, познакомился с одним из персонажей книги, Стасом Красовицким. Героями рассказов Киры стали как люди широко известные, так и те, чьи имена сейчас не на слуху. Порой писателю, чтобы творить, и выдумывать ничего не надо: самую невероятную выдумку поставляет ему сама жизнь. Есть даже писатели, которые нарочно провоцируют жизнь. «За жизнью надо ходить», – говорила мне Ольга Ильницкая. Не обязательно, чтобы история непременно происходила с самим автором. Она может происходить с его друзьями, коллегами. Она может быть случайно подслушанной. И весь этот «двор чудес» вываливается на благодарного читателя.

Конечно, когда читаешь про людей, с которыми знаком лично – Шемякина, Кедрова, Красовицкого – впечатление от прочитанного усиливается. Со Стасом Красовицким у меня вышла уникальная история. Впервые я прочёл о его необычайной судьбе в мемуарах поэта Дмитрия Бобышева. Так что, открывая рассказ Киры Сапфир, я был уже тематически подготовлен. Но рассказ Киры потряс меня; это, на мой взгляд, маленький шедевр. Новелла, посвящённая Стасу, называется «Человек, продавший душу Богу». Само название этого рассказа убедительно демонстрирует нам, насколько яркое, метафоричное и парадоксальное талант Киры Сапфир. Жизнь Красовицкого – это своего рода анти-Фауст: вместо сделки с дьяволом... сделка с Богом; вместо прилива духовной силы – её утрата. Я убеждён, что всё дело – в самом человеке. Ведь не утратил же свою силу, став священником, упомянутый выше Павел Флоренский! Наоборот, он её приумножил! Так что дело вовсе не в религии. И – надо же такому случиться – заинтересовавшись судьбой Красовицкого, я увидел сообщение о его творческом вечере в одной из московских библиотек. Конечно, я не мог упустить такой случай послушать стихи и познакомиться. Станислав, теперь уже отец Стефан, читал стихи, написанные после обращения к Богу. В них отсутствовала напрочь прежняя глубина, порождаемая контрастностью зрения. Тем не менее, я тепло пообщался с отцом Стефаном. Судьба Стаса Красовицкого «радикальна», но крайне интересна. Порой творчество – это внезапный союз Фауста и Мефистофеля. После воцерковления личность поэта словно бы уменьшилась, за счёт поселившейся в сердце благодати. Наверное, в раю поэты не нужны. Мы же, со стороны, почему-то думаем, что поэт совершил над собой духовное «характери». Мы исходим из того, что насилие над собой не является актом божественным. Но был ли этот внутренний переворот насилем? Сие есть великая тайна. Что же это было – восхождение или, наоборот, нисхождение? Всё зависит от того, с какой точки зрения на это посмотреть. Вот недавно, например, у Красовицкого сгорел дом, вместе с рукописями. Но сила единения с Богом у него сейчас так прочна, что он только немного взгрустнул по этому поводу. Дескать, что сетовать – все мы в руках Божьих. Когда выбор ставится между поэтом и человеком, я – за человека, хотя и грущу о поэте. Главное, чтобы человек был в ладу с самим собой. А поэзию мы почитаем у других. Ничего страшного. Хотя, конечно, голос поэта такой мощи, которая изначально была заложена в Красовицком, ценен в своей неповторимости.

Из моего письма Кире Сапфир:

«Ваш «Двор чудес» доставил мне необыкновенное удовольствие! Я не ожидал, что книга окажется столь глубокой и разносторонней. Это определённо лучшая книга, которую я прочёл за последний год. В какой-то момент я стал раскрывать книгу наугад и попал сперва на Стаса Красовицкого, потом – на Раймунда Дуллия, потом на Казотта и Шемякина. У Вас философия так забавно перемежается с очень смешными эпизодами из эмигрантской жизни, что действительно получается свинг. И, конечно, удивляет глубина Ваших познаний в музыке и живописи. Не каждый писатель так хорошо понимает смежные жанры искусства. Вам определённо повезло с собеседниками!»

Я понял, чем ещё зацепила меня эта книга Кире. Она пишет в моём излюбленном жанре, когда рассказ о жизни человека дополняется исследованием его творчества, цитатами, если это поэт. И, честно говоря, приходишь в восторг от обилия талантов рассказчицы. Стихи Кире, которыми снабжены некоторые рассказы – это не «стихи прозаика», а полновесные стихи отменного поэта. При том, что она себя совершенно не позиционирует в этой ипостаси. Культурология – тоже очень профессиональна. В общем, всё, за что берётся эта незаурядная женщина, она делает на одинаково высоком уровне. В «Дворе чудес» главенствует синтетический стиль, где все «маленькие» жанры работают на образ. Пожалуй, общение её молодости было на порядок качественнее нашего. Сейчас поэты, собравшись, скучно читают друг другу свои виршики. Мало личностей. Мало глубоких разговоров.

Слово «синкопа», которым я украсил заголовок статьи, не является какой-то моей находкой или глубоким прозрением. Автор, Кира Сапфир, сама вводит это джазово-свинговое понятие в

текст своей книги, чтобы читатель не особенно мучился вопросом, что это за книга и как её следует понимать. Сын копа играет джаз! Писатель писателю рознь. Некоторые для усиления образного звучания используют фигуру умолчания. А некоторые – фигуру (!)говоряния. Некоторые любят погорячее! Именно к таким «горячим» писателям я отношу Киру Сапфир. В книге «Двор чудес», как мне кажется, огонь уравновешивается логикой. Кира – воздушный знак Зодиака, она родилась в один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. И стихи она тоже пишет весьма недурственно. «Двор чудес» – книга достаточно целомудренная. Эпатажных фрагментов, по сравнению с другими книгами писательницы, например, с книгой «Дисси-блюз», в ней на порядок меньше. Сам по себе эпатаж для Кире – не самоцель, это элемент свободы и естественности. Ей свойственна очень высокая степень свободы, она может позволить себе в творчестве очень многое, на что не отважились бы другие. В книге «Двор чудес» впечатляет разносторонность интересов автора. Тут тебе и рассказ о старых большевиках – казалось бы, теперь об этом можно и не писать, разве не так? Тут тебе и маргинальные писатели прошлых веков, например, тот же Казотт. Тут и удивительный логический этюд о разноуровневых системах «бог – его творение», где высказано предположение, что даже над Богом, которого мы пишем с прописной буквы, может быть ещё один бог, для которого наш Бог будет только творением. Такие удивительные космогонии и иерархии. Шесть «и», из которых четыре – подряд! Синкопические доказательства бытия Баха. На этом я округляюсь. Как сказал бы незабываемый Игорь Волгин: «Читайте и перечитывайте Киру Сапфир!»

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

«И ТРУДНО ДО БОГА СЛЕЗУ ДОНЕСТИ...»

(Ирина Евса, Лифт. – М., Воймега, 2017)

Новая книга Ирины Евсы захватывает с первого стихотворения. Речь в нём идёт о том, что любовь к ушедшим порой сильнее любви к живым. Поначалу это кажется парадоксом, вызовом, смелостью со стороны автора. Но, если наши ушедшие были частью нас самих, такую потерю не могут восполнить живые.

*Когда исправно кормишь голубей
и норовишь, чтоб ветры дули в спину,
когда любовь к живущему слабей
тоски по тем, кто нас уже покинул,
когда один лишь путь наверх –
от конуры до ближней бакалеи, –
вдруг ниоткуда выплывает строка:
...но продолжая гибель Галилеи...*

Как отдаленный гул товарняка.

*И долго смотришь, как дрожит щека
у старика на ледяной аллее.*

В творчестве Ирины Евсы есть очень симпатичная мне «прустовская» нота: она подаёт воспоминания как мечту. Её поэзия вещественна – и в то же время чувственна, и в чувственности – недосказана. Всё время невольно задаёшь себе вопрос: кто эти герои? Что с ними стало потом? В стихах Евсы много жизни, взятой из прошлого, и, как у Андрея Тарковского в «Зеркале», всё это взаимопереходит друг в друга: порой не поймёшь, с героиней ли это происходит или же с её родителями, близкими и дальними родственниками. Даже когда в стихах есть чёткое указание на время и место действия – всё равно повествование «мерцает» вневременностью, пойманным мгновением и остановленной вечностью.

У Ирины Евсы очень мало стихов, написанных от первого лица. Однако это «не – я», на мой взгляд, и есть большое, объёмное «Я». Это – особенность стиля поэта. И ещё, конечно, стоит отдельно сказать об эмоциональной наполненности её стихов. Она способна довести читателя до слёз, но это не является для неё самоцелью; ещё больше завораживает меня способность Ирины держать на слезе «мхатовскую паузу», заговаривать её другими словами. Или, наоборот, внезапно на этой чувственной ноте закончить стихотворение. Трудно одинокую слезу донести до Бога.

Мир Ирины – антропоцентричен. Основной объект её внимания – человек в разных жизненных обстоятельствах. Многие стихи пишутся оттого, что, как пишет Ирина, «жизнь состоялась, но не задалась». Существуют некие ножницы между тем, о чём чаялось – и конечным результатом. Но ведь поэзию конечный результат не очень интересует. Философию – да. Личную жизнь – да. Ирина Евса не задаёт себе извечных и гибельных вопросов «Что делать?» и «Кто виноват?». Но, задав себе простой человеческий вопрос: «Почему?», она даёт на него развёрнутый стихотворный ответ, где каждая или почти каждая строчка, начинается с «потому что». И такой «скомканный» синтаксис символизирует непростую жизнь героини и её соплеменников. В «Лифте» много стихов о встречах героини и «невстречах», платонических отношениях и не очень. Ни посвящений, ни намёков, о ком конкретно идёт речь, нет. Вместе с тем, безусловно, это реальные люди в воспоминаниях поэта. Впрочем, безымянность персонажей условна. Исследователи творчества, если захотят,

обязательно докопаются. А читатели очарованы запахом тайны. Ирина Евса очень свободна в своей лирике, однако, описывая любовные отношения, неизменно целомудренна: любовь – это тайна двох. Любовь – это чистое бельё жизни.

Стихи Евсы, невзирая на то, что в них много удачных отдельных строк, лучше, на мой взгляд, цитировать целиком. Дело даже не в том, что она – поэт «длинного дыхания». Просто в её стихах много внутренней драматургии, не всегда понятной, если стихи разьять по своему произволу. Евса – поэт тотального структурирования текста, и деталь в её стихах может сработать только в сочетании с другими строчками. Возьмём, например, стихотворение «Лифт», давшее название книге.

*Жестяное облако, что блестя
над пожарной плавает каланчой.
А весна в отчизне как лифт тесна
И слегка припахивает мочой.
Отжелебнёшь для храбрости граммов сто,
загасив бычок о рекламный щит, –
и нырнёт в желудок ты мышца, что
учащённо в рёбра твои стучит.
Рассекая сумрачные слои,
А потом – лазоревые, к толпе
Приглядишься: Господи, все – свои,
Даже этот, с пейсами и в кипе;
И поддатый дядька. В приливе чувств
В твой рукав сцепившийся (ну и тип!);
И дитя, чей розовый чупа-чус
к тёмно-серой куртке мента прилип.
...Недолёт опасней, чем перелёт.
Но сейчас ты думаешь о другом:
«Рай, наверное, пахнет, как Новый год, –
мандарином, яблочным пирогом.
Там в гусиной кожеце озурец,
Как живой, блестит из густой хвои:
и не скажут: «Гад, получи в торец!»
Нет в раю торцов, да и все – свои.
...Но каму-то шего уже свело,
кто-то ронцет в спину: «Убратъ божжей
и жидов!» А ты им кричишь: «Всего
и осталось – несколько этажей...»
И летит набитый людьми кристалл,
преломляясь в солнечной полосе.
И никто не знает, как ты устал
Повторять: «Без паники: выйдут все».*

Самое главное открытие Евсы – условность разделения людей на свой-чужой, которое инспирировано гражданской войной. В общественном лифте, так или иначе, едут все, и все – свои. Чужие – не более чем мираж, фата моргана. Замечу,



что Ирина Евса – одна из самых образованных наших писательниц. Страшно подумать, какое огромное количество мировой литературы она пропустила через себя. Но культура – отличное подспорье для лирика.

Ирина Евса вроде бы не тяготеет стилистически к символизму. Но вот в чём отличие современной поэзии от поэзии Серебряного века: символизм у поэта современного – это «высшая стадия» акмеизма, это прорыв жизненного в обобщённое. И на примере стихотворения «Лифт» это хорошо наблюдается. Лифт – он и «частный», принадлежащий конкретному зданию, и всеобщий: жизнь можно представить себе в виде общественного лифта, который не может где-то застрять или провалиться в шахту: на конечном этаже выйти должны все! Вот только конечный этаж у каждого – свой. Впечатляет, по контрасту с лифтом, картинка Рая, которую Ирина, видимо, почерпнула из своего детства. Читаю стихи из новой книги Евсы – и понимаю, что где-то я их уже видел. То ли в периодике, то ли на Фейсбуке... У меня складывается впечатление, что Ирина специально избегает в стихах ударных начал и запоминающихся первых строк. Наоборот, первая строка у неё часто начинается «случайно», с какого-нибудь второстепенного члена предложения. И в этом, как мне кажется, есть своя стратегия: работа на целостность восприятия всего стихотворения.

*В непросохших предместьях побягровели склоны.
Эшелоны, колонны. Смутные времена.
Как десантники, вдоль дорог затаились клены,
маскируясь под осень, – это её война.*

*И хотя небеса уже не палят из пушки,
не плюются шрапнелью и не рычат «виват!», –
городских тополей обглоданные макушки
говорят нам о том, что произошел захват.*

*Оголив провода, пернатые дали деру.
А на площади, выполняя чужой заказ,
в жёлтых бронжилетах мрачные мародеры
выметают, сребруют, жгут золотой запас.*

*Ты представить не можешь, сколько уже народу
безтаможенно и безвизово утекло
в тот спасительный край, где зим не бывало сроду,
где не платят властям за воду и за тепло.*

*Там на правом холме потют, а молчат – на левом.
Но и те, и другие в курсе, что всяк любим.
Там ягненок и лев под вечнозелёным древам
спят в обнимку, а после – дружно жуют люпин.*

*И, когда я рвану туда, побросав манатки, –
перекатная голь в облезлом товарняке, –
сдаст меня пограничник в плохонькой плащ-палатке
небожителю с полосатым жезлом в руке.*

*Я, наверно, примкну к молчаливикам, ибо в школе
к хору близко не подпускали меня... А ты
не кури натошак, не пей в одиночку, что ли.
И, пожалуйста, раз в три дня поливай цветы.*

Просто хороший поэт, наверное, закончил бы стихотворение пограничником, передающим героиню на поруки небожителю – и был бы очень доволен. Но Ирина Евса – поэт замечательный! Она делает ещё одну коду (вот оно, преимущество длинного дыхания!). Ну и совсем немногие люди могут предметно представить мир без себя и от-важно об этом написать.

Пожалуй, Ирина Евса могла бы подписаться под максимальной Гераклита Эфесского: «Война – отец и царь всего». «Всё на свете – замаскированная война. И потому война незамаскированная уже не так страшна». Вообще для Ирины характерен поиск необычного ракурса. Запомнилось, например, стихотворение о том, как погибший сын сверху смотрит на своего отца, точно «проверяет», глубоко ли тот по нему скорбит. Реальной войны, в отличие от книги «Юго-восток», в «Лифте» не так много. Тем не менее, она вторгается иногда в повествование – обнимками, не основным сюжетом. Но как раз такая «тихая» подача и бьёт по нервам, может быть, от неожиданности. Любая война – страшная беда. Война между своими – бедствие особенно страшное. «Перелёт лучше, чем недолёт». Как в скрытых, так и в открытых конфликтах Ирина Евса выступает на стороне добра: на стороне лучшего, что есть в человеке.

ШЕСТВИЕ

*Если тебе велят – влево, а ты направо
топаешь в аккурат, –
не сомневайся, брат, это ещё не слава
и не свобода, брат.*

*Правду ори свою рэпом или былинным
слогом, но посмотри:
ты всё равно в строю, непорочно длинном,
ровного рва внутри.*

*Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет?
Прятаться или сметь?
Гиттис или Блок? Быков или Прилепин?
Родина или смерть?*

*Вверить спешат толпу ратники и сиротки –
всяк своему божку.
Хуже всего тому, кто семенит в середке,
в плечи втянув бабку.*

*С кем ты, – спеша, скользя? – мне за тебя тревожно.
В тот ли вписался ряд?
Притормозить нельзя. Выбраться невозможно.
Разве что – в небо, брат.*

Читаю «шестивне», а в уме сразу держу прилагательное к нему – «факельное». Это такая здесь фигура умолчания. Фигура у молчания. Бывают времена, когда нам кажется, что самое важное – с кем ты? Не хочется оказаться посредине – бить будут и те, что справа, и те, что слева. Об этом писал Горький в «Жизни Клим Самгина». Лучше, конечно, быть «над» событиями или «по ту сторону» их. Но каждая из противоборствующих сторон стремится перетянуть маленького человечка на свою сторону – именем своей справедливости. Волопиных на всю страну раз, два и обчёлся. Правда, вот Быков хвалит Прилепина на своей страничке в Википедии. Сразу видно – метит в волопины. Ирина Евса мудро пишет, что вся эта военная суэта происходит внутри одного огромного

рва, где находятся не только противоборствующие стороны, но и остальные люди – те, кто в этой войне не участвует. Нужно быть человеком тонкого помола, чтобы не подпасть под власть тьмы.

Я, наверное, выбрал из всей книги то, что оказалось мне наиболее близким. И, наверное, не случайно всё это – «токкаты и фути». Но в целом «Лифт» очень разнообразен; в нём много самоиронии, мягкого, с оттенком лукавства, юмора. Не всё же писать «о главном»! Хотя фишка писателя часто заключается в том, что наше «второстепенное» для него в этот жизненный момент – может быть, самое главное. Улыбнуло стихотворение Ирины о «роковой» роли Есенина в формировании её поэтического самосознания. «Значит, нужные книжки ты в детстве читал».

Ещё одна особенность стихов Ирины – обилие пунктуации. В то время как многие поэты вообще отказываются от знаков препинания, Ирина Евса выдаёт их «на гора» – на зависть любому авангардисту. И часто именно в этих запятых, тире, отточиях, прямой и не прямой речи явственно проступают тончайшие движения её души, оттенки мыслей, особенности характера. И, конечно, «Лифт», поднимает нас, читателей, высоко в небо прекрасного харьковского поэта.

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

МИРЫ ПЕРЕДЕЛКИНО

(Людмила Саницкая. *Остров открытой книги Переделкино.* – М.: Вест-Консалтинг, 2018 – 140 с.)

Людмила Саницкая написала и издала новое своё произведение, повесть-дневник «Остров открытой книги», ставшее сюрпризом для тех, кто так или иначе связан с писательским посёлком в Переделкино. С домом творчества писателей, с людьми, населявшими в прошлом и населяющими сегодня этот удивительный подмосковный мир, в котором пространство, сотканное из литературных изысков отечественной поэзии и прозы гармонично сочетается с русской природой, с харизмой обитателей этого мира. Да, безусловно, книга Саницкой – сюрприз, неожиданный подарок тем, кто влюблён в Переделкино, кто в последние десятилетия с естественной тоской всё чаще и чаще отмечает: «Друзья уходят в прошлое, как в память...», наблюдая за истощением российской писательской когорты, навсегда прощаясь с лучшими её представителями, чья жизнь

и творчество проходили под сенью переделкинского леса. Они ушли, но память о них останется в Переделкино – Саницкая как бы возвращает время вспять в своей книге, дарит нам встречи с теми, кто населял в прошлом это удивительное место.

Не мудрствуя лукаво и не ослепляя читателей ярким и броским колоритом повествования, Людмила Саницкая просто и доверительно, на правах одной из составляющих переделкинского мира, вводит нас в него. Но не так, как это делает влюблённый в свою экспозицию опытный гид, которого отделяют от предмета рассказа пласты времени. Людмила – свидетель и соучастник процесса, создавшего неповторимую ауру писательского посёлка. Десятилетиями наблюдая за обитателями Переделкино, она с лёгкой, едва заметной грустью переворачивает страницы летописи, открывая перед нашим взором странные



на первый взгляд картины бытия людей-мест и одушевлённых усадеб, не существовавших по отдельности и автономно друг от друга. Так, вместе с нею, мы попадаем во вселенную посёлка, начинаем изучать отдельные её галактики, созданные скоплением звёзд в каждой, отдельно взятой писательской усадьбе. Будь это созвездие Чуковского или Пастернака, Окуджавы или Евтушенко – казалось бы, ушедших из материального мира – но на небосклоне Литературы они продолжают неугасимо светить благодаря их усадьбам-музеям, наполненным душою и духом своих прежних звёзд.

Удивительная по своему колориту, ни на что не похожая усадьба Корнея Чуковского, в которой словно и не умирал непонятный для обывателей дух писателя, продолжает жить той жизнью, которую в неё вдохнул когда-то Корней Иванович. Что изменилось? Произошло чудо: она зажила своей суверенной жизнью, как живут дети, произведённые на свет родителями, воспитанные ими и отправленные в самостоятельное плаванье на свой страх и риск. У усадьбы своя судьба, свои пристрастия, свои привычки и свои праздники. Но как бы они ни были суверенны, душа Чуковского пребывает в ней неизбежно, помогая находить в кризисные времена оптимальную форму самовыражения и существования, притягивать к себе людей и дарить им праздники. Вот, например, литературная гостиная «Гараж», однажды родившаяся и зажившая своей жизнью. В помещении гаража Чуковского трудами подвижницы Аллы Рахманиной была устроена гостиная – младшая «дочь» огромной усадьбы, имеющей имя Чуковского и тот же менталитет, но со своей судьбой, несомненно, обладающей всеми приметам преемственной наследственности духа Корнея Ивановича. С творческими вечерами в «Гараже» побывали, придя на гостеприимный огонёк, неоднократно побывали поэты и писатели высшего уровня... Назову от себя имена – Фазиль Искандер, Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Игорь Золотусский, Александр Тимофеевский, Олег Михайлов, классик русской мысли и литературы Юрий Мамлеев, несравненная московская парижанка Кира Сапир, талантливейший переводчик мировой поэзии Александр Ревич, крупнейший литературный критик России Лев Аннинский, писатель, поэт, знаменитый киноактер Лев Прыгунов, писатель Ярослав Голованов, глава Союза российских писателей Светлана Василенко, писательница Татьяна Опанина-Успенская, старейшие писатели Владимир Еременко, Николай Воронов; крупнейший французский славист,

издатель, коллекционер Ренэ Герра; известный индолог, поэт и писатель-прозаик Александр Сенкевич, уникальный писатель и поэт-полиглот Вилли Мельников, большой друг и муза Венечки Ерофеева, писатель Наталья Шмелькова, глава российского гумилевского движения Ольга Медведко, поэты Анна Саед-Шах, Олег Хлебников, Станислав Айдтнян, Галина Нерпина; и ещё кто только не...

И это лишь одно из созвездий... Другие, из этой галактики Переделкино, светят каждая в меру своей индивидуальной и коллективной яркости и силы, но не заметить их невозможно. Людмила Саницкая знакома с ними; не скупясь на добрые слова, рассказывает вкратце о каждой одушевлённой усадьбе в переделкинском лесу – слова слагаются в стихи. И вот уже перед нами открываются поэтические строки Беллы Ахмадулиной, полагавшей себя неотъемлемой частью этого места:

*Любо мне возвращаться сюда
И отпраздновать нежно и скорбно
Дивный миг, когда живы мы оба:
Я – на время, а лес – навсегда.*

В книге Саницкой говорится и о другом звёздном скоплении, что расположено рядом с дачным посёлком – Доме творчества писателей, приюте творческих сердец, нашедших в нём эквивалент тепла и дома. Возникший в одно время с писательским посёлком, Дом творчества за 80 лет повидал в своих стенах чуть ли не половину членов Союза советских и российских писателей, живших и творивших под кронами лесных деревьев. Людмила нежно и с любовью рассказывает о встречах на территории Дома творчества с многими отечественными писателями и поэтами, оставившими свой яркий и выразительный след в литературе. Истории, истории... становящиеся историей, всё дальше уходящие от нас вместе со своими персонажами, расставание с которыми равно потери части себя.

Спасибо Людмиле – она новым словом представила нам и это скопление звёзд, их судьбы, их творчество и истории... Законченные или ещё не завершённые, что ждут не то волшебства, не то чуда, чтобы никогда не угаснуть и не кануть в Лету. Здесь и Евгений Войскунский, тонкий мастер научной фантастики, военный корреспондент в годы ВОВ, орденноносец и патриарх отечественной фэнтези. И Сэда Вермишева, поэт и прозаик, своего рода живая литературная достопримечательность Дома. И известнейший поэт, давший дорогу в жизнь целому ряду поколений

поэтов, Кирилл Ковальджи, читавший свои стихи на веранде... Небо скрывают листва и тучи, а звёзды тихонечко гаснут... Как сбересть мир Переделкино, как сохранить уникальную атмосферу жизни и творчества, которые уничтожаются в силу обстоятельств, созданных гипертрофированным и прагматическим меркантилизмом лишённых совести чиновников? Как не допустить ликвидации оазиса, ещё цветущего и сохраняющего в себе дух отечественной литературы?

У Людмилы Саницкой нет прямых ответов на эти болезненные вопросы – она лишь констатирует слухи о том, что надвигалась катастрофа *«чиновники Росимущества, получившие в 2017 году в подчинение писательский посёлок Переделкино вместе с Домом творчества, были в некотором замешательстве (что бы построить на месте обветшавшего писательского заповедника?): суперсовременный отель или дорогой коттеджный посёлок?»*. Далее ситуация стала уже не столь однозначной, полномочия по управлению посёлком было решено передать группе писате-

лей, живущих в Переделкине... В своё время, в 2000 году, силами писателей Переделкина была создана общественная организация «Городок писателей», которая теперь старается привести городок в то заповедное состояние, которое соответствовало бы его духу и истории. Но смогут ли сами писатели не поддаваться корыстным желаниям, не поклонятся ли они сами библейскому Золотому Тельцу?.. В последней главе «Острова открытой книги» голос автора наполнен нескрываемой болью, когда говорит о возможном исчезновении писательского «заповедного селения», привычно для нашего слуха называемого Переделкино. Не хотелось бы дожить до такого...

Почему-то представляется, что и через пять, и через десять поколений отечественных литераторов, звёздный мир в Переделкино будет пребывать на той же орбите и в той же части творческого Космоса, что сегодня находится рядом с нами, но где-то выше нас.

ГАРРИ ПЕРЕЛЬДИК

АРОМАТ ЗАБУТОРНОЙ ГРУШИ

Беру в руки новую книгу Галины Соколовой и Эллы Мазько «Евина груша, или пицца счастья» (Одесса, «Стеллар», 2017 г.). Двести двадцать пять страниц пятого формата, выполненная художником Полиной Тараненко мягкая голубая обложка, а на ней... Что это – плод страсти? Русалка? И почему девушка отворачивается от ласкового и пьянящего морского простора, зовущего в заманчивые дали, и в то же время ёжится на холодном, видать, и некомфортном камне?.. Вопросы, вопросы, на которые читателю и отвечают авторы. Для тех, кто уже знаком с их творчеством, будет, несомненно, интересно вновь встретиться с некоторыми героями, точнее, героинями предыдущей книги Г. Соколовой «Рагу из дуреп», изданной в США в 2013 году. Но «Евина груша...» *аппетитна* и самоценна независимо от её предыстории и анонсированного продолжения. По стилю – это настоящий авантурный роман, который прочтётся легко и непринуждённо не только искушённым читателем. «Груша...» – на любой вкус! Любителям страничных странствий откроются экзотические пляжи после молниеносных спонтанных авиаперелётов с Юга на Север и вновь *на юга*, почитателям *клубнички* – ёмкий, но не

скабрёзный эротический антураж; модницам дано сравнить себя с героинями романа, а возрадоваться за последних или их пожалеть смогут как завязтые космополиты, так и убеждённые патриоты.

Сюжет романа, в общем-то, прост: стремление «наших» двух женщин, эмигрировавших «за бугор», к лучшей жизни, а если повезёт, то и обретение «большой и светлой» любви (впрочем, для женщин, бесспорно, понятия «лучшая жизнь» и «любовь плюс семейное счастье» неразделимы). Для достижения поставленной цели героини пускаются «во все тяжкие», бросаются в авантюры, – вот вам и авантурный роман.

Но... если было бы так просто... Катаклизмы грядут не только при сдвигах земной коры. Девяностые годы... Ах, эти девяностые! Сколько примерных судеб и благополучных карьер переиначили! Учёные превращались в «челноков», инженеры и учителя становились продавцами на рынках. Рушились устои. «Наивный» социализм уступал место дикому капитализму. Кто-то смог приспособиться к новым обстоятельствам на месте, кто-то, увы, нет. Но обстоятельства сами изменились: пал *железный занавес* и появилась возможность *свалить* из страны и... А что же



ты имеешь за душой, чтобы тебя приняли Там с распростёртыми объятиями? Но если ты молодая и красивая, к тому же битая жизнью – дерзай, принимай новые правила игры, забудь своё пуританское воспитание и поскорей вступиай в товарно-денежные отношения. Ты и есть тот товар, на который обязательно найдётся покупатель. Только постарайся продать себя подороже. Цинизм? Нет, прагматизм. И всё-таки чувствуется: у наших героинь, женщин из постсоветского пространства, ещё не до конца выхолощен дух романтики. Им всё же нужно, чтобы их любили. Просто так, по-человечески, по-мужски. И чтоб они сами любили. Потому и даёт отставку одна из героинь своему «богатенькому буратино», а вторая не забывает о своих любимых кровинушках, оставленных в далёкой разваливающейся стране, и стремится им помогать. А ради такого благого дела, может быть, не грех и позабыть, какого ты роду-племени, и бросаться в объятия первому встречному, к тому же почти что заморскому принцу.

Увы, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. А в *монастыре* с виду всё благообразно, стремление с юности твёрдо встать на ноги, обзавестись *крепкой* семьёй, а главное, солидным капиталом, чтоб покупать себе со временем и интрижки *на стороне* и билеты в закрытые элитные свинг-клубы, и уважение окружающих, и прихлебателей-«друзей». А ещё – желание всех мерить по себе. И если кто-то, из другого мира, смог в этой жизни чего-то достичь, значит, он такой же *добропорядочный* и не может быть другим, не должен! «Когда в Риме, делай как римляне», – пронизирует по этому поводу знаменитый аргентинский футболист, случайно попавший в американский vip-клуб и столкнувшийся с нашей героиней. Он успешен, у него есть всё, ему приписывают «тысячи женщин», а он, оказывается, ревностный католик, однолюб, да ко всему ещё исповедует идеи коммунизма. Диалектика, эклектика, пестрота восприятия и понимания мира – по разные стороны границ – всё это присутствует в романе.

Интересно построение повествования. Авторы мы как бы не видим. Они не навязывают нам свою точку зрения, предоставляя читателю самому во всём разбираться и давать происходящему

свою оценку.

В действии романа не наблюдается застоя, везде события, движение, диалоги. А если и описываются какая-либо обстановка, пейзаж или человек, то подаётся подобное *блюдо* не абстрактно, а в основном с точки зрения действующих персонажей. Вот, к примеру, лишь небольшой абзац, подтверждающий эту мысль:

«Сейчас она вслушивалась в голос Стю и думала, что этот густой и глубокий, как вкус шоколада, тембр очень подходит к его глазам цвета “перно”. И что, глядя в них, этим шоколадом, наверное, приятно закусывать...».

А что касается характеров основных (и даже второстепенных) персонажей, то они рассматриваются, в основном, опять-таки через призму восприятия других героев и героинь. И даже прозвища, данные ими своим визави, раз и навсегда приклеиваются к ним и используются авторами в последующей их идентификации.

Подруги ли Танчорка и Карлица? Отнюдь. А если и да, то дружат они *против* кого-то. Кого? Наверное, против системы. И той, и этой. И они нужны друг дружке в неласковом мире, где каждый – только за себя.

Выпесказанное нигде авторами в открытую не декларируется. Оно вытекает из действий, поступков, речи героинь, из визуального, что ли, наблюдения за ними. Вообще-то вязь романа весьма киногенична. Читатель, порой, превращается в зрителя, то наслаждаясь белоснежными песками на приморском берегу, то разглядывая приглянувшуюся героине кофточку в бутике, то с удивлением прохаживаясь по вычурным залам свинг-клуба или по «симпатичной лоджии с двумя полосатыми, как коты, шезлонгами» в гостиничном номере.

Но зритель может на какое-то время *отключить кино* и просто слушать. Язык романа сочный, насыщенный неожиданными образами, порой вполне уместными *солёными* фразами персонажей.

Что ж, жизнь наших героинь вот как-то так случилась (и ещё случится – в ожидаемой третьей части книги). У кого-то жизнь на чужбине складывалась бы иначе. Авторы выводов не делают, советов не дают.

Думайте, читайте, думайте...

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 31.05.2018 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,14.
Зам. 1437. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17